

С. Т. СЛОВУТИНСКИЙ

ГЕНЕРАЛ ИЗМАЙЛОВ
И ЕГО ДВОРНЯ



Государственная публичная
историческая библиотека России

С. Т. Словутинский

ГЕНЕРАЛ ИЗМАЙЛОВ И ЕГО ДВОРНЯ



ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Москва
2015

УДК 94 (47)
ББК 63.5 (2)47
С 48

Печатается по изданию: Словутинский С. Т. Генерал Измайлов и его дворня. Отрывки из воспоминаний / С. Т. Словутинский. — М.; Л.: Academia, 1937. — X, 464 с., 26 отд. л. ил.

Словутинский С. Т.

С 48 Генерал Измайлов и его дворня. Отрывки из воспоминаний / С. Т. Словутинский; введ., примеч. Л. В. Беловинского; Гос. публ. ист. б-ка России. — М., 2015. — 384 с.: ил.

ISBN 978-5-85209-357-8

Степан Тимофеевич Словутинский (Славутинский; 1821—1884), беллетрист, переводчик, мемуарист, автор очерков и повестей на крестьянские темы, одним из первых рассказал о крестьянском сословии без идеализации и приукрашивания. В 50-х гг. XIX в. будущий писатель состоял чиновником особых поручений при губернаторе, принимал участие в следствии по крестьянским делам, присутствовал при наказании виновных и усмирении бунтов. Многие события, с которыми он столкнулся на службе, автор подробно описал в своем очерке о помещике Л.Д. Измайлове. Дело барина-деспота, истязавшего своих крепостных, получило широкую огласку в 20-х гг. XIX в. Следствие шло более двадцати лет, велось с нарушениями, в основном по причине высокого положения генерала Измайлова в обществе. Словутинский приводит также материалы расследования: показания крестьян, их прошение государю с жалобой на барина, оправдательные записи подозреваемого и письма его дочери. Вторая часть книги содержит сведения о крестьянских бунтах в Рязанской губернии.

УДК 94(47)
ББК 63.5 (2)47

ISBN 978-5-85209-357-8

© Государственная публичная историческая библиотека России, 2015
© Беловинский Л. В., введение, примечания, 2015
© ЗАО «Репроникс», оформление, 2015

ГЕНЕРАЛ ИЗМАЙЛОВ И ЕГО ДВОРНЯ

Введение

Поражение в Крымской войне, позорное по своей сути, поскольку русская армия терпела неудачу за неудачей на своей территории от сравнительно небольших экспедиционных войск противника, потрясло русское общество и вызвало резкую оппозицию к прежнему царствованию. В конце войны под влиянием военных неудач и внутренней неурядицы умер и столп консерватизма, император Николай I, а его преемник, Александр II, мягкий, воспитанный либеральным поэтом В.А. Жуковским, не считал возможным следовать строгой системе своего отца. По стране прокатился вал критики крепостного права, бюрократической системы управления, злоупотреблений, цензурного террора последних лет царствования Николая I, захвативший даже часть правящей верхушки. Так, курляндский генерал-губернатор, будущий министр внутренних дел П.А. Валув писал в ходившей по рукам «Думе русского»: «В России повсюду царит система официальной лжи, повсюду сверху ложь, снизу — гниль. Лгут, знают, что лгут, и продолжают лгать!»

Естественно, все это нашло отражение и в русской литературе, освободившейся от цензурных оков и ставшей рупором оппозиции. В ней сложилось так называемое обличительное направление, захватившее ряд видных писателей. В старом русском литературоведении считалось, что родоначальником этого направления стал уже знаменитый к тому времени А.Ф. Писемский, выступивший с романом «Тысяча душ». Наш современник с детства знаком с видным представителем этого направления конца 50-х — на-

чала 60-х гг.— Е.М. Станюковичем, «Морские рассказы» которого обличали порядки, царившие в русском флоте. Сюда же относили пьесы А.Н. Островского, обличавшего купеческое «темное царство», первые рассказы П.И. Мельникова-Печерского («Красильниковы», «Именинный пирог») и т.д. К этому направлению можно отнести и С.Т. Словутинского, наиболее известным произведением которого является как раз его обширный очерк «Генерал Измайлов и его дворня». Правда, сам Словутинский иронически прошелся по адресу «обличителей», и, может быть, не совсем несправедливо. Дело в том, что на поверхность бурно закипевшего литературного котла всплыло множество забытых ныне (и вполне справедливо забытых) мелких литераторов, которых иронически называли «абличителями»: они предпочитали обращаться к частностям, к мелким злоупотреблениям, очевидно, опасаясь затрагивать коренное зло.

Для критики как крепостного права, так и продажного чиновничества, всей бюрократической системы той поры, в качестве объекта Словутинский избрал известного в ту пору богатейшего рязанского и тульского помещика, генерала Л.Д. Измайлова. И, надо сказать, объект был выбран удачно. Да иначе и не могло быть: в ту пору имя Измайлова всегда ставилось рядом с именем известной нам еще по школе помещицы XVIII в. Дарьи Салтыковой («Салтычихи»). Каждый из них был в своем роде чудовищем, даже в те, далеко не вегетарианские времена выдающимся из ряда вон. Их злодеяния были настолько необычны, что обратили на себя внимание Екатерины II и Николая I. В их деяниях отразился весь ужас крепостного права.

Но ужас этот заключается отнюдь не в существовании таких извергов. В конце концов, психически ненормальные, как Салтычиха, или нравственно уродливые, как Измайлов, люди могут встречаться в любую эпоху, в любой социальной системе, при любом политическом строе. Это, скорее, исключения. Недаром имена Салтычихи и Измайлова запомнились современникам и дошли до отдаленных потомков. Факт промены Измайловым трех крепостных на трех собак стал хрестоматийным.

Ужас крепостнической системы заключался в том, что все это было **возможно** и **допустимо**, в том, что это было ПРАВО! Да, были помещики, создававшие личные гаремы из крепостных женщин, заковывавшие крепостных в цепи

или приковывавшие их к стене в зловонных тесных темницах, забивавшие их кнутами, палками и розгами до смерти, разорявшие их. Но все же, судя по многочисленным мемуарам, это были исключения. Приличные люди из числа таких же помещиков относились к ним брезгливо, сторонились их, не поддерживали с ними отношений, осуждали их. Вспомним знаменитую «Пошехонскую старину» М.Е. Салтыкова-Щедрина, отрывок из которой о крепостной девочке, привязанной к столбу на навозной куче и съедаемой мухами, в свое время публиковался даже в «Родной речи». «Пошехонская старина» — автобиографическое произведение, цель которого была — именно показать крепостное право во всей его неприглядности. Но мать рассказчика, помещица, также не отличавшаяся либерализмом и широко пользовавшаяся своим помещичьим правом, как явствует из последующих страниц произведения, как раз осуждает этот случай, и с этой родственницей, славившейся в округе своей жестокостью, близких отношений не поддерживает. Большинство помещиков, разумеется, были обычными людьми, в меру строгими, но в меру и добродушными. Пороли крепостных розгами? Да кто же в ту пору не порол? В России тогда пороли повсюду — от царского дворца до крестьянской избы. Просто не было другой педагогики, и телесные наказания считались единственным средством воспитания. Тычки, пощечины, зуботычины щедро доставались всем. Это было в обычае, и такое лыко в строку обычно не вставлялось даже и теми, кому все это доставалось, если побои были «за дело». Были помещики добрые, либеральные, даже попустительствовавшие, были строгие, но рачительные. Беда была не в людях. Беда была в том, что это было ПРАВО. И судьба крепостных (и не только их) зависела лишь от того, какой господин или какой начальник, какой воспитатель или какой командир достанется. Вот почему взбунтовались крестьяне умершего либерального графа А.И. Остермана-Толстого, доставшиеся князю Л.М. Голицыну (см. один из отрывков из воспоминаний Словутинского). Судьба людей зависела от случайностей. И задача царя-Освободителя (так в народе был прозван Александр II) заключалась не в устранении злоупотреблений, чем занимался еще его отец, а в ликвидации самой **возможности** злоупотреблений помещичьей властью. Как это было сделано — дело десятое.

Говоря о крепостном праве, а точнее, о взаимоотношениях крепостных и их владельцев, следует остановиться на одной специфической стороне этих взаимоотношений. Были не только душевладельцы и душевладельцы, но и крепостные и крепостные. Одно дело — крепостные **крестьяне**, а другое — **дворовые**. Одно дело — **оброчные** крестьяне, иное же — **барщинные**. **Заочное** имение, где помещик если и появлялся, то изредка и где даже могло не быть не только барской усадьбы, но и какого-либо флигеля на случай приезда помещика,— это одна ситуация. А поместье, в котором владелец имел постоянное пребывание,— совсем другая. Очерк С.Т. Словутинского недаром назван «Генерал Измайлов и **его дворня**». Вся строгость, все капризы, вся психическая неуравновешенность помещиков сказывались, прежде всего, на дворовых, которые постоянно находились на глазах барина. Они-то и оказывались первыми жертвами барского гнева. Собственно же крестьяне, землепашцы, если они даже находились в поместье, где имелась усадьба, жили более отъединенно, самостоятельно. У них была своя изба, свой двор, своя наделная земля, они не ежедневно попадали на глаза барину. А особенно, если это было оброчное имение. В барщинном, где крестьяне несколько летних дней в неделю (по закону — 3 дня) должны были работать на барской земле, а, паче того, если помещик был строгий и рачительный хозяин и сам наблюдал за работами, крепостные могли получить во время работы и затрецины, и зуботычины, а то и плеть могла пройти по их спинам. В оброчном же имении помещику лишь оставалось «выправлять» оброк с мужиков. Да оброчники чаще всего были отходниками, добывая деньги на стороне. И заочные имения, как правило, были оброчными. Да, наконец, большинство помещиков все же были обычными, нормальными людьми, не чуждыми хозяйственного расчета, и понимали, что крепостные крестьяне — это тот сук, на котором сидишь, и негоже подрубать его.

С.Т. Словутинский особо подчеркнул, что Измайлов не жил в своем самом богатом имении Деднове. Это было большое торгово-промышленное село, где крестьяне привыкли к независимости, самостоятельности, где они были хожальными-езжалыми, бывальными людьми. Может быть, он понимал, а может, инстинктивно ощущал, что здесь найдется коса на камень: в таких селах крестьяне могли найти

средства укротить слишком прыткого барина. А нет — так и **укоротить** его на голову: случаи такие были известны.

А дворня, крепостные дворовые — совсем иное дело. Они постоянно под руками, на глазах. Да при том их огромном количестве, кое было у Измайлова, одним больше, одним меньше — не существенно. Ведь большая часть дворовых не только не имела какой-либо специальности, но не имела и определенных обязанностей. В имении повар, особенно специально обученный, столяр, кузнец, каретник — все же люди, с которыми следовало обращаться осторожно. Ты ему закатаешь плюху — а он тебе званый обед испортит, а то и отравит. А прочие — подай, принеси, подотри, убери, узнай... На дворовых-то и сказывались все прелести крепостного права даже и не у таких бесноватых, как самовластный генерал Измайлов.

Представляется необходимым остановиться еще на одном аспекте и крепостного права, и очерка Словутинского. Как известно, всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Развращает и властителей, и подвластных. Что развращен был самовластием Измайлов — это понятно, даже естественно. Но развращены были и его крепостные, прежде всего те, кто обладал некоторой властью над такими же крепостными: те, кто управлял, и те, кто наказывал. И развращены были и те, кто вообще не имел прямого отношения к Измайлову и его владениям: местные чиновники всех уровней и должностей, начиная от какого-нибудь мизерного заседателя нижнего земского суда и до советника губернского правления. И опять же понятно, когда канцелярская шушера получала от богатых помещиков то поношенный сюртучишко с барского плеча, то трех-пятирублевую ассигнацию на праздник, то возик овсеца, а то и хроменькую кобылку. Царево жалованье у таких было столь мизерным, что, по признанию костромского губернатора, а в будущем графа и министра внутренних дел С.С. Ланского, на 10 рублей в месяц, которые получал исполнявший городническую должность квартальный надзиратель Рыжов (лицо реальное; см. очерк Н.С. Лескова «Однодум»), на эти деньги жить было нельзя. Тем более нельзя было жить на трехрублевое жалованье писца уездного суда. Так что понятна необходимость регулярных «объездов» уездными чиновниками, и коронными, и выборными, более состоятельными местными помещиками. Понятны

и подачки помещиков этим чиновникам: авось когда-то и пригодятся.

Но Измайлов, сумевший «свалить» самого губернатора, да еще и брата всесильного статс-секретаря, адмирала А.С. Шишкова, в этом «крапивном семени» не нуждался. Ему служили не за подачки, а если и не за совесть, то за страх. А он обращался с «приказными» как со своей дворней, разве что на цепь не сажал да в колодки не заковывал. И это касалось не только уездных (да и губернских, которые помельче) чиновников, но и своей братии — окрестных помещиков. Для бесчисленных владельцев 12—15, а даже и 30—40 душ магнат, имевший несколько тысяч крепостных, был таким же благодетелем, а при случае и грозой, как для чиновных мизераблей. И они с рабским ликованием сопутствовали ему на охоте, ели за его столом, развлекали его, а если требовалось, то прислуживали ему. Случай с отставным майором Голишевым, оказавшим сопротивление издевательствам Измайлова, описанный Словутинским (считается, что эта история послужила А.С. Пушкину поводом для создания повести «Дубровский»), — единичный. Прочая же помещная мелкота нравственно мало отличалась от мелкоты приказной, да и от крепостных.

Во всем этом и заключалась развращающая сущность крепостного права, так ярко изображенная С.Т. Словутинским.

*Л. В. Беловинский,
доктор исторических наук*

От издательства (Предисловие 1937 г.)

Книга Степана Тимофеевича Словутинского «Генерал Измайлов и его дворня» дает исторический документальный материал о бесправном, рабском положении крепостных крестьян, «принадлежавших» помещику, генералу Измайлову.

Генерал-лейтенант Лев Дмитриевич Измайлов — фигура «идеальная» по своей многокрасочной мерзости крепостника, дошедшего до предельной черты морального разложения и почти ничем не отличавшегося в своих жестокостях от известной «Салтычихи», запоровшей насмерть семьдесят четыре человека дворовых.

Конечно, генерал Измайлов далеко не исключительный тип помещика крепостной эпохи. Даже «всеподданнейшие отчеты» Корпуса жандармов III Отделения почти всегда пестрели сообщениями о зверствах помещиков, но правительство попустительствовало крепостникам. Правда, когда преступления помещиков становились широко известными и замазать их не было никакой возможности, то царское правительство «наказывало» виновных путем объявления им... порицания или временного взятия имения виновного в опеку. Вмешалось правительство и в измайловское дело: Измайлов был осужден, подкупленные им чиновники были отданы под суд, царь предписал Измайлову удалиться из имения; однако царское предписание осталось невыполненным: Измайлов до конца жизни так и прожил в имении. Большинству помещиков поступки генерала Измайлова не казались чем-то особенным: бить крепостных людей считалось тогда так же нормально, как, например, подстегивать лошадь, чтобы она быстрее бежала. Характерно, что когда

Измайлов умер, то при содействии помещиков-соседей на его могиле был поставлен памятник.

* * *

Несколько слов об авторе произведений, помещенных в настоящей книге*, — о Степане Тимофеевиче Словутинском.

С. Т. Словутинский родился 11 января 1821 года в селе Гайвороне Курской губернии, в семье дворянина, отставного штабс-капитана. Рано потеряв отца, Словутинский воспитывался в маленьком имении матери, сельце Михееве Егорьевского уезда Рязанской губернии, насчитывавшем до сорока крепостных душ. Не окончив гимназии, Словутинский в 1839 году поступает писцом в Рязанскую палату гражданского суда и в 1855 году дослуживается до старшего чиновника особых поручений при губернаторе. Словутинский ведет следствия по крестьянским делам, присутствует при наказании крестьян и усмирении бунтов. Он видит все безобразия помещиков, видит бесправие и рабское положение крестьян. Ему становится тягостной роль чиновника, и Словутинский подает в отставку.

В течение 1859—1864 годов Словутинский занимается литературной работой: ведет переписку с Добролюбовым и сотрудничает в «Современнике». Крестьянский быт, нравы крепостников, тяжбы, столкновения крепостных с помещиками — вот мотивы произведений Словутинского. Автор использовал большое количество следственных дел, хранящихся в архивах Рязани, и эти дела, а также хорошее личное знакомство автора с деревней делали его очерки живыми, чрезвычайно ценными и интересными. Такими они остались и до сих пор.

В свое время Добролюбов писал о Словутинском:

* В настоящее издание включены: «Генерал Измайлов и его дворня» (произведение впервые было напечатано в «Древней и Новой России». 1876. № 9—12). Отрывки из воспоминаний «Крестьянские волнения в Рязанской губернии с 1847 по 1858 г.» (были напечатаны в «Древней и Новой России». 1878. № 9 и 10; перепечатывается в настоящем издании с дополнительным заголовком «Бунт и усмирение в имении Голицына»).

Выдержки из отрывочных воспоминаний (напечатаны в «Древней и Новой России». 1879. № 9, перепечатываются в настоящем издании под названием «Крестьянские волнения в Рязанской губернии с 1847 г. по 1858 г.») представляют собой продолжение предыдущего.

«Руководствуясь этим тактом, Словутинский не позволяет себе ни малейшей фальши в представлении действительности и с помощью его же приходит иногда к таким идеальным чертам, даваемым самой жизнью, каких никогда не могли придумать прежние салонно-простонародные рассказы наши».

«В повестях его,— пишет Добролюбов дальше,— мы видим не отрывочное знание той или другой особенности жизни — какого-нибудь обряда, обычая, приметы, причитания или поговорки,— нет, в них мы находим полный пересказ наблюдений над целым строем жизни и, кроме того, понимание ее сокровенных тенденций и принципов, нигде и никем не высказанных, но постоянно проявляющихся на деле. Этим пониманием сущности дела, а не одной ее внешности, особенно силен г. Словутинский»^{*}.

Перед Словутинским открывается широкая возможность работать на литературном поприще, сотрудничать в самом передовом журнале того времени — в «Современнике», но политические убеждения автора «Генерала Измайлова» далеко не совпадали со взглядами редакции. Словутинский в своих произведениях сглаживал острые углы, смягчал критику окружающего, старался своей литературной работой не бороться с самодержавием, а «подправлять ошибки начальства». Все зло, по мнению Словутинского, заключалось не в правительстве, не в крепостном строе, а в негодности отдельных лиц, вроде генерала Измайлова. Несмотря на желание Добролюбова приблизить Словутинского к «Современнику», из этого ничего не получилось. Первое же «Внутреннее обозрение», присланное Словутинским в «Современник», вызвало принципиальные возражения редакции и было помещено с вступлением, написанным Добролюбовым.

Весьма интересно письмо Добролюбова по поводу «Обозрения», присланного Словутинским: «У Вас такой розовый колорит всему придан, таким блаженством неведения все дышит... Точно будто в самом деле верите вы, что мужикам лучше жить будет, как только редакционная комиссия кончит свои занятия... Нет, Степан Тимофеевич, умоляю Вас, оставьте эти радужные вещи для слепца Каткова...

^{*} Добролюбов Н. А. Собр. соч. Изд. 6-е. Т. 3. С. 219—220.

У нас другая задача, другая идея. Нам следует группировать факты русской жизни, требующие поправок и улучшений, надо вызывать читателей на внимание к тому, что их окружает, надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыха — до того... чтобы он, задетый, наконец, за живое, вскочил с азартом и вымолвил: «Да что ж, дескать, это, наконец, за каторга! Лучше уж пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше». Вот чего надобно добиться»^{*}.

Намечавшаяся близость между редакцией «Современника» и Словутинским закончилась расхождением. В 1865 г. Словутинский поступает на службу в Министерство внутренних дел. Чиновный аппарат вернул себе деятельного и знающего чиновника, а литература потеряла литератора, не использовавшего всех творческих своих возможностей.

Только в 1873 году Словутинский оставляет службу и снова берется за перо. За десятилетие (1873—1883) он дает значительные произведения: «Генерал Измайлов», «Очерки и воспоминания о крестьянских волнениях», «Из семейных воспоминаний», «История моего дяди» и др.

Несмотря на несомненно большое значение литературных трудов Словутинского, на обилие ценного исторического материала в его произведениях, писатель не пользовался популярностью: печатали его редко, напечатанное встречалось равнодушно, литературная работа не принесла Словутинскому ни славы, ни материального благополучия.

В 1884 году 18 сентября в «Виленском вестнике» появилось краткое траурное сообщение: «Сегодня 17 сентября в 1 час ночи, здесь в Вильне скончался после тяжелой болезни бывший мировой посредник, а потом мировой судья, известный писатель Степан Тимофеевич Словутинский».

Лишь спустя два месяца в столичной печати появились слабые отклики на смерть Словутинского. В литературной среде смерть его прошла незаметно. Так и определилась посмертная литературная судьба писателя, давшего русской литературе ряд своеобразных, ярких по описанию и знанию описываемой обстановки произведений.

^{*} Переписка С. Т. Словутинского с Н. А. Добролюбовым. Опубликовано в историко-литературном сборнике «Огни» в 1916 г.

ГЕНЕРАЛ ИЗМАЙЛОВ И ЕГО ДВОРНЯ

**(Очерк помещичьего быта
первой четверти XIX столетия)**

I

Не очень признавая наследственность родовых качеств, тем не менее я не решаюсь отступить от общепринятых приемов в биографиях и прежде всего упомяну о роде и предках моего героя. Пожалуй, так и легче будет начать рассказ; словно спокойнее подойдешь к настоящему делу.

Лев Дмитриевич Измайлов происходил из старого дворянского рода, вышедшего, по преданию, из Аравии¹. Род этот был не из первостатейных, и представителей его, до времен царя Михаила Федоровича², не видно на исторической сцене. При царе же Михаиле окольный³ Артемий Измайлов выдвинулся было вперед: он был вторым воеводою⁴ в Московском войске, осаждавшем Смоленск в 1633 году⁵. Но осада была неудачна, и воеводы: боярин Михаил Борисович Шеин и окольный Артемий Измайлов поплатились головами. Казнь,— которой подверглись и сыновья Артемия Измайлова, Василий и Семен,— была не за неуспешность осады, а за измену. Предсмертная сказка, то есть смертный приговор, обвиняет Василия Измайлова в измене больше всех, а именно: в предательских сношениях с литовскими людьми и с русскими изменниками; в презрительных отзывах о русской силе («как против такого великого государя-монарха (т. е. польского короля) нашему московскому плюгавству биться») и, наконец, «в воровских, непригожих» словах о смерти государя-патриарха, Филарета Никитича⁶. Конечно, в тогдашнее время о казненных Измайловых можно было бы и так рассуждать: не они же первые бывали в изменах, «в шатости и позыбаниях»;

но, впрочем, на шатость и на позыбания настало тогда время суровое: русские люди — уже целым миром — захотели отстать от всего этого, и за измену уже не было прощения.

С тех пор род Измайловых, хотя представители его служили и дослуживались до крупных чинов, не выставлял особенно замечательных личностей, — кроме дяди героя моего и, наконец, самого Льва Дмитриевича. О первом, однако, упомяну мельком. Деятельность этого человека проявилась как-то двусмысленно при перевороте 1762 года⁷. Сначала, по преданиям, он был в числе преданных императору Петру III, но тем не менее от преемницы его⁸ он получил в награду очень большое имение, село Дедново (Дединово⁹, как в старину писалось), в Зарайском уезде, Рязанской губернии*.

Этот дядя Льва Дмитриевича Измайлова был его воспитателем и оставил ему в наследство все свое имение. Как же он воспитывал и образовывал блажного своего племянника, — про то подлинно я не знаю. Впрочем, к определению степени образованности Льва Дмитриевича может служить следующий факт: последние следователи по его делу не нашли в его доме (скажем, пожалуй, в тех комнатах, где он сам жил) ни одной самой ничтожной книжонки, о чем и сочли необходимым занести в протокол свой об осмотре Измайловской усадьбы. Что же касается до воспитания, до нравственного развития его характера, то замечу вообще, что в развитии тогдашних русских помещичьих характеров всего более, сильно и неотразимо, участвовали: домашняя обстановка, складывавшаяся в известном смысле под влияниями так называемого патриархального крепостного быта, равно и общественная среда, вся проникнутая теми же самыми влияниями.

Лев Дмитриевич Измайлов рано выдвинулся на общественную деятельность. Из формулярного его списка¹⁰ видно, что он вступил в службу, в гвардейский Семёновский полк, в 1770 году; судя же по тому, что во время дачи им ответов на «вопросные пункты» Рязанского

* Так по крайней мере сказывали мне дедновцы на расспросы мои о том, когда именно досталось село их Измайловым.

уездного суда¹¹, в 1828 году, ему было уже шестьдесят четыре года, оказывается, что он поступил, т. е. был зачислен, на службу семи лет от роду¹². Впрочем, такие примеры добывания военных чинов чуть не с колыбели были тогда очень нередки, даже и в незначительных дворянских родах. Но первый офицерский чин Измайлов получил, когда ему было уже около двадцати лет, именно в 1783 году. Затем и следующие чины шли ему довольно туго: только в 1791 году он был выпущен из капитанов гвардии в Конно-егерский гренадерский полк подполковником¹³. В 1794 году, в чине уже полковника, он был назначен командиром Кинбургского драгунского полка, из которого, в 1797 году, переведен в гусарский Шевичев полк, тоже полковым командиром. Вскоре после того, в царствование императора Павла I, Измайлов вышел в отставку — и, как известно по преданию, оттого, что принадлежал к Зубовской партии¹⁴, постоянно ему покровительствовавшей. Тотчас по вступлении на престол Александра I Измайлов опять является на службе, уже в чине генерал-майора; но в 1801 же году он почему-то уволен от службы. Измайлов нюхал-таки порох: он участвовал в шведской войне¹⁵, при Екатерине; и тут за мужество в каком-то сражении пожалован орденом Св. Георгия 4-й степени; и кроме того, в польскую войну, в 1794 году¹⁶, служил он волонтером¹⁷ и был во многих сражениях. К этому, признаюсь, крайне сухому перечню военной и боевой деятельности моего героя остается еще прибавить, что в должности уже рязанского губернского предводителя дворянства¹⁸ он формировал, в 1806 году, земское войско (милицию)¹⁹ Рязанской губернии, за что получил орден Св. Анны 1-й степени, а в 1812 году рязанское дворянство избрало его в начальники своего ополчения, с которым он сделал поход в Германию, где находился под Гамбургом и при блокаде многих крепостей. За эту последнюю службу он получил чин генерал-лейтенанта и осыпанную бриллиантами табакерку с портретом государя²⁰.

Теперь я могу покончить с официальной стороной биографии моего героя. Да и цель моя вовсе не в том, чтобы ею заниматься. Перехожу прямо к описанию жиз-

ни Л. Д. Измайлова по частным, достоверным сведениям о ней.

Пора молодости прошла у Измайлова шумно и бурно. Страстям своим он рано стал давать широкий простор и довел их до полной разнузданности, благо обстоятельства тому не мешали. Его поступки в эту молодую пору его жизни имели тот характер дерзкого, грубого, а вместе с тем и фальшивого молодечества, которым еще не так давно и повсюду у нас очень любили похвастаться люди привилегированных сословий. О том, как молодечествовал и тешился Измайлов, ходит много рассказов; но я приведу из них лишь те, которые особенно характерично представляют отношения этого человека не к отдельным частным людям, а к лицам официальным или же к целому обществу. И в самом деле, что тут интересного, что какой-нибудь буян, так называемый молодец, будь он корнет или генерал, такого-то купца в собственном его доме высек²¹, стольким-то мещанам бороды вырвал, стольким-то евреям пейсы²² опалил, над таким-то помещиком, произвольно пошедшим к нему в шуты, с особенной замысловатостью надругался; все это делывал мой блажной герой, но то же делывали и тогдашние буяны гораздо его попроще.

Измайлов был очень богат. Он рано получил в полное свое распоряжение большие имения: и собственное, и своего дяди. Притом он имел чрезвычайно сильные связи, как по родству, так и образовавшиеся из отношений его к Зубовым. Ему сходили с рук проделки весьма не невинного свойства. Оно и немудрено: тогда пора была для всяческой разнузданности. Впрочем, недаром же переводили так часто Измайлова из полка в полк: по преданиям, все это происходило вследствие молодеческих его подвигов, вроде тех, о которых выше я мельком упоминал. Недаром тоже он все сторонился от столиц: должно быть, чувствовал, что в глухих губернских и уездных городах свободнее ему проживать с обычными его потехами, с его произволением во всем и со всеми.

Но особенно привольно было ему в собственных имениях. Там-то всего более он любил жить и тешиться.

Там-то и выработался из него типический помещик-крепостник тогдашнего времени.

По выходе в отставку, в 1801 году, Измайлов (ему было тогда 37 или 38 лет от роду) проживал в тульском своем имении, в селе Хитровщине. Скоро бесчинные его поступки, там совершаемые, сделались известными верховной власти. Что они огласились так скоро и так далеко — нельзя не признать за прогресс для того времени.

В высочайшем рескрипте²³ от 23 марта 1802 года, данном на имя тульского гражданского губернатора²⁴ Иванова, сказано: «До сведения моего дошло, что отставной генерал-майор Лев Измайлов, имеющий в Тульской губернии вотчину²⁵, село Хитровщину, ведя распутную и всем порокам отверзтую жизнь, приносит любострастие своему самые постыдные и для крестьян утеснительнейшие жертвы. Я поручаю вам о справедливости сих слухов разведать без огласки и мне с достоверностью донести, без всякого лицемерия, по долгу совести и чести».

По какому именно поводу последовало это высочайшее повеление, с таким строгим достоинством напоминавшее губернатору Иванову о долге совести и чести, что донес губернатор государю, а также поусмирился ли после того Измайлов хоть на время, — все это остается неизвестным. Впрочем, о поводе к вышеприведенному рескрипту можно догадываться по одному факту, представленному совершенно эпизодично в последнем следствии о поступках Измайлова с его крепостными людьми. Происшествие, о котором ниже будет рассказано, относится как раз к тому времени, когда был дан высочайший рескрипт 23 марта 1802 года.

При хитровщинской помещичьей усадьбе находился постоянно крепостной крестьянин Измайлова, из деревни Ковалевки, по прозванию Гусек. Обязанность Гуська в том состояла, чтобы на тройке собственных своих лошадей, которые содержались, однако, на помещичьем корму, разъезжать по деревням измайловским, для сбора девок на «генеральские игрища». Однажды Измайлов затеял такое игрище в принадлежавшем ему сельце²⁶ Жмурове*. Тут были с ним толпы его псарей, его «каза-

* Епифанского уезда Тульской губернии.

ков»²⁷ и всякой другой дворовой челяди; сюда же были привезены в особом экипаже, называвшемся «лодкою», песенницы и плясуньи, дворовые и крестьянские девушки и женщины. Сборище это, по всей вероятности, пополнялось многими приживальцами и окрестными помещиками, хотя о них и не говорится в следственном деле. Но предводителю сборища показалось, что женского люда мало при нем, и он отправил Гуська еще за девками, в свою же деревню Кашину*. Дело было к ночи. Под прикрытием ее люди кашинские стали смелее, — многие девушки попрятались в коноплях, а из одного дома, именно крестьянина Евдокима Денисова, просто не выдали девушку, да и самого Гуська в темноте кто-то так ударил по лбу ножкою от конопельной мялки, что рассек ему бровь. Воротившись спешно в Жмурово, Гусек донес барину о случившейся с ним неприятности. Сильно прогневался блажной барин и немедленно, со всей своей свитою, отправился в деревню Кашину для наказания провинившихся. Гнев его прежде всего обрушился на Евдокима Денисова. Изба несчастного крестьянина тотчас же разметана была по бревнам. Затем псари сложили солому с избы на улице, в два омета, зажгли их, а промеж горящих ометов положили старика Денисова и старуху, жену его, и так жестоко высекли их арапниками²⁸, что через три месяца после того захиревшая с наказания старуха скончалась. Но барский гнев еще не утолился: Измайлов приказал зажечь двор и остатки избы Евдокима Денисова, сломанной только по окна, и если б не «игрица» Афросинья, безумное приказание, конечно, было бы исполнено. Афросинья два раза кидалась в ноги взбалмошному генералу, умоляя, с неудержимыми рыданиями, отменить приказание, — почему-то она была убеждена, что двое маленьких внуков несчастного Денисова спрятались со страху где-то на дворе или в избе. И в самом деле, — великодушное заступничество игрицы спасло жизнь одного из мальчиков, который забился тогда в передний угол подпечья разметанной избы, откуда и не могли достать его шестами

* Все в том же Епифанском уезде.

генеральские люди, которым велено было разыскивать спрятавшихся внучат Денисова.

И опять-таки карательные распоряжения в деревне Кашиной не удовлетворили Измайлова: он в ту же ночь отправился еще на дальний покос кашинцев, где заночевала большая часть их взрослого рабочего населения; там он пересек жестоко — из крестьян третьего, а из баб десятую.

Вероятно, я не ошибаюсь, приписывая вышеописанному происшествию то, что, наконец, обратило внимание на поступки генерала Измайлова...

Но как бы там ни было, еще в 1802 году генерал Измайлов вдруг переменял самую сцену для своих подвигов, покинув совсем и надолго Тульскую губернию. 1 января 1802 года он был избран губернским предводителем дворянства Рязанской губернии и в этом звании, по последовательным избраниям, пробыл он сряду двенадцать лет, живя (кроме похода 1812 — 1813 годов) то в Рязани, то в рязанских своих деревнях, то — собственно по зимам — в Москве.

II

Я нахожу необходимым описать довольно подробно, не минуя и анекдотов²⁹, время общественной деятельности Льва Дмитриевича Измайлова, когда в 1812 году он формировал Рязанское ополчение и командовал им. Тогда именно образовалось то особенное влияние его на общество, какое сохранил он даже по оставлении звания губернского предводителя.

По огромному своему состоянию, по связям своим со знатью, по личным тоже свойствам своего широко разгульного характера он и прежде, когда был еще очень юн, имел влияние на дворян. Многие из них, преимущественно же рязанские, так и льнули к нему, составляя постоянную его свиту, сопровождая его толпами на картежную игру, на псовую охоту, на скачки, на «игрища», — всюду, где он изволил тешиться. Но именно со времени ополчения он сделался для дворянства каким-то героем, всякие поступки которого были уже недоступ-

ны для осуждения, и собственно этим оправдываются, до некоторой степени, общеодобрительные, даже хвалебные отзывы дворян рязанских и тульских об Измайлове, когда шло последнее следствие, явно направленное уже не в пользу его.

Из дальнейшего моего рассказа видно, как образовалось особенное влияние Измайлова на дворян,— именно во время ополчения, о котором, кстати сказать, сохранилось в Рязанской губернии много воспоминаний. Но прежде всего следует привести здесь следующий случай, где, как мне кажется, влияние это отразилось тоже характерно.

В июне месяце 1812 года рязанские уездные предводители дворянства, по мысли Измайлова, отправились в Москву для заявления готовности рязанского дворянства собрать на свой счет ополчение, ввиду предстоявшей опасной войны с Наполеоном; но они были приняты весьма дурно министром полиции³⁰, генералом Балашовым³¹, который даже выслал их из Москвы за то, что «они осмелились явиться без спросу с таким предложением». И что же? Этот поступок Балашова вовсе не оскорбил рязанских дворян, о нем даже не сохранилось воспоминания между ними,— и все это потому, вероятно, что не оскорбился, из-за каких-то собственных расчетов, их губернский предводитель...

При формировании Рязанского ополчения генерал Измайлов выказал большую распорядительность. Он действовал быстро, умно и энергично.

Правда, к этим его действиям примешивалось и много особенностей, выставляющих не с хорошей стороны отношение его как начальника ополчения к подчиненным дворянам-офицерам в этом земском войске. Но как быть? Тогда время было такое, что и вообще отношения начальников к подчиненным, равно как помещиков, богатых и знатных, к дворянам, мелким и нечиновным, имели почти тот же характер, каким отличались при упадке Речи Посполитой отношения панов-магнатов к простым шляхтичам,— сходство, впрочем, весьма есте-

* Об этом рассказывается и в записках С. П. Жихарева³², но с малыми неясными подробностями.

ственное: развитие быта дворян у нас происходило не без влияния польских образцов.

Я знавал в Рязани небогатого тамошнего дворянина Сумбулова, который любил рассказывать об ополчении и рассказывал очень интересно. Этот почтенный, хотя и сердитый, старик был помешан на странной идее, что всех детей в Рязани отравляют какие-то злые люди, «закидывая самый вредоносный яд с дома на дом»; но во всем остальном, кроме этой идеи, обличавшей страстную любовь к детям, Сумбулов был как и все прочие. Память его была свежа. По доброму чувству, ему свойственному, он судил о людях здраво. Особенно тверды были его воспоминания о бывшем его начальнике по ополчению, генерале Измайлове.

«Лев Дмитрич,— рассказывал он своим отрывистым языком, часто повторяя эпитеты,— Лев Дмитрич Измайлов был прекраснейший начальник. Характерен был покойник, крут, очень крут, частенько и причудлив,— а для большого дела надо было его взять. С ним все были как один человек, завсегда одну мысль имели: он у нас головою был... Каждый божий день ополченские дворяне-офицеры обедали и ужинали у него поголовно: хлеба-соли и вина было вдоволь про всех. Полтораста троек, лихих, лихих троек, все ведь собственных, генеральских, находились в распоряжении ополченских офицеров,— кататься, сколько душе угодно. Только уж и дело делай, на лету подхватывай генеральские приказания, да выслушивай их ушами, а не пятками, да исполняй-то их буквально, скоро-скорехонько,— а то не пеняй — худо будет: не любил генерал потачки давать никому. Вот у него все так и выходило, что и весело, и спористо дело делалось... А свои людишки крепостные-то как по струнке у него ходили; ну, тут уж Лев Дмитрич,— кто богу не грешен, царю не виноват,— частенько греха на душу прихватывал».

Многие из ополченских офицеров содержались на всем «коште»³³ Измайлова: он снабжал их вооружением, обмундированием, всяческим продовольствием в походе, даже давал денег «взаймы без отдачи», как он говаривал. Зато он брал и свое. Все его подчиненные должны

были безотговорочно, самым точным образом исполнять не только служебные его приказания, на что, конечно, он имел полное право, но и участвовать по его назначениям в различных его потехах, которых никак не хотел он покинуть и в то суровое время. Одним словом, подчиненные его всегда должны были быть готовыми на все, что ему было угодно. И не чинился он с ними: за неудовлетворительное, по его оценке, участие в потехах провинившиеся наказывались: как знаменитым *Лебедем*, огромной пуншевою чашею, которую приходилось осушать в один прием, так и арестом на хлебе и воде. Само собою разумеется, не нежные речи слыхали эти господа от причудливого своего генерала. Он частехонько бранивал их, как, бывало, ему вздумается, и только что не бивал, да и то лишь потому, что, как он сам выражался, «уважал в каждом дворянине-ополченце слугу, на ту пору, государю и отечеству».

Вообще генерал Измайлов весело формировал Рязанское ополчение. По его мнению, и надо было весело готовиться к борьбе со всесветным врагом, Бонапартом. Собственно этим «расчетом» он и объяснял причину, почему не покинул тогда ни одной из любимых потех своих.

Он был разнообразен и очень затейлив на выдумывание своих потех.

Так, однажды он пригласил многочисленное общество: всех ополченских офицеров, многих из соседних дворян, не могших, по старости или по слабосилию, служить в ополчении, кое-кого из чиновников, рязанских и зарайских (чиновников вообще он недолюбливал) на ужин, в село Ильинское, где находилась тогда почтовая станция на упраздненном уже ныне почтовом тракте³⁴ из Москвы, через Зарайск, Рязань, Ряжск, Козлов и далее, до Астрахани. Приготовления к пиру были огромные. Почтовая станция превратилась в великолепную залу, а к ней были приделаны из кокор (барочных досок) какие-то таинственные пристройки, очень задевавшие любопытство гостей Измайлова. Но прислуге строжайше было заказано пропускать кого бы то ни было внутрь пристройки. Между тем почтовые лошади и ямщики, с их «диктатором»³⁵, были переведены в особо выстроенное

помещение, в полуверсте от почтовой станции, ставшей пиршественною залюю.

В назначенное время гости съехались аккуратно. К удовольствию своему, они увидели, что ужина придется ждать недолго: столы были уже накрыты и сервированы; стулья придвинуты к приборам; уставленная редкостными деревьями и цветами зала ярко освещена. Казалось, все было готово, а время шло да шло по-пустому. Измайлов, несмотря на темь осенней ночи,— дело было в конце августа, чуть ли не в самый день Бородинской битвы,— водил своих гостей и на село, и вокруг села, и в поле, и на кухни наконец, где, очевидно, все было готово у многочисленных и расторопных поваров; но ужина все-таки не подавали, не подавали и закуски перед ужином, чтобы по крайней мере «заморить червячка». Это очень озабочивало гостей, особенно сильно проголодавшихся от скучных прогулок с генералом.

Но вот наконец особые столы в простенках устанавливаются водками и различными закусками, а важный дворецкий помещается у своего стола с посудой,— значит, можно и червячка заморить и как раз затем приступить к ужину.

В эту минуту слышался переливчатый звон колокольчика. Слышно было, что мчится во всю прыть какая-нибудь лихая тройка.

— Должно быть, фельдъегерь³⁶,— провозгласил явившийся в залу адъютант начальника ополчения.

— Может быть, к вашему превосходительству³⁷...— отозвались некоторые из гостей, относясь к хозяину.

— Всего вероятнее, к губернатору,— отвечал Измайлов,— теперь из армии и из Питера беспрестанно мчатся фельдъегеря. Может, от главнокомандующего... Не кончил ли светлейший³⁸ сразу со всесветным злодеем?.. Это ведь — не немец!.. Эх, жаль, что фельдъегерь проскочит мимо нас к станции, а мы не сдогадались оставить там кого-нибудь, на случай,— так и не узнаем теперь никаких новостей.

Но вдруг у самого крыльца пиршественной залы остановилась измученная курьерская тройка. Сильно шатаясь и бесцеремонно расталкивая столпившихся на

крыльце гостей, фельдъегерь ввалился в залу. Видно было, что он пьян-пьянехонек.

— Лошадей!..— крикнул он во все горло.— Где смотритель?.. Вот я тебя!..

К нему подскочили адъютанты и ополченские офицеры и начали объяснять, что почтовая станция переведена отсюда недалеко, что лошади там готовы, что здесь его превосходительство начальник Рязанского ополчения изволит давать ужин для своих гостей.

В ответ на все это фельдъегерь разразился самыми крупными ругательствами. Досталось и всем гостям, и самому его превосходительству. К ужасу гостей, Измайлов пришел в бешенство. «Меня ругать! — закричал он,— так я ж тебя проучу!.. Плетей! Арапниками его! Бей насмерть!..» — Тут произошла страшнейшая сумятица. Фельдъегерь кинулся с пистолетом на Измайлова. Когда же адъютанты и офицеры загородили своего генерала, фельдъегерь схватил скатерть с главного стола — и вот все приборы, ножи, вилки, тарелки, стаканы, рюмки, вазы с цветами,— все полетело на пол... Смятение в зале достигло высшей степени. Ужас гостей стал сменяться яростью. За оскорбление, нанесенное такому хозяину, каков был генерал Измайлов, а всего более за истребление столь желанного ужина, они были готовы кинуться на буйного фельдъегеря,— но вдруг новая неожиданность поразила их. Раздались звуки роговой музыки³⁹ — и в стене, прилегающей к таинственной пристройке, растворились огромные, до сего времени искусно скрытые двери, а за ними представилась другая пиршественная зала, тоже ярко освещенная, тоже вся уставленная великолепно убранными столами.

Оказалось, что настоящий ужин был приготовлен именно в этой зале и что фельдъегерь был вовсе не фельдъегерь, а какой-то приживалец⁴⁰ измайловский, ловко разыгравший роль свою...

Я живо помню восторг, с которым рассказывал мне один из свидетелей этой потехи про все мельчайшие ее подробности. Должно быть, и многим, многим из тогдашних дворян-помещиков пришлась она крепко по нраву,— хотя, казалось бы, наглая, грубая хвастливость

ее по отношению к гостям, а главное — совершенная ее неуместность, по тогдашнему трудному времени для России, должны были возбуждать сильное негодование против любителя подобных потех.

Кстати об измайловских потехах. По его мнению, они тем были хороши и безупречны, что имели будто бы чисто русский характер, а он недаром хотел быть и слыть всегда «истым русским барином». Ничего «заморского», ничего утонченного он не жаловал. Так, театры с доморощенными артистами и артистками из крепостных, чем тогда любили щеголять наши богатые помещики, так, музыку, кроме роговой, считал он тоже заморскими, непристойными русскому барину затеями. Любил он только простые, исконно русские потехи: псовую охоту, скачки на длинные расстояния, и непременно по обыкновенным почтовым и проселочным дорогам, со всеми их удобствами и прелестями, какие еще и теперь не совсем у нас вывелись, да кулачные бои и борьбу, да попойки и гулянки, напролет по целым ночам, с песнями и плясками, с диким, неутомным разгулом.

Не жалуя все заморское, он и из европейских народов уважал только одних англичан, которые, — как говаривал он, — «хотя и торгоши, однако лихой народ; из-за торговли своей не забывают же, как надо борьбу вести с Бонапартом, и ведут ее без усталы, бодро и весело». Нравились ему тоже английские эксцентричности, а особенно страсть англичан к пари. Так, и он был готов биться об заклад из-за всего, хоть бы из-за того даже, кто дальше плюнет (рассказывают, что однажды он проплевал ловкому специалисту по этой части 18 тыс. рублей). Вот тоже относящийся ко времени формирования ополчения характеристический анекдот о страсти Измайлова к пари.

Раз ехал он откуда-то по весьма неровной, гористой местности. С ним был адъютант его, дворянин Рязанского уезда, Павел Семенович Кублицкий*. По обыкновению

* В нашем Северо-Западном крае Кублицких (Пиотухи) довольно много. Они считают себя польскими дворянами, потому что католики; некоторые из них были крупно замешаны в польском мятеже 1830—1831 годов. Но рязанские Кублицкие (тоже Пиотухи, стало быть, одного рода) — православные сыздавна, даже не помнят предков своих

своему Измайлов скакал, сломя голову: строго-настрого было наказано кучеру «лететь», как по гладкому месту, так с горы и в гору, не разбирая, удобна или неудобна дорога для такой езды, не жалея и барских лошадей, лишь бы им ровно всем доставалось. Адъютант, человек не из храбрых, сильно трусил всю дорогу: он того и ждал, что вот-вот опрокинется коляска, запряженная шестериком лихих и страшно разгоряченных лошадей. Но наконец горы и овраги с косогорами миновали, пошла все ровная дорога, вдоль по высокому берегу Оки. Адъютант успокоился и не утерпел, чтобы не выразить своего удовольствия.

— Слава богу! — промолвил он с невольным вздохом. — Теперь вплоть до дому гор уж не будет.

— Как не будет! Надо, чтоб были! — возразил Измайлов. — Давай пари, что и еще раз придется нам спускаться с крутой горы.

— Помилуйте, ваше превосходительство, я хорошо помню, — гор больше не будет.

Но Измайлов все настаивал на своем. Адъютант, к которому он пристал неотвязчиво с предложением о закладе, должен был принять его. Тогда взбалмошный генерал крикнул кучеру:

— Эй, Терешка! Бери направо, спускай с горы, прямо-таки в Оку.

Измайловские люди так были наметаны, что никогда не осмеливались задумываться над исполнением барских приказаний: кучер подобрал вожжи, крикнул на форейтора⁴¹, а тот, и не оглядываясь, в самом деле направил своих «уносных»⁴², чтоб спускаться в реку. Немедленно же Кублицкий признал себя проигравшим пари.

— То-то же! — сказал Измайлов в назидание своему адъютанту. — Твердо-натвердо знай, что генерал твой, Лев Дмитрич Измайлов, завсегда прав и коли захочет, у него всюду горы окажутся.

Содержание Измайловым на свой счет многих офицеров ополченских, изобильные обеды и ужины у него, веселое отправление всяких действий по ополчению,

католиками или униатами, а в Рязанской губернии считаются они помещиками с конца XVII столетия.

впереемежку с гульбою и разнообразнейшими потехами, наконец, все эти эксцентричности, вроде вышеописанных, привлекали к нему сердца невзыскательных дворян до такой степени, что они отнюдь уже не оскорблялись дикими, наглыми его выходками с некоторыми из них. Напротив, эти выходки как будто еще больше располагали их к нему,— должно быть, потому, что в них выражалось какое-то своеобразное, впрочем, весьма грубое, остроумие. Приведу здесь одну из таких выходок, которая, несмотря на весь возмутительный ее характер, много забавляла рязанских дворян.

Как-то, все во время же ополчения, генерал Измайлов был в усадьбе своей, в сельце Горках (Рязанской губернии, Зарайского уезда). Туда приехал к нему из-за какой-то официальной надобности зарайский земский исправник⁴³, человек бедный, с большим семейством, для прокормления которого он и был избран на эту должность.

Причудливый генерал принял исправника ласково, нисколько не глумился над ним во время каких-то служебных объяснений (а это глумление над чиновниками Измайлов позволял себе постоянно) и удостоил его чести приглашения на обед.

— Вот как будто по нраву мне ты пришелся,— сказал Измайлов исправнику после обеда,— а потому и желаю угодить тебе. Заметно, братец, что ты еще не оперился: лошаденки у тебя больно плохи, да и едешь-то в простой телеге. Я поправлю это дело. Разживайся-ко с моей легкой руки.— И он велел подать к крыльцу тройку очень хороших лошадей, запряженную в большие крытые дрожки.

— Дарю тебе,— продолжал Измайлов.— Лошадки, как видишь, добрые, да и дрожки не дурны.

После жарких изъявлений благодарности восхищенный исправник не утерпел, чтобы не полюбоваться вблизи на сделанный ему подарок: он выбежал к крыльцу, и там, на беду свою, вздумал осведомиться о летах подаренных лошадей,— стал смотреть им в зубы.

— Ну, братец, дурак же ты! — крикнул Измайлов в окно.— Да разве дареному коню в зубы смотрят? Этого

никак нельзя оставить без наказания. Эй! Отпрягайте лошадей, ведите их назад в конюшню. А дрожки, господин исправник, твои, благо к ним пословица не прилагивается. Но только запрягайся-ко в них сам,— и сию же минуту долой с моего двора!

Исправник не дерзнул ослушаться: взялся за оглобли и, понатужившись, вывез тяжелые дрожки со двора генеральского.

— А худо бы было ему, если б он этого не сделал...— прибавляли обыкновенно веселые дворяне, рассказывавшие мне этот анекдот. Они были правы, эти веселые дворяне: ну, как было не бояться генерала Измайлова?

III

Тульский гражданский губернатор фон Трейблут и тамошний губернский предводитель дворянства Мансуров, производившие, по высочайшему повелению, последнее следствие о генерале Измайлове, в особой записке к министру внутренних дел делают следующее заключение о его отношениях к чиновникам и дворянам. «Генерал Измайлов,— говорят они,— действовал на многих чиновников интересом и страхом: одни из них боялись запальчивого и дерзкого его нрава, а другие — богатства и связей; соседи же дворяне избегали всякого с ним знакомства, и только те с ним были знакомы, которые искали связи этой из-за корысти, за что и позволяли Измайлову делать с ними все, что ему угодно».

Такое заключение, в отношении собственно местных, а особенно уездных, чиновников, конечно, справедливо. Оно оправдывается не только выше рассказанным, совершенно достоверным анекдотом о зарайском исправнике, но и многими другими фактами следственного дела, на основании которого я веду тоже мой рассказ. Так, из показаний дворовых хитровщинской усадьбы видно, что чиновники местной земской полиции⁴⁴ нередко видели людей измайловских заключенными в страшной арестантской комнате при имении, в тяжелых ножных кандалах, с мучительными железными «рогатками» на шеях⁴⁵ и вообще досконально знали, каким истязаниям

подвергаются эти несчастные люди; видали и знали, а все-таки не принимали никаких мер к прекращению вопиющих злоупотреблений помещичьей власти, даже не обращали на них внимания, как будто бы все такое было самым естественным, законным делом.

И вот что замечательно: эти снисходительные чиновники не очень-то были задабриваемы со стороны генерала Измайлова, хоть бы, например, ласковым с ними обращением, — нет, он мало с ними церемонился. Так, в большие праздники, когда уездные чиновники, как бы из-за обязанности, наезжали к нему, в его деревенскую усадьбу, с поздравлениями, он не всех их удостоивал приглашением к своему столу: имели честь обедать с ним, при таких случаях, только уездные предводители, судьи и исправники, а все прочие, т. е. уездные стряпчие⁴⁶, заседатели⁴⁷ уездного и земского судов и секретари разных присутственных мест⁴⁸, пробавлялись генеральским угощением в отдельном флигеле. Несомненно, что все эти чиновники получали, в определенные ли сроки или при особых случаях, какие-нибудь подачки от Измайлова; но это уж так, по порядку, как и везде и у всех бывало. Но главнейше — отношения Измайлова к чиновникам и их к нему определялись не этими подачками, а именно тем, что они были запуганы им, боялись его богатства, его связей, его буйного, мстительного нрава.

Но другое дело — дворяне-помещики, соседи и не соседи с Измайловым. Мне кажется, что нельзя согласиться с заключением губернатора фон Трейблута и губернского предводителя Мансурова, что соседи-дворяне уклонялись от знакомства с Измайловым и что только те были знакомы, которые рассчитывали на какую-нибудь корысть от него. Во-первых, из следственного же дела видно, что весьма многие помещики посещали его; что дом его почти никогда не оставался без гостей; что гости эти участвовали и в псовой охоте, и в других разных забавах и потехах его; что, наконец, некоторые из дворян отдавали к нему в дом на воспитание не только сыновей, но и дочерей своих. Но всего более опровергают вышеуказанное заключение отзывы дворян двух губерний,

Рязанской и Тульской, об Измайлове, когда их спрашивали, как он обходится со своими крепостными людьми и какую вообще жизнь ведет: многие из этих отзывов, хотя и крепко грешат относительно самой сущности вопросов, тем не менее исполнены глубокого и искреннего уважения к нему, и, по самой безыскусственности выражений их, нельзя не признать, что они не продиктованы усердием обиравших их чиновников, а написаны самими помещиками. Если же и были дворяне-соседи, сторонившиеся от Измайлова, потому ли, что, оберегая свое достоинство, не хотели подвергаться никаким причудам самовластного его характера, или же потому, что не любили шумных потех, буйного и грязного разгула, то я полагаю, что таких дворян в те времена было весьма немного, и отношения их ровно ничего не доказывают в настоящем случае, как ничего же тут не доказывает и то обстоятельство, что некоторые из дворян пользовались от Измайлова разными вспомоществованиями. Нет, дворянство тульское и рязанское уважало Измайлова по иной причине, в которой, как мне кажется, проявлялось нечто похожее на общественное мнение.

Вероятно, дворянству этому сильно кидались в глаза официальные отношения Измайлова.

Он, например, постоянно не ладил с губернаторами. Как губернский предводитель дворянства, он считал своею обязанностью становиться из-за всего, что касалось до дел дворянского сословия, в запальчивую оппозицию губернаторской власти. Это крепко нравилось дворянам: в таких действиях губернского предводителя они видели силу и существенное значение своего сословия. Вдумываясь, на основании хоть бы вообще справедливости, в смысл отношений своего главного представителя к администрации они не умели, да, пожалуй, и не захотели бы,— им была бы только оппозиция... Тут бессознательно выражался какой-то протест со стороны самой влиятельной части земства⁴⁹,— хотя выражался без достоинства и бесплодно.

Что же касается до жесточайшего деспотизма Измайлова с крепостными своими людьми, то деспотизм этот не имел ровно никакого значения в глазах значительней-

шего большинства дворян уже по тому одному, что, по тогдашним понятиям, всякий помещик мог делать в своих имениях почти все, что было ему угодно. А ввиду того, как обращался подчас взбалмошный генерал с высшими административными лицами губернии, дворяне легко сносили его бесцеремонное и иногда в высшей степени наглое обращение с некоторыми из мелкотравчатых⁵⁰ их собратий, людей необразованных и ничтожных по характеру и нравственным качествам,— и нипочем было им слышать, даже видеть, что из-за гнева генеральского, либо просто ради одной потехи, такой-то мелкотравчатый был привязан к крылу ветряной мельницы и после произвольной прогулки по воздуху снят еле живым, что другой подобный же дворянин был протасен под льдом из проруби в прорубь, что такого-то дворянина-соседа зашивали в медвежью шкуру и, в качестве крупного зверя, чуть было совсем не затравили собаками, а такого-то, окунутого в деготь и затем вываленного в пуху, водили по окольным деревням, с барабанным боем и со всенародным объявлением о какой-то провинности пред генералом.

Впрочем, к чести самого Измайлова надо сказать, что те,— немногие однако,— лица, у кого доставало духу не поддаться ему и даже его припугнуть, делались задушевными его друзьями. Раз бедный дворянин, отставной майор Голишев, сподвижник Суворова в Итальянском походе, провинился в чем-то на измайловской пирушке и отказался за такую свою провинность выпить *Лебедя*. Измайлов захотел и с Голишевым обойтись по-своему, он велел было насильно влить ему в горло забористый напиток. Но Голишев, хотя и кутила, но никогда не забывавший своего человеческого достоинства, тотчас же пустил в дело свою чрезвычайную силу. Он выругал крепко Измайлова и, кинувшись стремительно к нему, схватил его за горло могучими руками.

— Слушай, Лев Дмитрич,— сказал он,— не дам я тебе издеваться надо мной. Пикни только словечко,— задушу, не то кости переломаю. А попустит бог, вывернешься и людишки твои одолеют меня,— доконаю тебя после,

езде, где только встренемся,— разве живой отсюда не выберусь.

Измайлов немедленно попросил извинения. А после того он долго добивался дружбы Голишева и, добившись, чрезвычайно дорожил ею. Он уважал молодца-ветерана, тем более что Голишев никогда не хотел пользоваться никаким от него вспоможением.

И, однако, дворяне не подметили, что генерал Измайлов, этот ярый защитник прав предводимого им «передового» сословия, не ладил с губернаторами больше всего из-за собственных своих взглядов и расчетов. Не угодит, бывало, ему, даже в каких-нибудь пустяках, губернатор, он немедленно начинает войну с ним, придираясь ко всякому случаю, чтобы свалить своего противника, не задумываясь для этого ни перед какими средствами. Так он «повалил» нескольких губернаторов. Для примера, из-за чего, бывало, становилась борьба, расскажу случай с рязанским губернатором Д. С. Ш-вым⁵¹, родным братом известного адмирала и статс-секретаря.

Как-то раз Измайлов был у него на вечере и играл с ним в карты. Игра, как видно, не очень занимала его,— он много говорил и в речах своих нисколько не сдерживался. Самое резкое осуждение общего хода дел в тогдашней России, самые резкие порицания действий тогдашних русских государственных людей так и сыпались с его неугомонного языка. Губернатор, человек весьма добрый и кроткий, молчал некоторое время; но наконец, почувствовав всю неловкость и небезопасность своего положения при таком разговоре, решился остановить Измайлова. Завязался спор между ними, который, однако, скоро покончился, когда Ш-в, на беду свою, промолвил:

— Эх, Лев Дмитрич, у меня-то по крайней мере не должно бы тебе так говорить...

— А почему? — спросил Измайлов.

— Да потому,— отвечал губернатор,— потому, что, во-первых, я все-таки начальник губернии и даже за картами не теряю своего официального положения; а, во-вторых,— ну, почем ты знаешь?— может ведь статься, что ты находишься у меня несколько и под надзором.

Губернатор явно обмолвился. Он хотел было смягчить выражение «о надзоре», но это ему совсем не удалось. Повторив с различной интонацией: «А! Я под надзором, под надзором нахожусь!» — Измайлов не хотел и слушать дальнейших объяснений губернатора и затем, мрачно насупившись, все молчал и молчал. Закончив игру, он не остался ужинать, очень сухо распрощался со смущенным хозяином и в ту же ночь ускакал в Петербург.

Дурные последствия вышли из этой истории для губернатора Ш-ва: он скорехонько потерял место, и, конечно, по стараниям Измайлова.

В среде местного дворянства такая история должна была придавать Измайлову чрезвычайное значение. Да и шутка ли, в самом деле: губернатор, особенно же тогдашнего времени, губернатор, да притом родной брат человека, достигшего одной из высших степеней в служебной иерархии, обмолвился в домашней беседе с Измайловым неловким выражением и потерял за то место! — Дворяне смотрели на это происшествие как на собственную свою победу.

С течением времени, именно с тех пор как Лев Дмитрич Измайлов перестал быть губернским предводителем дворянства, общественная обстановка изменилась кое в чем, но общее уважение дворян к нему осталось в прежней своей силе. Дворяне не переставали видеть в нем как бы надежного своего заступника, как бы вождя своего. Тут, конечно, действовали прочные воспоминания о прежней его роли, не говоря уже о том, сколько значения должны были иметь тогда, в глазах целой массы людей, недостаточно развитых в нравственном и гражданском отношениях, бесцеремонная привычка Измайлова командовать над всеми, его богатство и тароватость, его сильные связи со знатью, его постоянная любовь к грубым, разудалым потехам, его готовность на всякую, даже безумную проделку для удовлетворения вечных своих прихотей.

В связи со всем вышеописанным было и еще одно особенное обстоятельство, усиливавшее в глазах дворян значение генерала Измайлова: грубому дворянскому

тщеславию чрезвычайно льстило то, что этот взбалмошный человек *прославился* своими помещичьими выходками даже в чужих краях.

Предводительствуя Рязанским ополчением, Измайлов отправился в заграничный поход, в Германию, как в такое заграничное путешествие, цели которого единственно — удовольствия и развлечения, причем еще имеется в виду не столько чужих людей посмотреть, сколько себя показать.

Время тогда было суровое, истинно трудное: только что кончилось изгнание страшного врага из России, измученной великими на тот подвиг усилиями; вслед за тем, на другой почве, должна была начаться с этим же страшным врагом новая, кровавая борьба... Но роковые события, столь полные трагического значения и для отдельных великих личностей, и для целых народов, не отвлекали генерала Измайлова от желания, во что бы то ни стало, сделать свой заграничный поход как можно веселее, потешнее. Мне рассказывали, да отчасти и из следственного дела это видно, что все, к чему он привык дома, чем только «прохлаждался» и тешился в широком домашнем своем быту,— все это находилось с ним и в походе. С лишком пятьдесят человек из крепостных служителей: камердинеры, официанты, простые лакеи, казаки, кучера, конюхи, псари разных должностей и наименований сопровождали его; не забыл он тоже взять с собою несколько лиц и из женской *прислуги*, об особенном печальном значении которых нечего и распространяться. Охотничьих его собак, борзых и гончих, везли в больших, нарочно для того устроенных фургонах. Лучшие из этих собак имели особенный костюм: какие-то епанечки на спинах, какие-то шапочки на головах.

Измайловская псовая охота, измайловские лихие тройки, с кровными рысаками или с иноходцами⁵² в корню, с завивающимися, «развратными», как их назвал Гоголь, кажется, пристяжными⁵³, измайловская огромная свита из крепостной его прислуги и из подобострастно исполнявших его распоряжения и приказания многих ополченских офицеров — все производило чрезвычайное впечатление на чинных немцев. Измайлов был, что



«Да вставать завтра пораньше, не дрыхнуть у меня до полдня, а то, если придется мне будить тебя, дуру, так уж разбужу по-своему!»

С литографии С. А. Лебедева, 1864 г.

называется, львом для них в ту пору. Конечно, он не мог не заметить этого, и все делал, чтобы усилить произведенное им впечатление.

Когда военная гроза посвалила с почвы Германии, а главные тамошние крепости сданы уже были французами, он стал задавать пиры про целые немецкие города. Затеяливо тешил он немецких бюргеров и вдоволь сам понатешился над ними. Так, — рассказывают, — в одном городке городское общество устроило бал для него и его офицеров, а он выкинул при этом шутовскую проделку, за которую расплатился щедрым пиром для целого города: музыканты местного оркестра были подкуплены и подпоены, и когда бал открылся по тогдашнему обычаю чинным полонезом, — вместо того, чтоб играть, они вдруг отложили инструменты в сторону, высунули языки и обеими руками сделали носы изумленной публике. Немецкая публика очень было оскорбилась таким, по правде сказать, глупым нарушением общественных приличий, но Измайлов как раз успокоил ее, приказав внести корзины с вином и тут же пригласив на пир к себе как всех присутствовавших на балу, так и всех вообще граждан города.

Но и на этом пиру не обошлось без барской потехи. У некоторых из немецких пожилых дам вдруг вспыхнули пышно накрахмаленные чепчики. Такая проделка была уже не очень невинного свойства. Но пожар чепчиков был скорехонько потушен; напуганные немки тотчас же получили ценные подарки, и добродушные немцы остались, говорят, весьма довольны шутливый чересчур, зато щедрым русским генералом.

Может быть, эти помещичьи рассказы о проделках Измайлова с немцами преувеличены или даже и вовсе выдуманы, но несомненно как то, что заграничный свой поход, весь наполненный только участием в блокаде некоторых занятых французами крепостей, Измайлов старался обставить всеми принадлежностями своего широкого домашнего помещичьего быта, так и то, что он истратил на ополчение и на заграничный поход из собственных своих средств громадную для того времени сумму — миллион рублей ассигнациями⁵⁴. Итак, было

чем произвести впечатление и на немцев, и на ополченских офицеров. И недаром же долго-долго и все с восхищением любили они, эти офицеры, любили также и детки их рассказывать, как командовал ополчением, как пировал и тешился в заграничном походе Лев Дмитриевич Измайлов.

IV

Теперь будет кстати упомянуть об имениях генерала Измайлова и о доходах, какие он получал с них.

По формулярному списку, доставленному в Рязанский уездный суд из Рязанского дворянского депутатского собрания⁵⁵, значится за Измайловым: в селе Деднове Рязанской губернии Зарайского уезда 2867 душ, в селе Дмитриеве той же губернии Михайловского уезда 967 душ; в селе Хитровщине Тульской губернии Епифанского уезда 1500 душ; в селе Спасском Московской губернии Бронницкого уезда 280 душ; а всего—5614 душ. Цифровые показания эти, по всей вероятности, относятся к 1815 году, когда Измайлов вышел в отставку из службы по званию рязанского губернского предводителя дворянства. Впрочем, надо тут заметить, что в упомянутом формулярном списке не показаны почему-то как деревни, принадлежавшие к родовому имению Измайлова в Михайловском и Епифанском уездах,— Жмурова, Кашина, Ковалевка и другие, так и селения «благоприобретенные» в Зарайском уезде: Перевицк, Горки и проч. Все эти, не показанные по формуляру, селения состояли, несомненно, за начальником Рязанского ополчения, когда оно формировалось в 1812 году, и мне приходит мысль: не по особенным ли помещичьим расчетам, и именно для того, чтобы поменьше ставить ратников⁵⁶, не упоминаются в формулярном списке вышеназванные селения. Предположение это получает некоторую вероятность и по тому еще обстоятельству, что во время производства следствия и суда над Измайловым числилось за ним по седьмой ревизии⁵⁷, оконченной в 1815 же году, 6298 душ, как родовых, так и благоприобретенных крестьян⁵⁸ и дворовых. В 1834 году, когда Измайлов умер,

все имение его, как видно из духовного его завещания, заключало в себе до одиннадцати тысяч душ, и в том числе благоприобретенных считалось только шестьсот с чем-то душ.

Генерал Измайлов, по числу крепостных своих, пожалуй, был и не из особенно крупных русских помещиков тогдашнего времени: граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский⁵⁹, почти его современник, говаривал же, что не понимает, как может жить только безбедно русский дворянин, если не имеет по крайней мере пяти тысяч душ; но главные измайловские имения: рязанское, село Дедново, и тульское, село Хитровщина, славились чрезвычайной доходностью. Таким образом, герой мой, к его, конечно, удовольствию, мог, по всей справедливости, считать себя уже не безбедным дворянином, а очень крупным помещиком.

Прежде всего я хочу рассказать о селе Деднове. Оно хорошо мне знакомо. Имение, принадлежавшее исстари роду моей матери, находится от Деднова только в шести-семи верстах⁶⁰. В этих местах протекло мое детство; сюда, все через Дедново же, ездил я часто и когда учился, и когда служил. Здесь, в этом большом селе, в первый раз поразили меня резкие контрасты, столь свойственные именно великолепным имениям крупных русских помещиков. Здесь же случай доставил мне полную возможность досконально узнать, от чего зависят эти контрасты, а также и то, к чему доводили иногда крепостных и неволя, и постоянное, страстное стремление избавиться от нее. Вряд ли доведется мне еще говорить о селе Деднове, а между тем факты, которые я знаю о нем, весьма интересны, и вот почему я решаюсь здесь на небольшое отступление от рассказа о моем герое.

Дедново — самое большое селение в Рязанской губернии, после села Ижевского — в Спасском уезде, и села Белоомута — в Зарайском: в нем в настоящее время считается уже с лишком четыре тысячи душ мужского пола. Стало быть, это село — почти с десяти тысячным населением обоего пола, что впору было бы у нас и уездному городу. Но оно замечательно тоже и по способности

его жителей к промыслам, и по преданиям о старом, просторном житье-бытье, и по той роли, какая выпала ему в недавнее время, перед самой крестьянской реформой.

История дедновцев, как крестьян, крепких земле, — вообще не из очень печальных историй. Не будь у них такого барина, каков был взбалмошный Лев Дмитриевич, да не случись еще «экзекуции»⁶¹ 1857 года, им, пожалуй, и нечего было бы поминать лихом свое прошлое.

Испокон веку, кроме периода времени от шестидесятых годов прошлого столетия по 1861 год, они знали себя не крепостными. Их село считалось дворцовым, и, ежегодно, вместо всякого поземельного денежного оброка, они обязаны были доставлять «для государского обиходу» сколько-то рыбы, которую достать вовсе не трудно из реки Оки, текущей мимо самого их села и довольно далеко по их дачам⁶². В то время им жилось привольно и спокойно. Да и еще бы не так: хотя при селе Деднове нет вовсе пахотной земли, однако дедновская дача великолепна. Тут, кроме усадебной земли и пастбищ, — около восьми тысяч десятин лугу поемного⁶³, расположенного по обеим сторонам Оки. Тут есть такие луговые пространства, что каждая так называемая хозяйственная десятина⁶⁴ (мерю в 3200 квадратных сажень) дает, без всякого искусственного удобрения, до семисот пудов⁶⁵ прекраснейшего сена: так хорошо удобряются дедновские луга ежегодными разливами Оки.

Понятно, что на таком просторе, да когда еще он весь был под властной рукою дедновцев, им жилось и привольно, и спокойно. Недаром же есть у них горделивые воспоминания о том, как в тогдашнее, золотое время сами цари, — да еще какие цари! — Иван Васильевич Грозный⁶⁶ и Петр Алексеевич Великий⁶⁷ знали и жаловали их, дедновцев.

Иван Васильевич наезжал в дедновские места на охоту, и раз, как говорит предание, вышел с ним в Деднове такой случай.

Заехал грозный царь с охоты к знакомому мужичку Феодору Суслову, чтобы поотдохнуть и позавтракать. Хозяин и все его домашние разметались из избы, кто

для исполнения разных требований царских людей, а кто из-за страха, и вот в избе остались только царь да двухлетний мальчик, самый младший сынишка Суслова. Царь Иван Васильевич сидел в переднем углу, под образами, а мальчик все бродил по лавкам. И подобрался сынишка Суслова к царю да и схватил его ручонками за бороду.

На Ивана Васильевича грозный стих нашел: сильно он прогневался и приказал тотчас же казнить мальчика.

Кинулся в ноги царю старик Суслов и стал молить о помиловании.

— Помилуй, надежа-государь,— говорил он,— сынишко-то мой мал-неразумын... А провинился он недосмысля... Прикажи испытать его: на одно блюдо пущай насыплют золота, а на другое горячих угольев,— вот и пущай выберет, к чему смысл его потянет...

Царю понравился этот способ испытания, так и повелел он сделать.

Недосмысленный ребенок протянул ручонки к горячим угольям, по которым переливались разноцветные огоньки.

Царь простил ребенка.

С лишком через сотню лет после того другой грозный царь, чуть ли еще не погрознее Ивана Васильевича, Петр Алексеевич Великий, проезжал через Дедново в Воронеж. Человек с десять лучших стариков дедновских поднесли ему хлеб-соль. Он милостиво принял ее и промолвил несколько ласковых слов о селе Деднове. Потом, обратившись к старику, подносившему хлеб-соль, спросил, как зовут его.

— А Макаром зовут, надежа-государь,— отвечал старик, весело притом улыбнувшись.

Царю понравились и ответ, и добродушная улыбка старика.

— Хорошо, Макар! Ай да Макар ты у меня!— молвил он. И затем стал ходить перед дедновцами, как будто о чем-то раздумывая, а в то же время иногда повторяя:

— Ай да Макар, хорошо, Макар!

Наконец остановился он опять перед дедновскими депутатами и спросил следующего за передовым, как и его зовут.

— А и меня Макаром зовут, надежа-государь,— отвечал и этот старик, так же просто и весело, как и прежний.

— Ну, хорошо, Макар, так Макар,— молвил царь и спросил третьего об имени.

Оказалось, что и третий и все прочие депутаты назывались тоже Макарами.

Петр Алексеевич удивился было, но как раз догадался, что все эти простодушные депутаты стали Макарами ради царского его удовольствия, выраженного им при имени старика, подносившего хлеб-соль.

— От сей поры,— молвил государь, засмеявшись,— будьте же вы, дедновцы, навсегда и все — Макары.

Так и осталось. Везде на Руси, где только промышляют дедновцы, знают их под именем «Макаров». Это наименование упоминается даже в каких-то грамотах, данных дедновцам на право ловить рыбу в некоторых местах по Оке, лежащих вне их дачи.

Со времени поступления дедновцев в крепостную зависимость экономическое положение их тотчас же и весьма резко изменилось. Крепостное право принесло им все свои принадлежности. Только благодаря характеристическим свойствам своей коренной дачи, т. е. неимению вовсе пахотной земли, не познакомились дедновцы у себя, на «миру», с тем, что такое барщина, хотя один вид ее — подводную повинность⁶⁸ — Лев Дмитриевич Измайлов ввел-таки к ним, именно для доставления сена, убранного на господских дедновских лугах, в Хитровщинский конный завод.

Исстари дедновцы славились своей способностью к промыслам и зажиточностью. Но прежде они промышляли все больше дома, а с начала помещичьего управления стала их кормить особенно уже чужая сторона. Попривыкли и они покидать просторные родимые места и зарабатывать деньгу преимущественно отходной промышленностью, в должностях по питейным откупам⁶⁹ и по судоходной части; из них выходили ловкие «цело-

вальники»⁷⁰, поверенные и ревизоры, а также хорошие «водоливы»⁷¹ и лоцмана.

Дома же сидели они, казалось бы, все на привольных таких местах: по обоим берегам большой судоходной реки, имея под рукою и обширные пространства прекрасных поемных лугов, и множество рыбных озер, раскиданных по всей даче их села. Но эти богатые, просторные места имели только одно сильное и явное влияние на жизнь дедновцев: они, несомненно, развили в них смышленность, бойкость характера, заметную всегда склонность к некоторой независимости. При существовании и у них крепостного права указанные мною свойства их особенно бросались в глаза. Недаром же Измайлов крепко недолюбливал дедновцев, хотя из них-то именно и формировал своих «казаков»; недаром никогда не решался он обзавестись усадьбой среди прекрасного села и даже весьма редко посещал его, на самое короткое время.

«Мало ль, что глаз видит, да зуб неймет!» — могли бы с основанием сказать дедновцы, глядя на свои привольные места.

Рыбные ловли в Оке и озерах по дедновской даче состояли уже все за помещиком и отдавались от него в аренду. Прекрасные поемные луга стали тоже не в прибыль дедновцам, и, живя кругом в лугах, они не могли развить у себя хорошего, даже достаточного скотоводства: значительнейшая и лучшая часть этих лугов принадлежала все же помещику; именно от лугов помещик и имел главнейший свой доход с Деднова, доход, так сказать, двойной, потому что помещичьи дедновские луга сдавались в аренду два раза в год: в начале мая, собственно для скошения травы, в период времени от Петрова дня (29 июня) по Ильин день (20 июля), и почти тотчас после того — под пастьбу (отава)⁷² прогоняемых с донских мест в Москву многочисленных гуртов, — с начала августа и по конец сентября. И вообще от отдачи лугов и отав при Деднове да от оброка с дедновских крестьян генерал Измайлов имел чистого дохода от ста

двадцати до ста пятидесяти тысяч рублей ассигнациями*. Между тем так называемые «мирские» луга, т. е. луга, предоставленные в пользование крестьянам, давали мало сена, потому что были плохого качества, а выгоны для пастьбы крестьянского скота, хотя и огромные по пространству, все были покрыты рытвинами, водороенами и песчаными наносами, производимыми в весеннее время полою водою из Оки. Ко всему этому надо прибавить чуть ли не самую большую беду: гурты, ежегодно пускаемые на господские отавы, заносили весьма часто заразу в дедновские стада, и стало обыкновенным делом, что один раз в каждое трехлетие выпадал почти весь скот у дедновцев.

При таких условиях жизни, при таких порядках только труд на чужой стороне и мог выручать дедновское народонаселение. Этот труд и выручал,— но далеко не всех.

Замечательно, что барский оброк с дедновцев, по отбыванию его, имел вид прогрессивного налога. Смотря по степени своей зажиточности и вообще состоятельности к платежу оброка, дедновцы были разделены на несколько категорий: были между ними такие домохозяева, с которых сходило в год по несколько сот рублей, но и такие были, которые платили весьма мало или даже и вовсе ничего не платили. Но такое распределение дедновцев по платежу барского оброка зависело не от барской сообразительности. Раскладка оброка промеж домохозяев производилась самим «миром»⁷³, конечно, по верховным указаниям помещика насчет суммы оброка с целого «мира», и, конечно, тоже под наблюдением поставленного помещиком бурмистра⁷⁴. «Мир» обязан был тянуть известное количество тягол⁷⁵, и в этом-то отношении действовали непререкаемо помещичьи указания, а тягла накладывались на семейства уже по усмотрению самого «мира», и тут принимались в соображение не столько рабочие силы семьи, сколько наличные финансовые ее средства, которые от «мира» утаить было никак нельзя.

* Колебание суммы дохода между цифрами сто двадцать и сто пятьдесят тысяч рублей зависело от ежегодно менявшейся цены на луга и на отавы.

Но несмотря на то, что «мир» разравнивал вышеописанным способом между домохозяевами тяготу барского оброка и других тягольных повинностей, несмотря и на то, что дедновцы усердно искали наживы на чужой стороне, контрасты зажиточности и бедности проявлялись в Деднове с чрезвычайной силой и резкостью.

Живо памятливы мне эти контрасты.

На площади, вокруг главной и как бы соборной в Деднове церкви, а также и на нескольких центральных в селе улицах находится довольно много домов, хоть и некрасиво выстроенных, хоть и тесновато расположенных, зато больших, высоких, нередко двухэтажных, окруженных хорошими надворными постройками и вообще, очевидно, принадлежащих люду зажиточному, даже богатому.

И точно: тут сосредоточено столько торгового и промышленного движения, сколько далеко не всегда можно встретить во многих уездных городках. Эта площадь, эти центральные улицы, с домами, амбарами и лавками людей богатых и зажиточных, расположены так привольно у самой Оки, по которой, с самой ранней весны и вплоть до зимы, тянутся многие барки⁷⁶, через которую переправляется здесь на паромах народ со всего Егорьевского уезда, идущий и едущий в Рязань и в степные места. Здесь же, на площади, происходит еженедельно по пятницам базарная торговля для многих окольных селений Зарайского, Коломенского и особенно Егорьевского уездов; а кроме того, неподалеку от дедновской площади нагружают барки сеном в Москву. При такой обстановке понятно, что жители этой части села Деднова уже и без отходной промышленности могли промышлять у себя дома очень выгодно и жить, даже «под помещиком», с некоторою свободою.

Но центральная часть села Деднова заключала в себе лишь незначительное меньшинство его населения. Коренной народ дедновский, народ малоимущий, ютился гораздо подальше от вышеописанной площади, расположенной наверху и частью по скату высокого берега Оки, ютился хоть и далеко от реки, но именно там, где

она, обходя заливами и низинами свой высокий берег, доставала бедные усадьбы всей своей полою водой⁷⁷.

Вот, например, огромная часть села, называемая Кривулею, через которую так часто приходилось мне проезжать. Куда как невзрачны домишки во всей Кривуле, стоящие на высоких насыпях и осененные старыми, огромными, дуплистыми ветлами, домишки маленькие, тесно жмущиеся один к другому, ветхие. И недаром тут эти насыпи, эти ветлы, а кстати челны и лодки, все время, кроме весны, лежащие перед окнами на подпорках или просто на завалинках: в весеннюю пору почти всю Кривулю «понимает» разлив Оки, и мимо самых домишек кривульских идут тогда с гулом, громом и треском громадные льдины, от которых только и спасенья, что эти насыпи да ветлы.

Бедность обитателей Кривули, теснота их жизни на луговом просторе сразу бросается в глаза. На задах и по бокам тамошних домов, что называется, хоть шаром покати; не у всех даже домов есть дворы, отчего часто и ворот не имеется; а если и есть где тесненький дворик, так зато на нем ни сарайчика, ни амбарчика, а разве торчит, в виде наскоро и ненадолго поставленного шалаша, какой-нибудь погребок или хлевушок. Даже огородцы перед домишками как будто под стать им: пространством они не больше четырех-пяти квадратных саженей⁷⁸, а притом засеяны все больше одним луком да подсолнечниками.

И неприглядные места перед глазами жителей Кривули: прямо перед окнами их находится непересыхающее болото, а за этим болотом тянется на далекое пространство донельзя скудный выгон, покрытый во многих местах сыпучими песками и водороинами и заросший кое-где лозняком да жидкими раkitовыми кустами. Взглянув мельком на Кривулю со всею ее обстановкой, легко было понять, отчего барский оброк имел в селе Дедново вид прогрессивного налога.

Лев Дмитриевич Измайлов вовсе не заботился (а, может, ему и в голову не приходило) о том, чтобы сделать более производительными находившиеся в дурном положении и не приносившие выгоды ни ему, ни кре-

стьянам многие места своей великолепно расположенной дедновской дачи. Сами же крестьяне села Деднова, при существовании у них помещичьей власти, не могли и думать об улучшении отведенных им в пользование лугов и пастбищ, да вряд ли это было бы им и по средствам. С течением времени, при Измайлове, бедность большинства дедновских крестьян все увеличивалась, и оттого-то, вероятно, они раньше всех прочих измайловских крестьян начали приносить жалобы на своего помещика, а когда началось дело его с дворовыми людьми хитровщинской усадьбы, энергичнее прочих содействовали этим дворовым.

Конечно, борьба в тогдашнее время с таким помещиком, каков был генерал Измайлов, была небезопасна, а иногда и гибельна для отдельных личностей из дедновцев и очень убыточна, тревожна для всего дедновского «мира». Собственно об этой борьбе не след здесь рассказывать, ибо она входит слишком отрывочно в «дело» о генерале Измайлове и его дворе. Впрочем, для уяснения того, какие страшные последствия могли тут являться, я расскажу о памятной в особом смысле для дедновцев «экзекуции» 1857 года, причиною которой был все-таки генерал Измайлов, хотя к тому времени он уже давно лежал в могиле.

Лев Дмитриевич Измайлов умер в 1834 году. Все имение свое, кроме благоприобретенного, он завещал, помимо ближайших своих наследниц, родных сестер своих, княгини Куракиной и госпожи Приклонской, дальнему родственнику, графу Александру Дмитриевичу Толстому. Из-за наследства этого граф Толстой долго вел трудный процесс с Куракиною и Приклонскою, который, однако, окончился, по решению Государственного совета, в его пользу. Духовное завещание Измайлова было утверждено, хотя некоторые условия его, а между прочим одно, относившееся до дедновцев, были уничтожены.

Условие, касавшееся дедновцев, заключалось в следующем: Измайлов в духовном завещании выражал волю свою, чтобы, в случае смерти графа А. Д. Толстого без прямых наследников, крестьяне всего завещаемого им родового имения (в том числе, конечно, и дедновцы)



Сцена в девичьей.
С картины маслом неизвестного художника

поступили в звание свободных хлебопашцев⁷⁹, причем должны были перейти в их полную собственность все земли, к тому имению принадлежавшие. Но Государственный совет, приняв во внимание, что родовое имение Измайлова поступало все-таки в род, нашел, что завещатель не имел права стеснять волю своего наследника, почему и уничтожил вышеуказанное условие, предоставив Толстому выразиться относительно него, в случае, если у него не будет прямых наследников, т. е. детей, по своему усмотрению.

Замечательно, что дедновцы отнеслись к духовному завещанию Измайлова вполне равнодушно, как будто оно и не касалось их участи. Во все время процесса между графом Толстым и сестрами покойного помещика они не хлопотали об утверждении предоставленных им в завещании прав. Спокойно перешли они под власть нового своего помещика, спокойно и оставались под нею. И тут, по всей вероятности, влияло то обстоятельство, что дедновцам хорошо был известен характер нового помещика. В самом деле это был человек просвещенный, благородный, истинно добрый. Он жил постоянно в Москве, ничем не стеснял своих крепостных, напротив того, предоставлял довольно свободы во внутренних распорядках «миру» и много помогал тем крестьянам, которые начинали беднеть по несчастным обстоятельствам: вообще при графе Толстом дедновцы совсем отдохнули от прежнего горького житья и значительно поправились в своем состоянии.

Но, на беду, дедновцы позабыли свое благоразумное равнодушие при переходе под власть наследника генерала Измайлова.

Граф Александр Дмитриевич Толстой скончался внезапно, в августе 1856 года, без прямых наследников, т. е. без детей; после него не осталось никаких распоряжений относительно наследования имением, дошедшим к нему по завещанию от Измайлова. Родные братья покойного, графы Михаил и Павел Дмитриевичи Толстые, на основании общих законов о наследстве, предъявили права свои и вступили во владение вышеозначенным имением. Но одновременно с этим надумались дедновцы отыски-

вать свободу из крепостной зависимости, домогаясь, на основании завещания измайловского, прав свободных хлебопашцев, поселенных на собственных землях. Неизвестно, как именно образовалась у дедновцев мысль о том, чтобы начать это безнадежное, за решением Государственного совета, о духовном завещании Измайлова дело; можно, однако, предполагать, что проживающие в Петербурге дедновцы (их там находится на постоянном жительстве до двухсот душ, и при помещиках был у них в Петербурге особый староста) принимали в этом деле особенное участие; по крайней мере в таком предположении утверждает то обстоятельство, что дедновцы первоначально избрали своим поверенным крестьянина Ивана Жаркова, постоянно проживавшего в Петербурге.

Осенью 1856 года крестьяне дедновские составили приговор, которым уполномочивали Ивана Жаркова ходатайствовать по делу об отыскивании свободы из крепостной зависимости, и односелец их Василий Юсов, на основании этого приговора, совершил в Коломенском уездном суде формальную доверенность, которую, вместе с приговором, и отвез к Жаркову. Но Жарков отказался быть поверенным. Тогда дедновцы, в Петербурге проживающие, дали доверенность, совершенную в Царскосельском уездном суде, самому Юсову, человеку бойкому, бывалому, долго служившему в разных местах и должностях по кабацкой части.

В начале мая 1857 года Юсов возвратился в Дедново и тотчас съездил в Рязань, где получил из гражданский палаты⁸⁰ засвидетельствованную копию с духовного завещания генерала Измайлова. Затем Юсов отправился в Москву, где и подал в Московскую гражданскую палату прошение о том, чтобы приостановлен был ввод во владение наследников покойного графа Толстого имени Измайловского, и наконец, уже в июне месяце, он вернулся в Дедново.

А между тем, пока Юсов еще был в Москве, приезжал в село Дедново один из наследников, граф Михаил Дмитриевич Толстой. Крестьяне приняли его как настоящего своего помещика: поднесли ему хлеб-соль, а

когда он уезжал из Деднова, провожали его всем селом и до парома и даже через реку. Замечательно тоже, что, когда граф, прямо приступив к переговорам с «миром» о начатом с его стороны деле, разъяснил, почему отыскивание свободы неправильно, — никто ему не возражал, и, казалось, все поверили его разъяснениям вполне; да и не могло так не казаться, ибо со всех сторон слышны были заявления, что «мир» теперь видит свою ошибку», что «затеяно дело, как есть, пустое», что «надо бросить его тотчас же». Думаю, что нельзя сомневаться в искренности этих заявлений, ибо они не были подготовлены ничем, так как граф М. Д. Толстой приезжал в Дедново неожиданно для крестьян, да и вообще «мир» в подобных случаях лгать никак не умеет. Стало быть, можно было с основанием ожидать, что отношения между дедновцами и новыми их помещиками уладятся самым простым и мирным образом. Но вскоре одно обстоятельство сильно взволновало дедновских крестьян, и тогда-то, в первый раз, резко выразилось неповиновение их вотчинному начальству: главноуправляющий всеми имениями графов Толстых предписал бурмистру села Деднова взять Юсова и еще другого дедновского крестьянина, Николая Копылова, принимавшего тогда заметное участие в хлопотах по делу об отыскивании свободы, но потом от дела этого совсем устранившегося, и отправить их в отдаленное имение Толстых, в село Онуфриевку Полтавской губернии. Это было как раз к возвращению Юсова в Дедново.

На беду, излишняя предусмотрительность бурмистра повредила еще более делу. Опасаясь волнения крестьян, он решился распорядиться ночью (с 18 на 19 июня), и такое распоряжение произвело действительное волнение. Когда пришли брат Василия Юсова, соседи его разом спроведали об этом и, догадываясь, что в отношении «мирского» поверенного вотчинное начальство⁸¹ затеяло что-то недоброе, кинулись было к лодкам и челнам, чтобы переправиться на другую сторону Оки, где расположено главное население Деднова и где находится вотчинная контора⁸², но лодки и челны, по предварительному приказанию бурмистра, еще перед арестованием

Юсова были уведены от того берега, на котором жил Юсов. Тогда соседи юсовские возымели еще сильнейшие опасения и ударили в набат, а между тем достали где-то два челна и на них переправились на ту сторону села. Набатный звон переполошил всех в селе; народ высыпал на улицы, думая, что где-нибудь начался пожар. Но соседи Юсова растолковали, в чем дело — и тревога не уменьшилась от того, а увеличилась. Ударили в набат и в других церквях дедновских. Всё народное сборище быстро двинулось к вотчинной конторе, куда уже были доставлены Юсов и Копылов. Вид приготовленной для отправления их телеги, в которой оказались кандалы и какой-то кол, еще более взволновал народ. Стали шумно требовать от бурмистра как объяснения о причине арестования Юсова и Копылова «не в указанное время», так и немедленной выдачи их «миру». При этом двое или трое из крестьян обращались с угрозами к бурмистру. Бурмистр же, сказав наскоро народу, что «если хотят, то пускай берут себе арестантов», ускользнул в другую горницу, а оттуда выпрыгнул в огород и часа через два скрылся из села.

Между тем крестьяне не освободили, однако, Юсова и Копылова из-под ареста, да и другие соображения начали тогда представляться им. Так, явилась было мысль поверить⁸³ тотчас же «мирскую» кассу⁸⁴, хранившуюся в вотчинной конторе. Стали требовать ключи от этой кассы и конторскую печать; но староста, у которого они были, не дал их, и крестьяне не настаивали. Затем послали за священниками всех церквей, для того чтобы они засвидетельствовали от себя в особой бумаге о поступке бурмистра относительно Юсова и Копылова. Наконец, составлено было «объявление» от «мира» обо всем происшествии, которое подписали все бывшие тут же бессрочно-отпускные солдаты⁸⁵ и лишь *немногие* крестьяне. Объявление это было доставлено в становую квартиру⁸⁶ (14 верст от Деднова, в деревне Луховичах) тысяцким⁸⁷ Поповым и крестьянином Егором Брониным, который в первый еще раз тогда является на сцену по общему, «мирскому» делу.

Сначала в Рязани взглянули на вышеописанное происшествие снисходительно и просто. Губернатор Новосильцев ограничился в своих распоряжениях тем, что командировал в Дедново своего чиновника для особых поручений Казначеева, без всякого письменного предписания, приказав только на словах посмотреть, что там такое делается, и «образумить» крестьян. К счастью, чиновник, при исполнении этого поручения, не счел нужным проникнуться особенным рвением. Он начал с того, что тотчас же выпустил Юсова и Копылова из-под ареста, под которым они все время содержались; после этого ему было уже легко «образумливать» крестьян, т. е. высказать на сходке, при общем молчании, что никак не следовало им шуметь, в набат бить, а пуще всего бурмистра пугать. Затем чиновник скорехонько уехал из села.

А впрочем, с того разу народ дедновский, действительно, успокоился, так что воротившийся в село бурмистр стал преспокойно распоряжаться по-прежнему, и «мир» ни в чем ему не перечил. Казалось тогда, что из описанного происшествия больше ничего не выйдет, кроме обыкновенного следственного «дела», которое так и стаснет бесследно в уездном суде. Но вышло далеко не так. Можно полагать, что этому были две причины, на беду, одновременно действовавшие: во-первых, появление у дедновцев нового, наместо старика Юсова, поверенного, человека молодого и энергического, а, во-вторых, уездные и губернские административные распоряжения, с одной стороны, представившие самые простые действия крестьян села Деднова в виде бунта, а с другой — как бы рассчитанные, — ввиду уже распространившихся тогда повсюду слухов о готовящемся освобождении крестьян от крепостной зависимости, — именно на то, чтобы быстрым и «энергическим» подавлением бунта в селе, которое было известно не только в Рязанской губернии, но и в нескольких соседних, подавить и «беспокойное» влияние вышеупомянутых слухов.

События шли, однако, сначала самым простым ходом.

Временное отделение⁸⁸ Зарайского суда произвело следствие о происшествиях по поводу арестования дедновским бурмистром Юсова и Копылова и, озаглавив его

«делом о набатном бое в селе Деднове», представило его на рассмотрение и решение в Зарайский уездный суд. А тем временем Василий Юсов съездил опять в Петербург для хлопот об отыскиваемой свободе, но на этот раз хлопоты эти привели неприятные для него последствия: по распоряжению петербургской администрации он был арестован и впоследствии, когда уже началось дело о неповиновении дедновских крестьян помещичьей власти, был прислан арестованным, сначала в рязанский острог, а потом в зарайский. Кстати будет тут упомянуть о его товарище, Копылове: проученный арестованием в ночь с 18 на 19 июня, он совсем отказался от участия в деле о свободе, чему также содействовало, говорят, и то обстоятельство, что он в это время успел породниться с дедновским бурмистром. Осенью 1857 года человек восемь или девять из крестьян, прикосновенных к делу «о набатном бое», и в том числе Егор Бронин, были вызваны в Зарайский уездный суд, для отобрания от них отзывов — подтверждают ли они показания свои, данные временному отделению при производстве следствия, и, по допросе, немедленно отпущены домой.

Пока происходило все это самым простым, естественным, нисколько не тревожным образом, определилось окончательно значение Егора Бронина в дедновском обществе. Когда дедновцы узнали, что прежний их поверенный Юсов арестован, они тотчас выбрали наместо него Бронина и в январе месяце 1858 года составили приговор, уполномочивавший Бронина ходатайствовать по делу об отыскивании свободы. Бронин, как человек молодой (ему было тогда с небольшим тридцать лет), довольно грамотный, бывалый по промыслу на стороне, стал действовать очень смело, не ограничиваясь одной ролью поверенного по вышеозначенному делу, но сделавшись руководителем своих односельцев почти во всех общественных их делах. Так, без ведома бурмистра, он начал собирать мирские сходки, на которых мнения и советы его имели непререкаемую силу. Всему этому способствовало особенно следующее обстоятельство: Бронин где-то достал или — как сам после показывал — получил из Петербурга листок «Рязанских

губернских ведомостей», в которых было пропечатано о вызове в Рязанскую гражданскую палату наследников покойного графа Александра Дмитриевича Толстого по делу об имении, после него оставшемся; по объяснениям Бронина на крестьянских сходках, листок этот именно доказывал, что затеянное дедновцами дело о свободе еще в ходу и, стало быть, отнюдь не следует доверять объявлениям земской полиции о том, что дедновцам уже везде отказано в их домогательстве.

В половине января Бронин по «мирскому» делу съездил в Петербург и возвратился оттуда с новыми затеями. На собранном им в конце того же месяца сходе он предложил крестьянам потребовать от бурмистра объяснения: по чьей именно доверенности заведует и управляет он Дедновым? По доверенности ли покойного графа Толстого или же — одного из его братьев; вместе с тем, говорят, Бронин советовал сходу учсть бурмистра в употреблении «мирских» сумм и даже сменить его с должности. Но на этот раз требовать бурмистра к объяснениям перед сходом, учитывать его было уже не так-то легко. В селе Деднове стояла тогда на зимних квартирах рота стрелкового батальона. Проученный происшествием с «набатным боем», бурмистр надоумился прибегнуть к воинской защите. Ему удалось получить ее. Когда крестьяне, увлеченные предложениями Бронина насчет бурмистра, двинулись было к господской конторе, — они вдруг увидали, что там стоит уже довольно много солдат стрелковой роты, что солдаты и еще собираются. Крестьяне тотчас же воротились на место прежнего своего схода, а затем скоро и совсем разошлись.

На другой день после того Егор Бронин, в сопровождении нескольких крестьян, приходил к ротному командиру и просил его объяснить, по какой именно причине ходили в прошлую ночь по всему селу солдатские патрули, чем, по словам Бронина, крестьяне дедновские очень встревожены и напуганы. Но, как водится, ротный командир, вместо всякого объяснения, прогнал Бронина и его ассистентов. Действительно ли же ходили в ту ночь патрули по селу Деднову и было ли это мерой особой предосторожности, принятой для охранения

спокойствия в селе,— об этом в следственном деле нет никаких указаний.

Последняя выходка Бронина произвела роковые последствия.

Ротный командир немедленно донес по своему начальству о дерзком поступке дедновского крестьянина Егора Бронина, осмелившегося требовать от него объяснений насчет патрулей; со своей стороны, и дедновский бурмистр в «рапорте» к зарайскому исправнику Улитину изложил все вышеописанные обстоятельства и выразился в заключение: что Бронин явно старается взволновать народ в имении, что он, бурмистр, опасается, как бы не нарушился в имении порядок и как бы не взволновался народ, что для пресечения столь вредных событий он просит принять меры к удалению Бронина из имения и что власть его самого уже недостаточна для водворения спокойствия.

Исправник Улитин тотчас же предписал местному становому приставу⁸⁹ Дубенскому отправиться в село Дедново, «благоразумно и осторожно» взять Бронина и лично представить его в земский суд. Поручение это, конечно, было важно и затруднительно. Но становой пристав при исполнении его по-своему понимал меры благоразумия и осторожности, ему указанные: как видно из рапорта его исправнику, он придумал взять Бронина под тем предлогом, что он нужен для снятия с него в Зарайском уездном суде подтвердительного допроса по делу «о набатном бое». Но Бронин, разумеется, хорошо помнивший, что с него «снимали» уже в суде такой допрос, не поддавался влиянию «благоразумных и осторожных» мер станового Дубенского: он напрямик отвечал, что не поедет в Зарайск, что даже и не может ехать без разрешения общества, от которого имеет приговор, уполномочивающий его на ходатайство по «мирскому» делу.

Становой решился попытать, что скажет «мир». Он приказал собрать сход — и тут объявил крестьянам, что Бронин, их поверенный, требуется в уездный суд.

— Незачем ему туда ехать,— отвечали крестьяне.— Егор Бронин нужен нам для нашего «мирского» дела, а мы всюду занесли прошения.

Но переговоры между становым и дедновскими крестьянами тем не кончились. Крестьяне стали спрашивать: на каком основании управляет ими бурмистр. Становой объявил, что бурмистр заведует именем по доверенности одного из новых их помещиков, графа Михаила Дмитриевича Толстого.

— Нет! — возразили на это некоторые из крестьян. — У нас был граф, да умер, и теперь мы ищем свободы — и будем ждать, чем кончится дело.

Становой пристав в донесении своем исправнику подробно описал все вышеизложенное; а в заключении донесения добавил, что «при таком направлении крестьян села Деднова и при явном упорстве Бронина взять его невозможно».

Немедленно уездная администрация приступила к дальнейшим своим мерам.

Исправник предложил земскому суду составить временное отделение. Оно отправилось в Дедново в составе трех членов: самого исправника Улитина, станового пристава Дубенского и уездного стряпчего Алякринского.

Сначала действия временного отделения были довольно успешны. По вызову через сотского⁹⁰ Бронин тотчас же явился в квартиру чиновников. Тут ему опять сказали, что он должен отправиться в Зарайск для снятия с него в уездном суде подтвердительного допроса по делу «о набатном бое». Но Бронин отвечал, как и пристава Дубенскому, и наотрез отказался ехать. Исправник приказал посадить его под арест. Никто не препятствовал этому распоряжению, сам Бронин тоже не ослушался, и сотские упрятали его в арестантскую.

Но вскоре после того к квартире временного отделения собралась толпа человек в триста. Стоя все время на морозе без шапок, крестьяне неотступно просили выходящих к ним то вместе, то поодиночке чиновников — отпустить им поверенного их Бронина. Просьбы эти были выражаемы в самом смиренном духе. Не раз вся толпа становилась на колени. Продолжая все умолять об отпуске Бронина, крестьяне поговаривали тоже, что если Бронин нужен не по ихнему «мирскому» делу, то пускай возьмут его, в противном случае пусть за-

бирают с ним вместе и их всех, так как дело у них — общее, «мирское».

Так прошло несколько часов. Ввиду настойчивых просьб крестьян, ввиду и понадвинувшейся ночи, вместе с которою, по всей вероятности, разыгрались у чиновников разные страхи, становой пристав и уездный стряпчий отпустили Бронина из-под ареста.

Впрочем, все тогдашние происшествия в журнале временного отделения записаны не совсем так. Журнал этот рассказывает, что когда Бронин решительно отказался ехать в Зарайск, велено было сотскому взять его и везти в город, а как только сотский вышел с Брониным на улицу, «не прошло и десяти минут,— собралась толпа человек в пятьсот, кричавшая с азартом, что не дадут взять Бронина и никого другого, и вообще не слушавшая никаких убеждений». Странно, что «журнал» вовсе не упоминает: ни об аресте Бронина, ни о том, при каких условиях дедновские крестьяне допускали отправление своего поверенного в город, ни об отпуске Бронина из-под ареста по распоряжению станового и стряпчего. Но как видно, по мысли членов временного отделения, особенная сила «журнала» должна была заключаться не столько в верной передаче событий, сколько в выводах из них. Выводы эти изложены в таких выражениях: «Крестьяне села Деднова решительно не признают, что принадлежат помещику, ожесточенно вооружены против бурмистра и увлечены мыслию, что им никакая власть ничего сделать не может, что они могут делать все, что хотят, и что если они и удерживаются еще от решительного бунта, то собственно из-за боязни роты стрелкового батальона, находящейся на постое». Далее выписаны десять имен и фамилий крестьян, которые, по мнению членов временного отделения, для водворения спокойствия в имении должны быть немедленно и примерно наказаны, при обществе крестьян, и удалены из имения до тех пор, пока не восстановится прочное повиновение власти помещика и тем более местной полиции. Окончательный вывод «журнала» такой: «Как против такого упорства крестьян во взятии Бронина и настроения их мыслей к бунту меры земской полиции уже не

действительны, то... донести о сем от лица исправника, с нарочным, господину начальнику губернии».

«Журнал» зарайского временного отделения о делах дедновских был написан хоть и малограмотно, но *сильно*. Он произвел действие, на которое, может быть, и рассчитывали.

Как только получено было в Рязани донесение зарайского исправника, в котором, конечно, были повторены все произвольные заключения о направлении умов дедновских крестьян и о положении дел в селе Деднове, губернатор Новосильцев немедленно же распорядился: в первых числах февраля 1858 года весь стрелковый батальон, расположенный в городе Зарайске и в Зарайском уезде, был двинут в село Дедново*. 8 февраля явился туда губернатор с большою чиновничьей свитой. Уж не знаю, говорилось ли тогда что-либо в увещание и вразумление дедновских крестьян, но мне известны другие существенные факты «экзекуции»: наказано было, по указаниям бурмистра и членов земской полиции, всего двадцать шесть человек, и наказание было таково, что действительно возбудило чувство ужаса и в дедновских и во всех окрестных селениях, и везде, где было слышно о наказании... Да и было от чего ужасаться: с лишком через два месяца после наказания спины десятирех наказанных крестьян, сидевших тогда в зарайском остроге, все еще болели,— я сам это видел; мало этого,— один из наказанных, Степан Свирин, бывший церковный староста⁹¹, старик, которому было уже от роду шестьдесят девять лет, притом человек весьма уважаемый в селе за свое благочестие, честность и чистоту жизни, был так высечен, что, говорят, когда, после наказания, отправили его в Зарайск для посажения в острог, он скончался на дороге, не доезжая до города... Говорят также, что и в то, еще крепко глухое, время горожане зарайские толпами провожали к могиле гроб этого покойника...

* Слышно было однако, что предварительно «экзекуции» губернское начальство поручало уговаривать дедновских крестьян зарайскому уездному предводителю дворянства Повалишину; но ездил ли он в Дедново и что там произошло при Повалишине — об этом нет у меня в виду никаких указаний.



Помещик на прогулке у табуна лошадей.
С картины маслом неизвестного художника

А Егора Бронина судьба предохранила от «экзекуции»: тотчас же после отъезда из Деднова временного отделения он отправился для подачи какого-то нового прошения в Петербург, где и был, к счастью его, задержан.

На Руси у нас много-таки бывало историй крестьянских бунтов; почти все они оканчивались, как в селе Деднове, «экзекуциями», которые довольно сходны между собой во всем; но, конечно, история о возникновении дедновского «бунта», сочиненная как раз к тому времени, когда должны были стать навсегда невозможными подобные истории, истинно характеристична. Впрочем, — слава богу! — Я привожу здесь эту историю как простой исторический факт, а не как назидательный, для кого следует, пример того именно, с какой осторожностью

надлежит относиться к донесениям о крестьянских бунтах...

Но я уже слишком долго рассказывал о селе Деднове. Пора перейти к истории о моем герое, генерале Измайлове.

Большой доход приносило ему тульское его имение, село Богоявленское, Хитровщина тож. Оно и окрестные принадлежавшие Измайлову деревни состояли на барщине. В Хитровщине и в этих деревнях земли было много, и земля тамошняя хорошего качества. При обязательном труде, существовавшем тогда во всей его силе, имение это и должно было приносить большой доход. Впрочем, о доходе я не имею точных сведений. В этом отношении неизвестно мне ничего и о прочих, тоже довольно больших, измайловских имениях: Михайловском и Московском.

Вообще генерал Измайлов, как я слышал, получал ежегодно чистого дохода со всех своих имений до трехсот тысяч рублей ассигнациями, что для тогдашнего времени представляло цифру весьма значительную. Но он мог бы получать и гораздо более, если б хозяйство его велось с бóльшим порядком да если бы пускалось в продажу все то, что уходило на содержание огромной дворни, псовой охоты и лошадей, как езжалых, так и находившихся в особом конском заводе.

Дальше, при рассказе о домашнем житье-бытье Измайлова, я познакомлю читателей и с положением его обширного хозяйства.

V

По возвращении в начале 1815 года из-за границы общественная деятельность Льва Дмитриевича Измайлова совсем прекращается. Рязанское ополчение было распущено, и начальник его, Измайлов, вышел в отставку из военной службы.

Но через несколько месяцев после того он отказался и от звания губернского предводителя дворянства. На последовавших за распусчением ополчения дворянских выборах в Рязанской губернии, с самого начала их, он

встретил оппозицию в лице трех братьев Елагиных, которые из-за чего-то смело ораторствовали против него. Измайлов чрезвычайно оскорбился, как потому, что дотоле никогда еще не встречал себе противодействия на выборах, на которых и распоряжался обыкновенно как полновластный барин, так и потому, что дворяне слушали речи Елагиных с некоторым вниманием, по крайней мере не прерывали их шумом и ревом в знак своего неудовольствия. Очень сожалею, что не удалось мне собрать сведений об этой оппозиции Елагиных, заслуживающей внимания уже потому, что из-за нее собственно отказался Измайлов от звания, дававшего ему столь большое значение в среде дворянства.

Оставшись частным человеком, помещиком, не более, герой мой в течение некоторого времени вел довольно непоседную жизнь; летом он разъезжал по своим имениям, часто притом посещая губернские города: Рязань, Тулу, Тамбов,— и непременно каждый год бывая на Липецких водах⁹² и на Лебедянских ярмарках⁹³; зимой же проживал в Москве, где у него, как и у всех почти крупных тогдашних помещиков, был собственный дом.

С переменой деятельности характер Измайлова не изменился. Так же страстно жаждал он шумных и разгульных удовольствий. Ради них именно любил он посещать Лебедянские ярмарки, тогда знаменитые по торговле лошадьми, для покупки и продажи которых стекались в Лебедянь ремонтёры⁹⁴ кавалерийских полков и помещики Тамбовской и соседних губерний, почти все считавшие обязанностью играть здесь бешено в карты, пьянствовать, кутить и буянствовать напропалую.

И недаром любил Измайлов Лебедянские ярмарки: тут он мог выказать во всей красе, перед многими достойными зрителями, свою бестолковую помещичью роскошь, свое крайне разнузданное самодурство.

Одна старушка, с детства воспитывавшаяся в доме моего героя, рассказала мне следующий пример его произвольничания в Лебедяни.

Раз он несколько опоздал на осеннюю Лебедянскую ярмарку и приехал уже тогда, как все гостиницы и постоялые дворы были битком набиты приезжими и оты-

скать сколько-нибудь просторное помещение, особенно же для генерала Измайлова, приезжавшего всегда с огромной свитой, не было никакой возможности. Но Измайлов по-своему распорядился. Он приказал своим «казакам», псарям, конюхам и прочему бывшему с ним люду немедленно очистить от хозяев и постояльцев, буде таковые окажутся, первый приглянувшийся ему купеческий дом, что и было исполнено, несмотря на просьбы и возражения домовладельца. Поместившись в этом завоеванном доме, как в своем собственном, герой мой прожил в нем все время ярмарки. Впрочем, он щедро, хотя и по своему усмотрению, расплатился с домовладельцем, который и не подумал жаловаться на то, что так невзначай был выгнан из собственного дома, причем и пожитки его были выброшены из обеих этажей прямо на улицу.

Но нельзя же весь свой век весело жить, какие бы ни были средства на это. Стала одолевать понемногу Измайлова «благородная болезнь» — безотвязная подагра⁹⁵, да и старость-таки подходила. Тогда засел он дома, наслаждаясь деревенскою, по-своему устроенною жизнью, и только по зимам перебирался в Москву; прочее же время года он проводил обыкновенно в селе Хитровщине, Епифанского уезда.

Преклонные годы и хроническая болезнь, однако, не совсем уняли его. Характер его сделался жестче, прихоти избалованной воли стали чаще и сильнее, а в отношении приближенных к нему людей они тем тяжелее были, что круг их влияния ограничивался уже одним только домашним бытом. Вообще в отношении этих людей, как крепостных, так и не крепостных, он стал гораздо хуже, чем был до войны 1812 года. На то была, конечно, причина. После широкой своей деятельности очутившись просто частным человеком, без всякого непосредственного влияния на общественные дела, да еще будучи присужден болезнью жить по большей части в деревне, он скучал чрезвычайно и всячески старался разнообразить свой домашний быт, развлечь чем-нибудь свою хандру (для этого, например, он приказывал иногда ночью бить в набат на колокольне своей сельской церк-

ви, чтобы сбегался народ из окольных деревень, «чтобы вокруг было людей побольше»); а тут привычка его командовать многими людьми, командовать, как тогда вообще командовали, должна была неминуемо отзываться тяжкими последствиями на всех, кто имел несчастье находиться близко к нему...

Просмотренное мною «дело» дает мне возможность восстановить, в достаточной ясности, почти все черты домашней жизни генерала Измайлова, с возвращения его из заграничного похода и вплоть до 1827 года, когда началось упомянутое дело.

VI

С 1820 и по 1827 год главная резиденция генерала Измайлова находилась в тульском его имении, в селе Хитровщине. В недалеком расстоянии от этого большого селения были расположены и другие его имения, состоявшие в Епифанском и Михайловском уездах. Село Хитровщина было так раз в центре их.

Я не был в Хитровщине и не могу описать ни характера тамошней местности, ни положения, в каком были и теперь находятся тамошние крестьянские усадьбы. Надо думать, впрочем, что не красота местоположения и не особенные даже удобства,— кроме самого последнего, о котором я ниже скажу,— заставляли Измайлова проживать более в Хитровщине: ибо, судя по характеру местности Михайловского уезда, от границы которого, как сказывали мне, это селение находится недалеко, тут должны быть все гладкие, ровные поля, и нет ни круто-берегих больших рек, ни живописных гор и холмов, ни старых густых лесов. Конечно, село Дедново, расположенное своим обширным поселением по обоим берегам многоводной Оки, и даже сельцо Горки, в полуверсте от Перевицкой горы, построенное на высоком, обрывистом берегу Оки же*, больше могли бы удовлетворить

* На Перевицкой горе, там, где теперь находится село Перевицк и сельцо Горки, существовал некогда старый город Рязанского великого княжества, Перевитеск. Предание говорит, что при Петре I как-то подплыли тут к берегу большие казенные барки, а с них сошли сол-

эстетическим вкусам Измайлова, если бы такие вкусы у него были, больше могли бы представлять удобства для деревенской его жизни. Но, как я уже говорил, он не любил Деднова, за постоянно высказываемый дедновцами дух некоторой независимости. А главное — Хитровщина состояла исстари на барщине, барщинские же крестьяне, как известно, были всегда более тихого, покорного свойства, чем оброчные, особенно же оброчные из больших селений, откуда обыкновенно большинство рабочего населения уходит для промыслов «на сторону». И вот

даты, которые забрали всех жителей города, со всеми их пожитками, и затем перевезли их в г. Свияжск Казанской губернии. Как бы там ни было, а село Перевицк нисколько не напоминает города Перевитеска: в недавнее еще время в нем было только до шестидесяти душ ревизского населения⁹⁶; впрочем, в нем жило несколько постороннего люду: то были дворники⁹⁷, содержавшие здесь постоялые дворы, до проложения железной дороги от Москвы до Рязани и далее, когда еще на Перевицкую гору направлялась часть обозов, шедших со «степных мест» в Москву.

С 1827 года по самую смерть свою генерал Измайлов жил в своей горецкой усадьбе уже совершенно безвыездно, благодаря тому, что дело его с дворовыми людьми хитровщинской усадьбы приняло тогда дурной для него оборот, а также и потому, что подагра и хирагра⁹⁸ совсем его одолели.

В детство мое я проезжал часто мимо горецкой усадьбы, когда еще проживал в ней Измайлов. Она была не очень обширна. Сначала показывались дворики дворовых людей, недурно и однообразно выстроенные, — их было до двадцати. Рядом с ними находился просторный господский двор, с боков обставленный неказистыми деревянными постройками и «службами»⁹⁹, а с задней стороны примыкавший к старому саду, замкнутый двухэтажным деревянным же домом. Дом этот был мрачен и неуклюж. Помню: нелепо высывались на середину темно-серого здания балкон и под ним подъездное крыльцо с низенькими колонками и еще навесцем, которые и представляли словно горб какой-то. Несоразмерно малые окна мрачно и неприветливо глядели на двор и на дорогу, идущую мимо самых ворот, — и замечательно: ни одно из этих окон я не видал открытым, хотя обыкновенно проезжал мимо измайловской усадьбы в летнюю, жаркую пору. Темно-красная крыша как-то неуклюже высывалась над домом, неладно свешиваясь концами своими с боков здания.

Мимо этой мрачной усадьбы кучер наш Петр Леонтьев проезжал, бывало, во всю прыть, беспрестанно оглядываясь, словно опасаясь погони.

почему, по всей вероятности, Измайлов выбрал своею постоянной резиденцией именно село Хитровщину.

Там была у него обширная господская усадьба: барский каменный дом, сельскохозяйственные, промышленные и другие разные заведения и постройки, много изб и избышек, в которых помещались дворовые люди. 23 октября 1827 года тульский гражданский губернатор фон Трейблут и губернский предводитель тульского дворянства Мансуров, при исследовании, по высочайшему повелению, поступков генерала Измайлова с дворовыми его людьми, сделали подробный осмотр хитровщинской усадьбы и нашли ее в таком положении.

Барский каменный дом (из которого незадолго до того выехал помещик), да и все вообще усадебные строения — в чрезвычайном запущении: «Наружная штукатурка дома во многих местах обвалилась». «Некоторые комнаты в нем отделаны чисто, но другие в крайнем небрежении и нечистоте»; особенно же прихожая, «в которой все стены, покуда рост человеческий досягать может, опачканы нечистотою, так что невозможно узнать, какого были они некогда цвета».

По обе стороны дома находились два каменных флигеля. В первом, имевшем особый выход, помещались канцелярия и *арестантская*; во втором содержались горничные девушки, комнаты которых с вставленными в окна решетками имели сообщение с двором только через внутренние комнаты господского дома; в особом отделении второго флигеля находились комнаты и для приезжавших к генералу гостей. Оба флигеля были не оштукатурены и «как внутри, так и снаружи представляли крайнюю небрежность и нечистоту». Упомянутая выше арестантская, которую измайловские дворовые люди называли в показаниях своих черною и казенною, произвела на губернатора и губернского предводителя впечатление «ужаса и отвращения», — даже одним видом своим, несмотря на то, что из нее уже были убраны, по распоряжению еще самого Измайлова, те особые ее принадлежности, о мрачном значении которых я расскажу дальше. Арестантская была содержана «крайне нечисто» и имела пространства, за исключением печи,

только пятьдесят семь квадратных аршин¹⁰⁰, а тут нередко помещалось до тридцати человек домашних арестантов, из дворовых людей и крестьян, в числе которых бывали и женщины. Окно арестантской заложено было железной решеткой; в стенах были вделаны цепи.

Дальше в усадьбе шли кухня и прочие хозяйственные, все же каменные, строения, «еще более запущенные, запачканные; внутренняя нечистота их совершенно соответствует их наружному отвратительному виду».

Затем шли: лазарет, богадельня¹⁰¹, суконная фабрика, поташный¹⁰², кирпичный, конский и овчарный заводы, псарный двор и избы дворовых людей.

Лазарет — каменное, неоштукатуренное строение, с двумя рядами больших комнат; в середине — широкий темный коридор, «в котором от недостатка свободного сообщения с свежим воздухом постоянно гнезился неприятный, тяжелый запах». Все это здание было запущено, как внутри, так и снаружи; мебель в нем была ветхая и худая. (Здесь-то по выезде Измайлова в конце июля 1827 года из хитровщинской усадьбы содержались арестанты, дворовые люди, «прикосновенные» к делу о составленном будто бы против Измайлова заговоре.) Аптека при лазарете была запечатана, вероятно, потому, что домашние измайловские доктор и провизор переехали тогда, вместе с помещиком, в горецкую усадьбу; и хотя к ней приставлен был какой-то фельдшер, однако он никого и ничем «не пользовал». Несмотря на это, в лазарет, ставший уже настоящей тюрьмой, все-таки присылались дворовые и крестьяне, те именно, которые, под предлогом болезни или по действительной болезни, отказывались работать на барщине. Из последнего обстоятельства, т. е. что люди посылались сюда как бы для испытания, а может быть, и в наказание за отказ от барщинской работы, открывается, что хитровщинский лазарет был учрежден не столько для человеколюбивых, сколько для барско-административных целей.

Богадельню называлась «крестьянская, полусгнившая хижина», имевшая внутреннего пространства, за исключением печи, шестьдесят три квадратных аршина. Тут помещались тридцать четыре женщины. «Ужасно

заглянуть в сие жилище нищеты и бедствия,— сказано в «акте» осмотра следователями хитровщинской усадьбы: стены и потолок покрыты сажею, а несчастные обитательницы — рубищами и лохмотьями. Каждая женщина имеет — за исключением необходимого прохода — не более одного квадратного аршина для помещения. А на содержание пищею выдается каждой по одному пуду ржаной муки на месяц. И за сие обязаны они прясть господскую пеньку. Сюда отсылаются также, за наказание, и другие женщины, которые и употребляются в разные работы. В другой хижине на дворе, тоже на пространстве двадцати пяти с половиною квадратных аршин, помещаются шестеро мужчин и двенадцать женщин». Дальше, из того именно, как и кто попадал в эти «богадельни», будет видно, что они были постоянно не благотворительными учреждениями, а настоящими тюрьмами, содержание в которых было особенно тяжело и по крайней темноте помещения, и потому, как они отапливались и освещались, ибо не даром же стены и потолок в них были покрыты сажею, и, наконец, потому, что на пропитание «несчастных обитательниц» отпускалась одна только ржаная мука*, а одеждою, при всем том, служило им лохмотное рубище. Если же принять еще в соображение, что в эти богадельни попадали преимущественно или захиревшие в своем тереме при господском доме, или надоевшие барину, или же провинившиеся перед ним бывшие его наложницы, женщины, несколько избалованные содержанием во время своего «фавору», — легко себе представить, как невыносимо тяжело было этим несчастным коротать свою горькую жизнь в ужасных жилищах «нищеты и бедствия».

Суконная фабрика помещалась в старом деревянном строении, «сквозь стены которого свободно проходил ветер». И здесь замечалось то же, что было повсюду в хитровщинской усадьбе: чрезвычайная теснота, запущенность и нечистота. На суконной фабрике работали

* Пуд ржаной муки может дать хлеба с лишком пятьдесят фунтов¹⁰³; стало быть, на каждую «обитательницу» измайловской богадельни приходилось и день хлеба менее двух фунтов¹⁰⁴, да и то без малейшего к тому приварка¹⁰⁵.

дворовые женщины и девушки, попадавшие в эту работу по большей части все за *наказание*. На простых ручных прялках пряли они шерсть шпанскую¹⁰⁶ и от смешанных пород и сукна тоже ткали, которые для валянья, окраски и вообще отделки отсылались на московские фабрики. Любопытно было бы знать, какой именно доход получал генерал Измайлов от своей суконной фабрики, служившей тоже для целей карательных; но, к сожалению, следователи не нашли нужным собрать об этом сведений.

На поташном заводе вываривали поташ «только для домашнего употребления, и то в небольшом размере». В акте об осмотре хитровщинской усадьбы предполагается, и многие факты следственного дела о поступках Измайлова подтверждают такое предположение, что завод этот существовал единственно «в наказание» дворовым людям. Поташный завод запущен был донельзя. «Здесь, — говорится в «акте», — больше, чем где-нибудь, видно небрежение; потолок обрушился, вся посуда — в весьма худом состоянии».

На кирпичном заводе тоже резко замечались «небрежение и разрушение». Кирпич с этого завода не имел сбыта куда-нибудь на сторону, он употреблялся только в усадебном хозяйстве Измайлова. Но работа на кирпичном заводе происходила постоянно, и она обуславливалась, как должно предполагать по многим фактам измайловского дела, опять-таки особенными помещичьими соображениями: Измайлову надобилось излишнее место для наказания дворовых людей — и кирпичный завод удовлетворял этой надобности.

Конский завод состоял, собственно, в Зарайском уезде; но на зиму перегоняли его весьма часто в хитровщинскую усадьбу; и — кстати сказать — перегоны эти сопровождались иногда крупными происшествиями: так, однажды сгорело с лишком двести лошадей на постоялом дворе в селе Поливанове Михайловского завода. Всех лошадей в Измайловском конском заводе было более тысячи голов; и странно: ни одна лошадь не пускалась в продажу. Само собою разумеется, что при таком способе пользования конским заводом с лишком в тысячу голов убытки от него были огромные. Следователи

сразу заметили эти убытки; но сам барин, как видно, отнюдь не замечал. И немудрено: крепостное право самым фальшивым образом скрывало от него, что́ стоит ему этот конский завод. При заводе, сколько угодно барину, было конюхов и служителей; для заводских лошадей даром доставлялось сено с великолепных дедновских лугов; солома на подстилку, овес на корм тоже были непокупные; как же тут было сосчитать — чего стоит в действительности содержание столь огромного, не приносящего ровно никакого дохода завода. А между тем много горя доставлял завод этот дедновским крестьянам: по недостатку сенокосов в епифанских и михайловских деревнях Измайлова, дедновцы, даром что состояли они на оброке, обязаны были возить в село Хитровщину барское сено с дедновских лугов, отвечая притом за растрату его по весу по время пути (с лишком полтора верст) своим собственным сеном. Общий характер хозяйства Измайловского отражался на конском заводе: во время осмотра его последними следователями «стоявшие на конюшне жеребцы были завалены, снутри и снаружи, нечистотою».

При хитровщинской господской усадьбе находилось тоже до пятисот голов очень хорошего рогатого скота, холмогорской и английской пород, но «по недостатку в Хитровщине выгонов скот этот был всегда тощ и держался только для домашнего обихода».

В овчарном заводе было до пяти тысяч овец, в том числе триста баранов чистой породы. «По недостатку хорошего присмотра, — говорится в акте об осмотре измайловской усадьбы, — овчарный завод не приносит той пользы, какую можно было бы от него ожидать. Весьма много овец смешанных. Шерсти продается ежегодно: чистой, шпанской, от тридцати пяти до пятидесяти пудов, и от смешанных пород — от семидесяти до ста пудов; первая по сто, а последняя по шестидесяти рублей (ассигнациями) за пуд, — оттого, что моется без мыла и не имеет надлежащей чистоты».

Стало быть, все хозяйство генерала Измайлова, заведенное на весьма широкую руку, шло чрезвычайно худо.

А между тем странное дело: Измайлов наблюдал тут за всем постоянно и большею частью лично. Из показаний приближенных к нему дворовых и из других фактов, занесенных в следственное дело, видно, что без приказания самого Измайлова в помещичьем его хозяйстве ничего не делалось. Недаром же он говорил, что он у себя — «сам и приказчик, сам и рассыльщик». Вообще при наблюдении за ходом хозяйственных дел дома, в усадьбах, по сельским барщинным работам он всегда выказывал большую деятельность и распорядительность. Несмотря на болезненное свое положение от докучной, все усиливавшейся подагры, почти каждодневно и во всякую погоду он осматривал сельскохозяйственные и разные домашние свои заведения; хозяйский его глаз был на все обращен: он наблюдал лично и за пахотою, и за покосом, и за уборкою хлебов, и за молотьбою, и за положением скирдов на гумнах, и даже за состоянием проселочных дорог, соединявших его имения. Но из всей этой деятельности и распорядительности ничего путного не выходило — и тут, главнейше, уже не Измайлов был виноват.

Безгранично властвовал он в домашнем и хозяйственном своем быту. Опираясь во всю силу своего энергического характера на крепостное право, с ранних лет его воспитавшее и баловавшее, а притом дававшее ему такой простор для произвольничания, он не встречал ни в чем противоречия своим прихотям и потехам; но он встретил полное себе противодействие в более серьезном, чем прихоти и потехи, деле, именно в том деле, в котором, казалось бы, всего менее он должен был его встретить. В хозяйстве-то его и шло все не так, как он желал и добивался всячески. Несмотря на его личное, постоянное наблюдение, на жестокие наказания заслушания его приказаний, все его обманывали, обкрадывали, все делали не по его воле, а по своей собственной, постоянно направленной не в пользу ему. Крепостное-то право и нарушало его интересы во всем и повсюду.

Кстати будет привести здесь отрывки из некоторых «приказов» Измайлова, посланных из Москвы в Хитровщину к бурмистру Овсянкину и главному писарю



Развлечения помещиков.
С акварели неизвестного художника

Краснухину. Приказы эти замечательны. Не очень-то грамотны они, не говоря уже о логичности их изложения; зато в них много выразительных черт, обрисовывающих отношения моего героя и к хозяйству его, и к исполнителям его приказаний.

«Ты пишешь,— говорится в одном приказе к бурмистру Овсянкину,— что муки крупчатой¹⁰⁷ недостает. Оставлено было десять пудов; по контракту — что следует садовнику и провизору; из того числа остается семь пудов для доктора: нельзя, чтобы для доктора вся эта вышла, а это раскрали,— и потому, за несмотрение твое, ты должен купить. Не забудь: со *второго* августа сеют рожь; если не будет в свое время посеяно,— я посею на тебе. Для дрожек и бричек совсем не нужен тес, а вели напилить из осины или березы тоненьких досок. Неужели до вас не дошли слухи, что всех мошенников велено ссылать в Сибирь.— Объяви мастерам, чтоб они были осторожны и не плутовали бы, а то... Тебе приказано от меня, чтоб у мельницы дворцы¹⁰⁸ были сделаны из кирпича, а потом их обшить досками дубовыми, а ты ничего не делаешь; а потому знай: приезд мой для тебя будет неприятен. Неужели липовый цвет позабыл собрать. Там лип достаточно в зверинце. В Али-Гиреевой комнате прикажи переделать печь, чтобы была из изразцов, с оборотами; изразцы взять от покупки для докторских печей. В оранжереях, сколько есть розанов в горшках, все прислать в Горки...»

«Смотреть тебе и Овсянкину,— пишет Измайлов в другом приказе к главному писарю хитровщинской вотчинской конторы Семену Краснухину,— за всем неусыпно. Слушеву прикажи, чтоб сено не воровали; это все на нем взыщется. А Овсянкин чтобы ездил по сельцам и смотрел бы за всем и старостам подтверждал бы, что они за все будут отвечать. Что же касается до лугов, что скосили на конюшню, я этого не понимаю, как можно так сделать! это не иначе — какие-нибудь плутни...»

«Доктору четыре курицы дать,— говорится в третьем приказе на имя бурмистра Овсянкина,— карасей в львовском пруду наловить и доктору отпускать, также теленка для него отпустить, попою несколько...»

Итак, повторяю,— распоряжения крупного помещика Измайлова касались всего, доходили до мельчайших подробностей хозяйственного его быта, и несмотря на это, в хозяйстве его все не спорилось. Он угрожал беспрестанно, взыскивал строго, наказывал беспощадно, а тем не менее его обкрадывали и обманывали на каждом шагу, приказания его не исполнялись постоянно. Конечно, от всего этого всякое дело хозяйственное шло из рук вон плохо: повсюду были заметны крайняя небрежность, крайняя запущенность, крайний беспорядок. Да и сам Измайлов, этот внимательный и строгий хозяин, сбивался тут с толку беспрерывно. Неточное и небрежное исполнение его приказаний, воровство и обманы не ускользали от его проницательности, но исправлять дурные последствия от всего этого, не допускать их на будущее время он решительно не умел; он отыскивал тут только поводы для новых истязаний провинившихся перед ним людей, система же всего хозяйства, всех распоряжений, всех отношений его, как помещика, к крепостным его людям ни в чем не изменялась, и вокруг него даже оставались все те же люди, которых он излавливал в беспрерывных провинностях. И выходила из всего этого страшнейшая безурядица, но безурядица, к несчастью, такого свойства, что от нее страдало слишком много людей...

Зато псовая охота измайловская была в великолепном положении, и герой мой, по справедливости, мог гордиться ею. В акте осмотра хитровщинской городской усадьбы хорошо описана и тамошняя псарня.

На псарне этой находилось 673 собаки разных пород*. «Они жили,— говорится в акте,— в хороших домах. Для каждой [собаки] было сделано особое гнездо, которое набивалось всегда свежей соломой. На корм этим собакам выходило ежедневно более *тысячи шестисот четвертей овса*».

К псовой охоте Измайлова было приставлено в Хитровщине с лишком сорок человек собственных его кре-

* Не надо забывать, что, кроме хитровщинской псарни, собаки были и при других измайловских усадьбах; так, при горецкой усадьбе, как мне рассказывали, всегда было до трехсот собак.

постных, а также и вольных людей по найму (тридцать девять псарей,— из них трое наемных,— да шестеро наварщиков¹⁰⁹ и щенятников).

Недешево стоила Измайлову любимая его забава: кроме тысячи шестисот четвертей овса, которые шли на прокорм собак, он тратил ежегодно до десяти тысяч рублей ассигнациями только на жалованье своим и наемным псарям, да на особые награды им за удачные травли. Прибавьте тоже к этому немалые расходы на ремонт зданий, где помещались собаки, на оборудование и содержание людей, состоящих при охоте, на содержание лошадей под псарями и стремянными, на продовольствие и угощение всегда приглашаемых к «отъезжим полям»¹¹⁰ помещиков, соседей и не соседей, с их охотами и псарями,— и выйдет, что статья расхода на псовую охоту занимала в годовом бюджете генерала Измайлова очень видное место.

Он так любил собак, что ценил их гораздо выше людей. На это есть в следственном деле два замечательные указания.

Раз небогатому помещику Шебякину променял он на четыре борзые собаки четверых дворовых своих людей, и таких еще, которые в глазах его самого должны же были иметь немалую ценность, а именно: камердинера, повара, кучера и конюха. Кстати, случай этот был задолго до начатия дела о заговоре дворовых людей хитровщинской усадьбы против их помещика и о поступках его самого с ними; но он сильно врезался в память измайловских дворовых: многие из них, и не однажды, рассказывали всем вообще следователям, как променял Измайлов четверых дворовых на четырех собак,— так поразило их презрительное помещичье отношение к человеческой личности. Другой случай, указывающий на чрезмерную любовь Измайлова к собакам, тоже замечателен: однажды во время обеда, когда камердинер Николай Птицын из своих рук кормил барина, начинавшего уже страдать и хирагрою, он вдруг спросил Птицына и тут же прислуживающего мальчика Льва Хорошевского*: «А кто лучше: собака или человек?» — Птицын

* Побочный сын Измайлова, никогда им не признанный.

отвечал, что как же, дескать, можно сравнивать человека с собакой, с бессловесным, неразумным животным; мальчик же, всегда чрезвычайно боявшийся своего барина и совсем растерявшийся от его вопроса, пролепетал, что собака лучше человека. И за это Измайлов подарил мальчику рубль серебряный, а камердинеру Птицыну проткнул было вилкой руку.

Страстную любовь Измайлова к псовой охоте должно объяснять не тем только, что охота была тогда в общем ходу у помещиков, крупных и мелких, но тем особенно, что она наполняла скучную деревенскую его жизнь столь необходимыми для него шумными и раздольными впечатлениями, вроде впечатлений широкой боевой его деятельности: на просторном поле, перерезанном кое-где оврагами, притонами хитрых, увертливых лисиц, у опушки рощ и лесов гомозится сильно за «исто барским, веселым делом», как выражался о нем мой герой, под главным распоряжением самого барина, разнообразный люд, всегда составлявший в таких случаях его многочисленную свиту: свои псары, доезжачие¹¹¹, стремянные¹¹², конюхи, казаки, приживальцы, да и помещики тоже разных сортов, соседи и не соседи, богатые и бедные, с их псарями и собаками; заливаются в «островах»¹¹³ звонким, частым лаем гончие, выгоняя зверя на широкий простор поля; мечутся за добычей в разные стороны борзые; а псары, доезжачие, казаки, приживальцы, гости-помещики порскают¹¹⁴, атукают¹¹⁵, трубят в рога, скачут, сломя голову... Да! Все это должно было доставлять истинное наслаждение Измайлову, должно было вполне удовлетворить его задорному, неугомонному нраву. Тут исчезали границы его владений «отъезжим полем», [тут], где он один командовал, бывала [и] его собственная и чужая земля; тут он распоряжался полновластно всем движением разнохарактерной толпы, состоявшей уже не из одних его крепостных, тут он чувствовал себя больше чем помещиком, тут он казнил и жаловал...

Жестокое припадки подагры и хирагры не отвлекали его от псовой охоты, от «веселого дела», он выезжал в «отъезжее поле» даже тогда, как лишился употребления рук и ног; даже и в то время, когда было и небезопасно

ему выезжать из дому, по причине тяготевшего над ним высочайшего повеления о высылке его из имения (из горецкой усадьбы), от чего он отделялся только под предлогом болезни, от которой будто бы он недвижимо лежит в постели,— он все-таки занимался «веселым делом», хотя уже и не часто и не по-прежнему, ибо уже не осмеливался карать беспощадно за неудачные угонки, за упуск зверя. Один из рязанских дворян, помещик села Негоможи, находящегося от горецкой усадьбы в расстоянии семи-восьми верст, Иван Арсеньевич Чаплыгин, в детстве своем однажды видевший измайловскую охоту, так рассказывал мне про этот случай:

«В пасмурный, но не дождливый день, под конец лета, я с братом моим и гувернером гуляли в поле, довольно далеко от нашей усадьбы. Вдруг видим: едет навстречу нам большая толпа охотников в нарядных кафтанах. На сворах¹¹⁶ у них было множество гончих и борзых собак. За толпой этой тянулся целый ряд линейек¹¹⁷ тройками, а на одной линейке, особенно длинной, лежал человек, весь закутанный, под голову которого, чтобы лучше ему было смотреть на поле, высоко подложены были подушки. То был Лев Дмитриевич Измайлов, сосед наш, не очень близкий, живший от Негоможи верстах в восьми, а может и более. При нем было тогда несколько соседних помещиков, все верхами. Мы посторонились, чтобы дать дорогу длинному поезду, двигавшемуся на ту пору очень тихо. И когда проезжала мимо нас линейка, на которой лежал Измайлов, я мог хорошо рассмотреть физиономию этого человека. Лицо его было одутловато и багрово; большие глаза его горели ярким огнем*. Почему-то он очень пристально поглядел в нашу сторону и, как мне показалось тогда, именно на меня, и чрезвычайно тяжелое впечатление произвел на меня взор его, в котором, как хорошо помню и теперь, было что-то необыкновенно жестокое, суровое и повелительное.

* Про неестественно яркий огонь этих глаз упоминается и в актах о медицинских освидетельствованиях генерала Измайлова, которые производились ежемесячно, по поводу вышеуказанного высочайшего повеления о высылке Измайлова из имения.

Воротившись домой, я рассказал за обедом отцу о встрече нашей с измайловской охотой. Отец сильно поморщился.

— Да,— сказал он,— этот наезд генеральской охоты на наши поля, смотришь, обойдется мне рублей в пятьсот, пожалуй, и больше...

И точно: так как яровые хлеба в то время еще не совсем были убраны, то измайловская охота, проходя через наши поля и особенно угонками по зверю, без чего, конечно, не обошлось, должна была понаделать в них много вреда».

Описанный случай наезда на чужие владения не был единственным в своем роде. Но помещики, через поля и луга которых проходила отнюдь не безвредная охота, никогда, сколько мне известно, не жаловались на это,— и тут уже влияло не то уважение к Измайлову, о котором я выше говорил, а другие, весьма практические причины. Помещики, во-первых, знали, что нельзя было добиться надлежащей управы на этого самовольного и чрезвычайно сильного по связям человека, а главное, они очень основательно опасались, что Измайлов, разгневавшись на принесение жалобы, уже непременно наделает жалобщику еще более вреда своими, нарочно учащенными охотничьими наездами. Где уж тут было жаловаться, когда и нечаянная встреча с измайловской охотой не обходилась без неприятностей, если встреча эта малейшим чем-нибудь помешала травле по зверю. Вот, например, что однажды случилось: Измайлов охотился в отъезжем поле около села Григорьевского (в Зарайском уезде Рязанской губернии). Собаки и псари жарко травили матерую лисицу; травля успела отбить ее от оврагов и перелесков, стало быть, еще несколько угонок по полю — и красный зверь достался бы в добычу. Но тут, как на грех, шибко проезжала дорожная карета шестериком и пересекла дорогу скакавшим с собаками псарям. Собаки заметались, промахнулись. Лисица увернулась от них и быстро скрылась из виду. Взбешенный такой неудачей, Измайлов велел остановить карету. В

ней сидела женщина богатая и родовитая^{*}; но Измайлов ни на что не посмотрел и порешил немедленно отплатить за неудачу в травле таким образом: он приказал растворить дверцы кареты с обеих сторон, и затем все охотники и все собаки, бывшие тогда в отъезде поле, прошли через карету, конечно, растревоживши этим донельзя бедную барыню. Она пожаловалась, но никакого удовлетворения не добилась. Случай этот так и остался анекдотом, много потешавшим провинцию.

Ниже я расскажу подробно, как высоко ставил вообще людей генерал Измайлов, как уважал он, например, человеческое достоинство в своих «чадах и домочадцах»; здесь же кстати, для довершения картины хитровщинской господской усадьбы, приведу следующее — последнее — место из акта об осмотре этой усадьбы:

«Дворовые люди генерала Измайлова,— сказано в заключении акта,— живут весьма тесно, в худых деревянных хижинах, где в одном покое помещается по четыре и по пяти семей». Для примера выставлен один подобный «покой», в котором на пространстве сорока одного квадратного аршина жило двадцать девять человек.— «Остается удивляться,— прибавляют следователи,— каким образом при такой тесноте и нечистоте могут люди сии быть здоровыми».

Но напрасно следователи заявили о своем удивлении перед таким фактом: мне кажется, дело объясняется очень просто. Конечно, в то самое время, как губернатор и губернский предводитель производили следствие в хитровщинской усадьбе, тамошние дворовые люди далеко не все были больны, и еще меньше было таких из них, которые решились бы потребовать медицинского пособия в измайловском лазарете: жили они в своих тесных, грязных и мрачных «хижинах», двигались, работали и тогда — все по-прежнему, и, болея от чего бы то ни было, нисколько не задумывались над причинами своих болезней. Да и еще бы не так: всем хорошо известно, как вынослив простой русский человек при всяких тя-

^{*} Это была, как я слышал, г-жа Левашова, одна из образованнейших женщин тогдашнего московского общества. С ней был очень дружен П. Я. Чаадаев.

готах, лишениях и бедах. Однако последствия тесной и мрачной жизни ясно высказывались у хитровщинских дворовых в одном весьма крупном факте, на который сами следователи не обратили почему-то внимания; а, заметив этот факт, вдумавшись во все его значение, они уже не стали бы удивляться, «каким образом при такой тесноте и нечистоте могут люди сии быть здоровыми». В одном из своих показаний, данном последним следователям, т. е. губернатору фон Трейблуту и губернскому предводителю Мансурову, камердинер Николай Птицын проговорился мимоходом, что люди измайловской дворни вообще не долго живут, что между ними нет старых стариков и старух.

Эта недолговечность измайловских дворовых была истинно замечательным явлением, и следователи должны были бы обратить на него особенное внимание. Но они не сделали этого и, вероятно, потому, что, при своей добросовестности, не додумались до полного понятия об общем результате поступков Измайлова с его дворовыми людьми.

Впрочем, камердинер Николай Птицын объяснил следователям вышеупомянутый факт недолговечности товарищей своих,— факт, по какому-то вдохновению весьма кстати пришедший ему на память, тем только, что все дворовые люди уже слишком часто подвергались жестоким телесным наказаниям. Но ни ему, Птицыну, и никому другому из дворовых не кидались в глаза «теснота и нечистота» их жилища, от чего, несомненно, в значительной степени должна была зависеть недолговечность людей в измайловской дворне. Ровно тридцать лет измайловские дворовые сносили терпеливо различные жесточайшие истязания: наказание розгами, арапниками, плетью, палками, содержание в домашних ужасных тюрьмах, на стенных цепях, при холоде и голоде, ношение «стульев»¹¹⁸, шейных рогаток, ручных и ножных желез¹¹⁹. Правда, все это немало донимало, да и доняло их наконец, но жалованьем, одеждою, пищею и вообще всяким «содержанием» почти все они оставались довольны. Только некоторые конюхи и чернорабочие в господском дворе жаловались, при всех следствиях, что

в течение десяти-пятнадцати лет не получали они тулупов; только немногие из прочих дворовых изъявляли неудовольствие на помещика своего за неполную выдачу установленного для всей дворни пищевого содержания, да и то в таком лишь случае, когда эта неполная выдача пищи шла вслед за телесным наказанием или же соединялась с долговременным ношением рогаток. А что тесны и мрачны были «хижины», в которых жили и бедовали эти несчастные дворовые, про то жаловаться никому из них и в голову не приходило. Но и то сказать: русский человек не прочь жить в тесноте, лишь бы только не в обиде.

VII

При хитровщинской господской усадьбе состояла громадная дворня; к половине 1827 года в ней считалось двести семьдесят один человек мужчин и двести тридцать одна женщина. Но то было далеко не все. Приведенные выше цифры показаны в ведомости, представленной поверенным генерала Измайлова Федоровым губернатору фон Трейблуту и губернскому предводителю Мансурову; в ведомость же эту вошло лишь взрослое, так сказать, рабочее народонаселение хитровщинской дворни, но все малолетки обоего пола, равно как и *заштатные*¹²⁰ старики и старухи,— были и такие личности, только в малом числе,— совсем в ней не обозначены. Итак, кажется, я не ошибусь, если определю весь состав хитровщинской дворни, считая тут малолеток и стариков обоего пола, а также наемных людей и приживальцев, в восемьсот человек. Цифра довольно-таки значительная, особенно же если принять в соображение, что она представляет штат одной только хитровщинской усадьбы. (О том, сколько именно было дворовых людей при других измайловских усадьбах: в селе Деднове, в сельце Горках, в сельце Клобучках, а также при домах его в Москве,— в просмотренном мною деле нет на то никаких указаний.)

Небезынтересно будет для читателя, я полагаю, познакомиться в подробности с дворовым штатом хитровщинской усадьбы генерала Измайлова.

Вот из каких лиц состоял мужской штат этой замечательной дворни:

Один приказчик, пятеро писарей (один из них, Семен Краснухин, на ту пору был начальником, вроде директора, этой доморощенной канцелярии), два камердинера, два казначея, семеро казаков*, одиннадцать официантов, четыре лакея, пять поваров, пятьдесят конюхов, тридцать шесть псарей, шестеро щенятников и наварщиков, четыре истопника, двое старост (нарядчиков на работы, на которые употреблялись собственно дворовые), семеро садовников, восьмеро слесарей**, двое медников, семеро кузнецов, двое каретников, семеро шорников¹²², четверо столяров, трое резчиков, один лепщик, один мраморщик, двое маляров, один живописец, семеро портных, четверо сапожников, один башмачник, двое овчарников, девятнадцать фабричных, два бердовщика¹²³, шестеро лазаретных служителей, двенадцать коровников, трое овчаров, один птичник, один сенник, пятнадцать человек в каких-то разных работах, один сотский***, двадцать три человека без определенных должностей, трое *ищущих свободы*¹²⁴, одни дедновский крестьянин — тоже без определенной должности.

Затем следует женское население хитровщинской усадьбы, как показано оно по ведомости поверенного

* Это были не те козачки¹²¹, каких нередко перед самой крестьянской реформой можно было встретить в домах деревенских помещиков даже средней руки; это бывали мальчики годов от восьми до пятнадцати. Обязанности их состояли в набивании трубок, в обмахивании от мух во время обедов и в побегушках в разные концы. — Но «казаки» генерала Измайлова совсем не то: во-первых, то были люди взрослые, все молодцы, бойкие и расторопные; во-вторых, обязанность их главным образом состояла в том, чтобы сопровождать своего барина всюду, куда он выезжал. (Некоторые подробности об отправлении измайловскими казаками этой обязанности будут представлены ниже.)

** Обстоятельство, что слесарей было так много, объясняется и тем, что в их заведовании состояло изготовление новых и поправка старых рогаток, ручных и ножных желез и проч.

*** Любопытно было бы знать, что делал тут, в помещичьей усадьбе, числясь даже в штате измайловской дворни, этот, по закону *выбранный от «мира»*, низший член земской полиции, но, к сожалению, в деле нет никаких на это указаний.

Федорова. Тут было: двенадцать девушек при побочных детях Измайлова и при воспитывавшихся у него детях знакомых его дворян*, десять прачек, семь коровниц, две птичницы, одна кухарка при лазарете, семнадцать женщин в *черной работе*, сорок четыре женщины на суконной фабрике, сто тридцать восемь женщин без определенных должностей.

Весь этот люд, мужского и женского пола, принадлежал собственно к крепостным генерала Измайлова. Но в состав хитровщинской дворни входили, хотя и не на всех условиях настоящих измайловских дворовых, еще следующие наемные люди и приживальцы: вольнопрактикующий доктор француз Виэль, провизор Гедерс, смотритель конского завода коллежский регистратор¹²⁵ Никифоровский, главный мастер при суконной фабрике, кухмистер, главный садовник, егерь, кучер, трое псарей, отставной прапорщик¹²⁶ из татарских князей Али-Гирей Баязетов, разыгрывавший роль шута, отставной копист¹²⁷ Воронихин и поверенный по делам коллежский регистратор Федоров.

Замечательно, что в числе собственно дворовых хитровщинской усадьбы находились люди, вовсе не принадлежавшие Измайлову, например незаконнорожденные от солдаток¹²⁸. Несмотря на то, что они не были даже записаны по ревизии за Измайловым, положение их ничем решительно не разнилось от положения настоящих крепостных; блажной генерал помыкал ими, как хотел, назначал их, по своему усмотрению, в разные должности и работы, распоряжался ими вообще как собственными своими крепостными людьми и, нисколько и ни в чем в отношении их не стесняясь, наказывал их, как и прочих дворовых. Так, солдатский сын Степан Попов был разлучен, по воле барской, с женою своею, на которой он и повенчался-то не по собственному же-

* Признаваемых Измайловым побочных детей его было только трое; прочих, которых было-таки немало, он признавал, куда ему хотелось. Поразителен и тот факт, что находились дворяне, отдававшие детей своих на воспитание в дом Измайлова,— дом, преисполненный всяческого разврата.



Завтрак помещиков на селе.
С рисунка пером неизвестного художника

ланию, а по принуждению госпожи Д-вой*, любовницы Измайлова, управлявшей его имениями в то время, как он был в заграничном походе.

Но особенно внушительным примером того, как тяжело приходилось людям, отыскивавшим свободу из владений генерала Измайлова, мог служить бывший приказчик его, Храбров.

Пармен Гаврилович Храбров происходил, как это усматривается из одного его прошения, от поляка, по всей вероятности, шляхтича какой-либо из западных наших губерний, еще в малолетстве полоненного и вывезенного кем-то в Орловскую губернию. Поляк этот приходился дедом Пармену Храброву.

В малолетстве же поляк «полоняник» попал в крепостные к какому-то орловскому помещику. Возмужав, он стал хлопотать «об освобождении из рабства», и дело об этом производилось в разных местах, но чем оно окончилось,— про то Пармен Храбров ничего не говорит, а надо думать, что дед его все-таки не добился «освобождения из рабства». Жил этот дед в Брянском уезде, там женился и детей прижил. Сын его Гаврило, отец Пармена Храброва, тоже задумал отыскивать свободу, «о чем и объяснился с помещиком своим Зиновьевым». Но помещику Зиновьеву «такое объяснение крепко не понравилось», он велел сковать Гаврилу, а сам уехал в Москву, где служил в Военной коллегии ассессором¹²⁹. Затем привезли и Гаврилу в Москву; там, несмотря на заявление его, что он отыскивает свободу, сдали его тотчас же в солдаты, и Зиновьев получил за него рекрутскую квитанцию¹³⁰. Однако этим не порешилась крепостная судьба Гаврилы. Первый член Московской военной

* Эта госпожа Д-ва была жена исправника Бронницкого уезда Московской губернии. Измайлов соблазнил и похитил ее, и муж не осмелился пожаловаться на это. Жалка была участь этой женщины: воротившись из заграничного похода, Измайлов прогнал ее из своего дома, а дочерей от нее оставил у себя; но она уже никогда не видала их, ей было запрещено это строго-настрого. Есть в деле указания, что в доме своего любовника, на которого сначала она имела большое влияние, держала она себя без достоинства, навлекая разные подозрения на свой образ жизни, и что Измайлов прогнал ее не потому только, что она ему надоела... Впрочем, я не считаю нужным входить в дальнейшие объяснения причин ее опалы у Измайлова.

коллегии, генерал-майор Михайло Львович Измайлов, взял его из военной службы и отправил в тульское свое имение, село Хитровщину. Причиной такой перемены в жизни Гаврилы было следующее, по словам сына его, Пармена Храброва, обстоятельство: он был «художник сады разводить и вообще строить», а поэтому Михайло Львович Измайлов захотел воспользоваться его искусством и «обещал ему, за труды его, отставку». Впоследствии, без ведома Гаврилы, М. Л. Измайлов отдал в военную службу, на перемену его, крепостного своего человека, и уж бог весть, как это сделалось, только в Военной коллегии М. Л. Измайлов «выправил себе на Гаврилу владенный указ», — как рассказывал в своем прошении Пармен Храбров.

Может быть, Пармен не во всех подробностях рассказывает точно и правильно; однако главные факты его рассказа, судя по всему тому, что с самим Парменом совершилось, должны быть верны, т. е.: Гаврило Храбров, несмотря на то, что был уже зачислен солдатом, как «художник», понадобившийся сильному барину, был обменян, исключен из военного ведомства и, действительно, хотя и совсем незаконным способом, попал опять в крепостные к новому помещику. Лично он ничего не потерял, отделавшись так нечаянно от столь тягостной в тогдашнее время военной службы: по признанию самого Пармена Храброва, отцу его было очень хорошо жить у Михайла Львовича Измайлова; но зато дети Гаврилы, пятеро сыновей (в том числе особенно Пармен) и две дочери, вдоволь натерпелись горя у наследника Михайлы Львовича, родного его племянника, Льва Дмитриевича Измайлова. Эти-то сыновья Гаврилы Храброва вынуждены были своей бедственной жизнью вновь повести дело об освобождении рода их из крепостной зависимости. Мысль о свободе, как видно, была очень живуча у всех Храбровых и переходила сохранно из поколения в поколение, хотя и приносила им много горя и всяческих бедствий.

Пармен Храбров несколько времени был в милости у Льва Дмитриевича Измайлова и служил ему приказчиком в Хитровщине; но наконец чем-то провинился он

перед барином, за что был разжалован из приказчиков, а притом сидел долго в кандалах, содержался в домашней тюрьме, и все имущество его было отобрано на помещика. В тяжком тюремном заключении он надумался и, успев каким-то образом вырваться из черной арестантской, немедленно же возобновил родовое свое дело об отыскании свободы из крепостной неволи. Но в то же самое время повел и генерал Измайлов дело против Пармена Храброва о растрате им, Храбровым, как помещичьих, так и «мирских», крестьянских денег. И действительно, в растрате именно «мирских» денег, а также и «в лихоимстве с крестьян» Пармен Храбров оказался по суду виновным. По решению Правительствующего сената он был наказан за это плетьюми, а затем, впредь до окончания дела об отыскиваемой им свободе, отдан Измайлову во владение.

Тогда-то именно довелось Пармену Храброву вытерпеть страшное угнетение. Генерал Измайлов по-своему пожелал применить к нему условно предоставленное ему право владения. Он тотчас же засадил Пармена в особую комнату при хитровщинском лазарете, т. е. засадил его в тюрьму.

В комнате этой Пармен постоянно был под замком, а зимою дня по два, по три ее не топили. При этом не отпускалось Пармену Храброву ни белья, ни верхней одежды, ни обуви, иногда же и не давали ему пищи.

Пармен Храбров, столь неутомимо перед тем добивавшийся свободы, не выдержал наконец и несколько раз, через доктора Виэля, почему-то принимавшего в нем участие, просил прощения у Измайлова, клятвенно обещаясь отказаться навсегда от мысли ходатайствовать о свободе и уже служить помещику своему «верою и правдою». Но суровый помещик велел отвечать от своего имени Храброву, что прощения ему никогда не будет. И мало того: когда началось дело «о скопе и заговоре», составленном как будто бы хитровщинскими дворовыми людьми, первоначально действовавшие следователи, члены временного отделения Епифанского земского суда и советник Тульского губернского правления Трофимов, всячески добивались,— и, конечно, по настоянию само-

го Измайлова,— открыть в Пармене Храброве главного зачинщика и руководителя предполагаемого «скопа и заговора». Правда, Пармен Храбров принимал в деле, затеянном дворовыми, некоторое участие, но отнюдь не главное; собственно говоря, он только знал о том, что дворовые решились наконец всюду жаловаться на поступки с ними страшного их помещика, и если бы верховная власть не обратила на Измайлова своего высокого внимания, по всей вероятности, подлые, злодейские интриги, направленные к тому, чтобы представить Храброва главным бунтовщиком и руководителем других к «бунту», окончились бы совершенной гибелью этого несчастного искателя свободы.

Но что всего замечательнее — наряду со всеми дворовыми хитровщинской усадьбы находились также и незаконнорожденные дети самого Измайлова. Участь двоих из этих детей особенно интересна.

Николай Нагаев, сын Измайлова от дворовой его девушки, до семилетнего возраста своего воспитывался в господских комнатах. За ним, как за настоящим барчонком, ходили кормилицы и няньки. Сам Измайлов пред всеми признавал его своим сыном. Но потом Николай Нагаев был удален внезапно из барского дома и, назначенный, на возрасте, писарем при хитровщинской господской канцелярии, разделил, решительно во всем, общую долю хитровщинских дворовых. Тяжка и горька была эта доля до нестерпимости, и Николай Нагаев сделался одним из главных, неутомимых доносителей на своего отца-помещика. Впрочем, презренная роль доносчика на отца смягчается в Нагаеве тем именно, что причиной, обусловившей его жалобы, он выставляет отнюдь не прежнее свое положение в барском доме, про что он говорит только мельком, а вообще жестокие поступки Измайлова с дворовыми. Кстати замечу: Николай Нагаев, как видно из дела, сохранил, тайно от отца, искренне добрые отношения с дочерьми Измайлова от Д-вой, особенно же со старшей, девушкой в высшей степени достойной, и это обстоятельство указывает, что Нагаев не участвовал в том общем разврате, которому предавалась широко вся измайловская дворня.

Лев Хорошевский, тот самый мальчик, который отвечал Измайлову, со страху перед ним, что собака лучше человека, за что и удостоился награждения целковым¹³¹, был тоже незаконнорожденный сын Измайлова от другой дворовой его девушки. О нем сам барин говаривал: «Вот этот так настоящий мой сын». До девятилетнего возраста Лев Хорошевский, подобно Николаю Нагаеву, воспитывался в господском доме, но потом, как Нагаев же, по воле своего отца-барина, смешался безразлично с толпою прочих дворовых людей, разделив общую во всем с ними участь, и, опять, как Нагаев же, сделался доносителем на своего отца.

VIII

В высшей степени странна была эта община дворовых людей хитровщинской усадьбы. В среде ее была своя аристократия, но был также и своеобразный горемычный пролетариат. Последний особенно прочно гнезвился в той части измайловской дворни, к которой принадлежали составлявшие, как и везде, значительное большинство ее, рабочие люди, ремесленники и мастеровые.

Я буду говорить здесь, собственно, о содержании хитровщинских дворовых, как пищею, так и одеждою, что, конечно, должно было следовать от помещика: ибо в этом сказывается достаточно положение этих несчастных людей.

Казалось бы, с первого взгляда, что содержание дворовых в Хитровщине, хоть и неравное по качеству, тем не менее было вообще очень сносно. И точно: в показаниях своих разным следователям, даже последним (губернатору и губернскому предводителю), значительная часть дворовых говорит, что они «содержанием довольны». Сам же генерал Измайлов, в «объяснении» своем, данному следователю, советнику тульского правления Трофимову, вот что рассказывает относительно содержания:

«Каждому дворовому человеку идет в месячную дачу: два пуда муки ржаной, один гарнец¹³² круп гречневых, пять фунтов солоду¹³³ или муки на квас, соль, горох, мас-

ло коровье, а в постные — конопляное, капуста кочанная и рубленая на щи, картофель, свекла; да единовременно, на сырной неделе¹³⁴, два гарнца гречневой муки (на блины). По заслугам отпускается многим в скоромные дни мясо, по фунту на каждого, а за неимением иногда мяса выдается деньгами. В Москве покупаются для щей сметки¹³⁵, грибы; по праздникам же — соленая коренная рыба¹³⁶. Конюхам, псарям и другим рабочим*, которые по обязанностям своим должны куда-нибудь отлучаться, выдаются в зимнее время овчинные тулупы, полушубки и суконные шаровары; в летнюю же пору — суконные кафтаны, армяки¹³⁷ и куртки, с шароварами же. О прочих людях, состоящих при доме в разных работах и должностях, было приказываемо камердинеру Ключкову, а через него — приказчикам».

Объяснение генерала Измайлова о пищевом, собственно, содержании дворовым его людям положительно подтверждается показаниями многих дворовых. Для примера беру показание конюха Калины Митрофанова. Он говорит, что, точно, выдается на каждого человека: два пуда муки ржаной, в скоромные дни — фунт говядины или ветчины, либо солонины¹³⁸; около двух фунтов соли; пять фунтов солоду на квас; фунт масла, в скоромные дни коровьего, а в постные — посконного (конопляного)**; белая капуста и картофель, сколько можно потребить.

Кроме того, генерал Измайлов объяснил (кстати: он тогда все давал «объяснения») следователю Трофимову, что многие из его дворовых людей, сверх пищевого и одежного содержания, а также и денежного от него жалованья, имеют еще у себя коров, овец, свиней, кур, уток и гусей, и все это прокармливается на счет господский. «Объяснение» это отчасти верно: действительно, некоторые аристократы хитровщинской дворни пользовались всеми вышеуказанными благами от щедрот помещичьих.

Все это, пожалуй, было и очень хорошо.

* Замечательны: и это сопоставление конюхов, а особенно псарей, с чисто рабочим народонаселением дворни, и это награждение дворовых мясом — только по заслугам. Впрочем, и то сказать: хорошей мясной пищей русский человек вообще не очень избалован.

** Выдача фунта коровьего масла в день — невероятна. Тут, может быть, простая ошибка со стороны писца, записавшего показание.

А к тому же есть еще по делу указания, что хитровщинская дворня в содержании пищею имела артельную организацию.

Но, пожалуй, можно тут же выставить и еще дополнение к «казовому» концу¹³⁹ хитровщинской дворни: весьма многие в ней мужчины и некоторые тоже женщины получали денежное жалованье от помещика, что, для тогдашнего времени, было, действительно, редким примером.

Однако тут лишь одна сторона медали.

На деле-то оказывается, что между хитровщинскими дворовыми людьми были такие — и немало было таких,— которые годов по десяти и по пятнадцати не получали ни тулупов, ни полушубков, ни даже верхних армяков, которые не имели и обуви, а если и имели вместо сапог лапти, то и их выпрашивали себе на стороне, Христа ради, а притом шло этим горемыкам такое ничтожное жалованье, например четыре рубля пятьдесят копеек ассигнациями в год, что его уже никак не могло доставать даже на рубашки и исподнее платье¹⁴⁰.

К этим несчастным людям, столь скудно снабжаемым одеждою, принадлежали большею частью конюхи да рабочие на поташном и кирпичном заводах и на суконной фабрике.

Обыкновенная месячная дача пищевого содержания для иных дворовых значительно сокращалась: некоторые не получали вовсе и никогда мяса, а некоторые содержались постоянно, в продолжение нескольких лет сряду, только на хлебе и на воде.

Так, например, конюх Иван Теплов пятнадцать лет сряду был на хлебе и на воде (за то, как он показывает, что по приказанию управлявшей имением госпожи Д-вой ездил в село Дерново для продажи сена). Так, мастеровой Андрей Медведев,— во время следствия ему уже было шестьдесят два года,— в течение тринадцати лет получил только один кафтан; жалованье ему не шло вовсе; в пищу ему и детям его выдавались только мука и крупа,— просить генерала Измайлова о каком-нибудь улучшении этого содержания Медведев не смел, так как ему и показываться на глаза барские было запрещено.

А надо заметить, что Андрей Медведев двадцать восемь лет сряду работал на заводах, рыл канавы и употреблялся на всякие тяжелые работы. Так, конюхи Трофим Суков и Андрей Соколов были на хлебе и на воде: первый — ровно два года, а последний — несколько месяцев.

Кстати, упомяну здесь и еще про нескольких горемык, чрезвычайно избитых в содержании и пищей, и одеждой.

Семен Никитин семь лет не получал ни жалованья, ни одежды; Василий Шелудяков, в продолжение тридцати лет не получал обуви ни на летнее, ни на зимнее время; Сидор Валяй десять лет не получал жалованья, одежды и обуви, а на пищу выдавалась ему одна только ржаная мука («все за то, что с барином четверней в коляске не хорошо под гору съехал»); Евграф Лошаков, до двенадцатилетнего возраста воспитывавшийся в господских комнатах (должно быть, тоже незаконнорожденный сын Измайлова, хотя про это он не говорит), получил только один кафтан из рядины¹⁴¹, обувь же, в зимнее и осеннее время, выпрашивал на стороне, а в летнюю пору ходил совсем без обуви.

И мало того еще: некоторые дворные не имели собственного своего угла; например, слесаря, братья Разиновы, ткачи Матвей Мохов и Михей Бабурин не имели собственно для них отведенного помещения, а жили постоянно «по чужим людям».

В таком-то положении относительно собственного содержания находилось большинство хитровщинской дворни, именно та часть ее, которую я называл хитровщинским пролетариатом. Посмотрим же теперь, как жило меньшинство.

Аристократы хитровщинской дворни были очень хорошо одеты, имели достаточную, даже избыточную пищу (камердинеры Николай Птицын и Устин Ключков продовольствовались с господского стола) и, кроме того, получали большое для тогдашнего времени жалованье.

Так, например, Иван Ахахлин, управляющий московским домом Измайлова, получал в год две тысячи рублей ассигнациями; кухмистер Андрей Ковальский получал шестьсот рублей; охотничий ловчий¹⁴² Федор Быков —

двести рублей; приказчик Иван Овсянкин — двести пятьдесят рублей; камердинер Устин Ключков — триста рублей; камердинер Николай Птицын — двести рублей; главный писарь Семен Краснухин — полтораста рублей; повар Иван Могилевцев — сто рублей; казаки: Иван Рыболовский, Иван Лапкин, Ермил Юсов., Николай Стрижев, Николай Сурков — от ста пятидесяти до ста рублей каждый, но зато хитровщинские пролетарии, бывшие постоянно на тяжелой работе, не могли похвалиться и жалованьем, только еще псарям и кучерам некоторым выдавалось в год от семидесяти пяти до сорока рублей каждому, все же прочие получали: кто двадцать, кто десять, а кто и четыре рубля пятьдесят коп[еек] в год. Да притом, как выше было сказано, некоторые и вовсе не получали жалованья.

Впрочем, и аристократы, и пролетарии измайловской дворни в одном отношении были сравнены совершенно: над всеми ними тяготел постоянно барский, в высшей степени взбалмошный и жестокий, произвол, всех безразлично задевавший и доходивший иногда до ужасающих размеров.

Но тем не менее были дворовые, которые во время следствия Трофимова с великим жаром объявляли следователю, что они у своего барина всем весьма довольны, осыпаны его благодеяниями, что, по их убеждению, и всяк из хитровщинской дворни должен быть доволен и чрезвычайно благодарен барину.

Так говорили два бывшие приказчика, Копылов и Шелушенко, кухмистер Ковальский, охотничий-ловчий Федот Быков и истопник Семен Тарасов.

Показания этих «довольных» людей, изложенные кудреватым слогом столь доброжелательствовавшего генералу Измайлову следователя, дельца Трофимова, весьма характеристичны, и поэтому я привожу их здесь, не изменяя ни в чем выражений и лишь сокративши несколько.

«Не могу без прискорбия слышать о том,— говорит старик Шелушенко,— что на его превосходительство жалуются те люди, которые преимущественно им облагодетельствованы, которые, пользуясь отеческими

милостями барскими, не постыдились принести клевету несбыточную высочайшему лицу. Скорбя об этом душою, я не могу скрыть получаемые мною самим благодеяния за пятилетнее управление домом в Москве и в продолжение одного года имением: уже около двадцати лет я без должности, но несмотря на это получаю с семьей хорошее содержание и жалования сорок рублей...»

«С душевным прискорбием услышал я,— говорит другой старик, Копылов,— решились и дерзнули быть против барина возмутителями те люди, кои, находясь при нем лично, пользовались всегда его милостями и благодеяниями. Двадцать пять лет я был приказчиком; в продолжение этого времени, действительно, наказывались дворовые и крестьяне и надевались на них железные вещи*, но наказания производились умеренно, человеколюбиво и соответственно проступкам, для того только, чтобы вселить в виновных один страх к удержанию себя от проступков на будущее время; а железные вещи, неизнурительные и легкие, надевались для прекращения побегов от работы и для укрощения буйств и прочего, что и можно назвать не тяжкими наказаниями, а лишь исправительными мерами, кои всегда существуют и без коих едва ли обойтись можно, особенно при такой многочисленности дворовых людей и крестьян, какая в имениях его превосходительства. В пример, как награждается барином ревностная служба, им испытанная, яставляю себя самого; ибо, и по увольнении от службы, получаю изобильное содержание и пятьсот рублей пенсону; повара Ковальского, который имеет особую комнату, отличное содержание и шестьсот рублей жалованья, и управляющего домом в Москве Ивана Ахахлина, который, кроме квартиры и всего содержания, получает еще две тысячи рублей в год».

«За неограниченные милости барские и заслужить не могу,— объясняется кухмистер Ковальский,— и всякий из дворовых людей пользуется милостями господина, по мере заслуг и поведения; наказываются же дворовые всегда меньше, чем они заслуживают; притом большею частью наказания производятся без ведома господина,

* Что такое эти «железные вещи» — будет рассказано ниже.

теми людьми, кому за кем поручено иметь наблюдение...»

«Милостивыми снисхождениями ко мне господина моего,— говорит охотничий-ловчий Федот Быков, семидесятисемилетний старик,— остаюсь я чрезмерно доволен. Шесть лет тому назад куплен я его превосходительством у г. Мевса, и ни одного раза не был под наказанием и гневом*. Содержание в пище и одежде имею совершенно достаточное, жалования получаю в год по двести рублей. Прочим дворовым людям хотя и бывают, по приказанию господина, телесные наказания, но не жестокие и, соображая их преступления, гораздо умеренные. При всем том наказания производятся по большей части не по приказанию его превосходительства, а теми людьми, кто кому поручен в наблюдение, и о том его превосходительству, дабы его, по его болезни, не беспокоить, не докладывается...»

«О намерении задумавших такое противозаконное и гнусное предприятие** я не знал,— говорит особенно энергически истопник Семен Тарасов***,— а если бы и знал, то донес бы тотчас же его превосходительству, отеческими милостями которого доволен я в полной мере. А как я слышал, что и сын мой, Яков, руку приложил к какой-то доверенности и подписке, и, вероятно, как человек молодой и неопытный, он вовлечен в это неумышленно, то прошу спросить его и, за неосторожность, или и более,— судя по его молодости,— за глупость, дозволить мне испросить у барина разрешение наказать сына отечески...»

* Замечательно, что это говорит старик семидесятисемилетний, замечательно и то, что такой старик продан и куплен и употреблен в нелегкую, особенно же у Измайлова, службу по псовой охоте уже на восьмом десятке жизни.

** То есть о намерении многих из хитровщинской дворни жаловаться на Измайлова.

*** Семен Тарасов, простой истопник, стало быть дворовый, получавший скудное содержание и малое жалованье, оказался одним из преданнейших Измайлову людей по той причине, что с самого начала дела стал доносчиком барину на своих товарищей дворовых. В этой роли руководил его измайловский поверенный коллежский регистратор Федоров.



Помещик на охоте.
С картины маслом неизвестного художника

Итак, усердная и верная служба у генерала Измайлова награждалась блистательно. Мало того: дворня измайловская была не что иное, как громадная школа нравственности. Видите ли: если некоторые дворовые подвергались телесным наказаниям, если они таскали на себе, денно и ночью, «железные вещи» (с которыми даже и работали), то ведь без этого нельзя же обойтись, а притом «железные вещи» — неизнурительны и легки, а наказания — все отеческие, направленные единственно к исправлению нравственности, и не жестокие, не по мере проступков и преступлений, а «гораздо умереннее».

И как ловко признаются эти преданные барину «начальники частей домашнего управления», что от них-то, по большей части, зависели наказания дворовых, порученных их «наблюдению», что барин о наказаниях этих даже и не знал. И как выразителен этот донос Семена Тарасова на сына, которого «за его глупость» он желает наказать, с дозволения барина, отечески.

Конечно, следователь Трофимов, преследуя свою единственную цель, чтобы как можно лучше выгородить генерала Измайлова от всяких обвинений, чрезвычайно тонко и весьма целесообразно изложил вышеприведенные показания; но тем не менее несомненно и то, что понятия, им выраженные в этих показаниях, принадлежали именно дворовому люду. Судя по общему характеру помещичьих действий Измайлова, можно положительно думать, что было время, когда Шулепенков*, Копылов, Ковальский, Быков и истопник Тарасов, в свою очередь, испытали на себе всю силу измайловского произвола, да только теперь они уже не хотели вспоминать об этом, и, по всей вероятности, не только из страха или из своекорыстного расчета, что такими показаниями в пользу барина заслужат еще бóльшие его милости, не столько даже из привычного рабского подбострастия, сколько из твердого убеждения, что незачем и вспоминать о худом прошлом, — благо, оно уже миновало, былью поросло, — ибо все это так и быть должно, коли уж достался на долю такой причудливый, суровый барин...

* Очевидная опечатка в тексте «Древней и Новой России». Следует: Шелушенко, или Шелушенков. Ред.

Тут был своего рода фатализм, порожденный и воспитанный практикой крепостного права. Этот же самый фатализм выражался в показаниях и тех хитровщинских дворовых людей (впрочем, таких не очень много), которые говорят, что они, хоть и претерпевали безвинные жестокие наказания, однако никакой претензии за это не имеют.

Вот эти-то показания производили на меня наиболее тяжкое впечатление...

IX

Я дохожу теперь до особенно неприятного для меня места в моем рассказе — до описания наказаний, каким подвергал хитровщинский помещик горемычных своих дворовых.

Мне придется здесь войти в подробности, изображать которые нелегко...

Но я не могу отказаться от этого.

Если грозила человеку на каком-нибудь месте великая опасность, — по миновании ее он непременно оглянется на то место и долго будет глядеть: повлечет его к тому непреодолимая сила. Так и тут: крепостное право, грозившее при дальнейшем своем существовании убить окончательно силы народного духа, — такое место в русской народной жизни, на которое невольно, часто и надолго, придется оглядываться...

Просмотренное мною дело в отношениях помещика Измайлова к дворовым его людям представляет со всех сторон, до чего могла доходить практика крепостного права, — и вот почему, мне кажется, не следует обходить никаких подробностей при изложении этого дела, как бы ни тяжело было их описание.

Лев Дмитриевич Измайлов, может быть, и не был зол от природы. Его общительность, гостеприимство, широкая щедрость, его искреннее уважение к людям решительным и благородным — все это черты, несомненно, хорошего характера. Но характер этот был и глубоко испорчен, сначала воспитанием, а потом положением в обществе. Воспитание Измайлова, при крайне недоста-

точном образовании, при совершенном отсутствии нравственного направления, было вообще такое, что с самых ранних лет не знал он себе ни в чем удержу, отчего и приобвык своевольничать, как только ему хотелось. А положение его в общество, как при самом вступлении в него, так и долго впоследствии, тем положительно определилось, что у него, человека пылкого, страстного, своевольного и дерзко-шаловливого, оказывались всегда и везде в нужных случаях такая родня, такая протекция, которые могли выручить с самого дна морского.

К тому ж судьба не послала Измайлову никаких уроков в жизни. Служба (военная и гражданская), окончательно сложившаяся для него как-то особенно своеобразно, еще больше испортила его характер. Неудачи же иной раз по службе,— нежелательные для него переводы из полка в полк, неожиданные отставки,— не были ему уроком: они только ожесточали его, делали еще раздражительнее и своевольнее, что и отражалось прежде всего на домашнем его быту. Богатый, знатный, влиятельный и по связям своим, и по собственному характеру, властолюбивому и энергическому, умный, но необразованный, а при всем том без всяких нравственных основ, и для гражданской деятельности и вообще для жизни, генерал Измайлов имел для всего своего обиходу только две цели: потешиться и покомандовать. Ему все было нипочем, он никого и ничего не боялся: по крайней мере так было до следствия, произведенного о нем по высочайшему повелению тульским губернатором и губернским предводителем; он привык, он хотел и мог произвольничать во все стороны; эта привычка командовать, как он, с незапамятных для него времен, и дома и везде командовал, развила в нем глубокое презрение к людям, ему подчиненным, особенно же к крепостным. Можно положительно сказать, что он твердо был убежден в высшем своем назначении: приказывать и наказывать.

Он и всю жизнь свою подладил под это высшее свое назначение.

Даже в то время, когда подагра уже сильно его одолевала, он почти каждодневно выезжал в поле для охоты

или для хозяйственных обзоров, а то осматривать различные заведения при господской усадьбе. И везде сопровождали его доморощенные его казаки, снабженные нагайками. Эти молодые, сильные, бойкие люди имели специальною обязанностью чинить расправу на месте над всяким провинившимся в глазах причудливого и неугомонного барина.

Но расправа над провинившимися всего чаще производилась в самом господском доме. Тут заведовали этой расправою уже другие исполнители барской воли: измайловские камердинеры постоянно ходили с пучками розог за поясом.

И всем этим исполнителям наказаний: казакам, камердинерам, конюхам крепко доставалось, если они, как казалось иногда Измайлову, не больно секли провинившихся. Характеристически выразился в своем показании один из несчастных казаков, Иван Лапкин, что, дескать, у него, Лапкина, «почти в том только время проходило, что он или других сек, или его самого секли».

Генерал Измайлов не церемонился наказывать — сечь и бить — людей своих даже при гостях. Несчастных часто истязали в гостиной, в кабинете, в залах, в самой барской спальне. А когда случалось, что люди эти наказывались не под барскими глазами, то все-таки иногда их приводили к барину для того, чтобы он мог наглядно удостовериться, достаточно ли они наказаны.

И не было меры в истязаниях. У иных после наказаний спины гнили по несколько месяцев, иные, все от того же, долго-долго чахли в хитровщинском госпитале, иные умирали преждевременно. Недаром в измайловской дворне весьма мало было стариков.

Относительно наказаний измайловским дворовым не доводилось друг другу завидовать: тут все были сравнены. Спрошенные последними следователями крестьяне села Хитровщины показали, что «редкий из дворовых и из них, крестьян, обошелся без какого-нибудь наказания». Да и по делу это видно: не наберешь и десяти человек из дворовых, которые показали бы, что они не были наказаны.

Впрочем, тут были и своеобразные оттенки.

Чаще и больше всего подвергались истязаниям те люди, которые по должностям своим стояли ближе других к барину; но по крайней мере им шло хорошее содержание, они могли утешаться даже некоторою роскошью, а притом у них редко наказания розгами, палками и плетьюми сопровождалось другими, тоже чрезвычайно тяжелыми истязаниями. Пролетарии же хитровщинской дворни, попадая под розги, плети и палки, почти всегда с тем вместе подвергались и другим мукам: на них надевали, по большей части на долгое время, рогатки, ножные железа, так называемые стулья, их сажали на стенные цепи, у них отнимали их жалкое, скудное имущество — какую-нибудь коровенку, какую-нибудь домашнюю птицу, полусгнившие домишки, даже одежду и обувь, им уменьшали ежедневную пищу, их употребляли в невыносимые работы.

Наказывались же люди за все про все.

Так, собаки — борзые, гончие, легавые, так, лошади, упряжные и верховые, так, домашний скот — коровы, овцы, свиньи, так, зверь для псовой травли — лисицы, волки и даже невинные зайцы, так, даже петухи и куры бывали причиною многих истязаний.

Сорвется, например, у Семена Краснухина борзая собака со своры — и дерут его арапниками так, что спина у него гниет полтора месяца; а в другой раз, не успел он же, Краснухин, обскакать болото, а оттого заяц ушел — и за это высекли неловкого псаря* фореиторской плетью, от какового наказания пролежал он в больнице долгое время. Привел Макар Жаринов из зверинца¹⁴³ десяток зайцев для сдачи, но один из них вовсе не побежал, — за такую покорность судьбе со стороны зайца высекли Жаринова плетьюми да надели ему на шею рогатку, а на другой день опять высекли и посадили на стенную цепь. У Никиты Жукова борзая собака выбежала из круга; у Никиты Колкунова собаки перекусались; сзади Ермаила Юсова собака вдруг взвизгнула, — и Жуков, Колкунов, Юсов были жестоко наказаны. У Павла Белова борзая собака кашлянула; Измайлов спросил: «Отчего это?» — а Белов отвечал: «От волоса и от цепей». Но Измайлов

* Семен Краснухин был собственно не псарь, а главный писарь.

возразил, что он не приказывал держать борзых собак на цепях, и за ответ свой, в котором барин нашел, должно быть, какой-нибудь намек, пришлось Белову носить мучительную рогатку. Легавые собаки съели как-то трех кур — и Епифан Жатой был высечен за это плетью, да к тому же надета на него рогатка. Мальчик дворовый, кормивший щенков, в один и тот же день был высечен троекратно за то, что одна из его собак ушибла себе ногу. Двадцать человек из псарей однажды были все пересечены «за недочет собак по шерстям». Да и все вообще псари чрезвычайно часто подвергались наказаниям из-за собак: за нечистоту, за худобу, за какое-либо повреждение их. А во время охоты в отъезжих полях несчастным псарям этим уже и никак нельзя было уберечься от наказаний: Измайлов придирался к самым ничтожным случаям, чтобы распорядиться тут по-своему. Вот наиболее резкие примеры тому: раз у мальчика-псаренка слетел картуз с головы, — и барин пересек за то поголовно всех бывших с ним тогда на охоте псарей своих. А то казак Иван Лапкин троекратно в один и тот же день был высечен за то, во-первых, что лошадь, на которой он был верхом, коснулась хвостом колеса барского экипажа, за то еще, что не заметил он, Лапкин, лежавшего в борозде пашни зайца, и за то наконец, что стоял с собаками слишком близко от лошадей, отчего лошади эти могли будто бы зашибить собак.

Конюхам, кучерам, коровникам, овчарам, птичникам, столярам, слесарям да и всем прочим рабочим людям хитровщинской господской усадьбы было отнюдь не легче: их, как и псарей, наказывали и часто и жестоко, наказывали и за провинности и без всякой их вины, — «лишь ради того, что барину что-нибудь не так показалось».

Так, другой Краснухин, Никифор, был высечен плетью за то, что у одной лошади его табуна не подстрижены были ноги у копыт. Так, Никифор Матвеев, многократно наказанный за нечистоту и худобу лошадей, что, однако, зависело не от небрежности его, а от большой грязи на конном дворе, а также и от недостатка корма, сечен был, наконец, казацкими плетями пять дней сряду,

отчего был болен тяжело и «в безумии находился» ровно четыре недели; но и этим не окончилось его мучение: три года он содержался в хитровщинской арестантской избе, откуда ежедневно посылали его на разные тяжелые работы. Степан Сало, конюх, тоже весьма часто подвергавшийся наказаниям, высечен был между прочим и за то, что продержал в поле свой табун более двух часов да еще за то, что ошибся в летах лошади, когда Измайлов спросил его об этом. Григорий Фетисов многократно был высечен и носил рогатку — все за то, что не успевал иногда вычистить всех верховых лошадей. Ермолай Макаров высечен был и за то также, что табун его шел на водопой кучею; а Макар Жаринов, тот самый, который так сильно пострадал за зайца, не побежавшего на садке¹⁴⁴, подвергся наказанию и за то, что Измайлову показалось, будто у Жаринова одно стремя короче другого и он косо сидит на лошади. Одна из лошадей, находившихся в заведовании Ивана Теплова, показалась Измайлову чересчур толстою; «ты соломою набил ее», — изволил отозваться барин и приказал отодрать Теплова плетью нещадно. Иван Гренадеров был наказан розгами и носил полтора года рогатку за то, что на постоялом дворе в селе Поливанове (Михайловского уезда) сгорело двести пятнадцать господских лошадей, которых перегоняли, под главным наблюдением Гренадера, из Деднова в Хитровщину. Тут Измайлов, как видно, прогневался за большой убыток от потери лошадей, которые в общей сложности, наверное, стоили тысяч тридцать, если не более; но вот случай, где, казалось бы, уж отнюдь не за что было гневаться: Иван Львовский и еще некоторые дворовые вздумали ходить на конюшню прямо, в какую-то калитку, избегая через то большой грязи на другой, туда же ведущей, дороге, и за это все, в числе с лишком двадцати человек, были разом пересечены. Захар Селичев, Семен Шилин, Родион Корнев, Иван Злокин, Емельян Драгунов были жестоко наказаны: первый за то, что у него лошади вспотели при езде; второй — что верховая лошадь вырвалась у него перед барским крыльцом и убежала; третий, — что когда ехал он с Измайловым, одна лошадь вспотела больше дру-

гих; четвертый,— что лошадь под ним спотыкнулась; пятый,— что барин увидал навоз на подстилке у одной коровы. У Якова Мурыгина, когда ему было двенадцать лет от роду и ходил он за птицею, павлин заболел,— за это Мурыгин был высечен розгами и «сослан», вместе с своей матерью, на поташный завод, где целый год содержался на хлебе и воде, а мать его пробыла на заводе ровно пять лет. Минай Соколов попал в рогатку за то, что у него один баран подошел к колодезю пить после других. Вышеупомянутый Родион Корнев возил однажды песок на господский двор; Измайлову показалось, что во время насыпки песку в телеги лошади не так стоят,— и за такую провинность Родион Корнев был высечен. Одновременно же с Корневым подвергся наказанию и Евсей Калужин: он тем провинился, что, когда отворял ворота лазарета, вырвало у него сильным порывом ветра одну половинку затвора и ударило ею лошадей. Калина Митрофанов, до семнадцати раз подвергшийся наказаниям и розгами и плетью, однажды был высечен за то, что Измайлов, зайдя в птичник, увидал трех молодых петухов сидящими вместе...

Яков Архипов служил двадцать пять лет дяде Измайлова да двадцать семь лет самому Измайлову и в течение этого времени выучил слесарному и кузнечному мастерству двадцать четыре человека. Но несмотря на усердную его службу, он подвергался много раз наказаниям. Однажды вздумалось заставить его, чтобы он делал какой-то экипаж; Яков Архипов, став на колени, отказывался от работы, говорил, что не может взяться за нее, так как не обучен экипажному мастерству,— и за это сечен был в два кнута. В другой раз барин ударил его ружейным стволом по уху; Архипов упал без чувств, замертво, но из уха потекла кровь, и это, может быть, спасло его от смерти. С того времени бедный слесарь оглох, и уже за глухоту свою опять-таки несколько раз был наказан.

Другой слесарь, Сергей Разинов, был высечен розгами, закован в ножные железа, попал в рогатку и велено было от барина ему и родному его брату не иметь постоянного жилища, а шататься по чужим углам,— и все

это не за собственную провинность, но за то, что сестра Разиновых как-то поссорилась с соседкой.

Третий слесарь, Михайло Векшин, был наказан тоже не за свою вину: дворовый человек Белоусов, зайдя к нему в мастерскую, нечаянно отрубил себе топором палец.

Рядом со слесарями стоят столяры. Случаи наказания их тоже характеристичны.

Вот, например, столяр Яков Кузнецов попал под наказание за отлучку в воскресный день, да и то с позволения старшего столяра, для свидания с двоюродным своим братом. А столяр Карп Калужин был высечен плетьюми и попал в рогатку за то, что в клобучковском господском доме Измайлов увидал щель на штучном (паркетном) полу, да притом он, Калужин, не успел отделать повозок к отъезду барина в Москву. Но, видно, Карп Калужин не отличался особенным терпением: как-то Измайлову очень не понравился взгляд его — за этот взгляд, должно быть, довольно выразительный, Калужин долго содержался под караулом... Третий столяр, Александр Векшин, был нещадно наказан розгами за два стекла, кем-то разбитые в его мастерской, а вслед за тем — уж неизвестно за что — надета была на него рогатка, которую и носил он три месяца.

Меркул Могилевцев надумался как-то попросить у барина рубашек себе; Ивану Могилевцеву пришла в голову тоже блажная мысль, да кстати еще захотел он попросить прощения матери своей, бывшей под барским гневом; Демид Жижин попросил дать ему вместо лаптей сапоги; Матвей Мохов донес, что наемный мастер неспособен к ткацкому мастерству; а Трофим Куликов не донес о том, что отец его завел себе лошадь, — и за такие провинности были они наказаны: кто розгами, кто плетьюми, кто рогаткою...

Недаром же Василий Пахринцев, малый молодой и, как видно, трусоватый, говорил в своем показании, что хотя он и не был еще наказан, однако боится, что наказания никак не минует...

Доля наиболее приближенных к генералу Измайлову дворовых людей, доля этого прыткого и ловкого лакей-

ства, как я выше заметил, была тоже весьма нелегкая, хотя в некоторых случаях своеобразная.

Камердинер Николай Птицын рассказывает в своих показаниях, что редкий день проходил для него без какого-нибудь наказания; иногда же доводилось ему быть наказанным и по несколько раз на день. Вообще в течение двенадцатилетней своей службы при Льве Дмитриевиче Измайлове он был сечен розгами и плетью по крайней мере сто раз, а таскания за волосы, пощечин и тому подобного Птицын уже не считает. И все это доставалось «за самые малости»: так, например, однажды Птицын был высечен за то, что Измайлову показалось, будто чехлы на мебели в гостиной смяты; а в другой раз он подвергся такому же наказанию за то, что собаки, приведенные в спальню по приказанию барина, наделали лапами следов на полу. Но между тем Измайлов, как заметно из некоторых фактов, довольно благоволил к камердинеру Птицыну,— так, иногда вступал он с ним в весьма интимные разговоры о важных, щекотливых предметах. Привожу один пример тому: как-то он спросил Птицына: «А как ты думаешь — кого мне сделать своим наследником, сына Дмитрия*, или же Приклонских?» — «Как же можно сравнить,— ответил откровенно Птицын.— Приклонские — дети родной сестры вашей, а Баранова нам родня. Как же ей управлять нами». — «Дурак! — возразил Измайлов,— ничего ты не понимаешь: Дмитрий ведь мне ближе...»

Другой камердинер, Устин Ключков, тоже пользовался некоторым доверием у Измайлова. Он был вроде главного распорядителя наказаниями: и сам обязан был сечь и наблюдать за сечением. В последнем случае Измайлов по большей части доверял Ключкову. В показании своем губернатору и губернскому предводителю Ключков говорит, что если бы ему всегда так поступать,

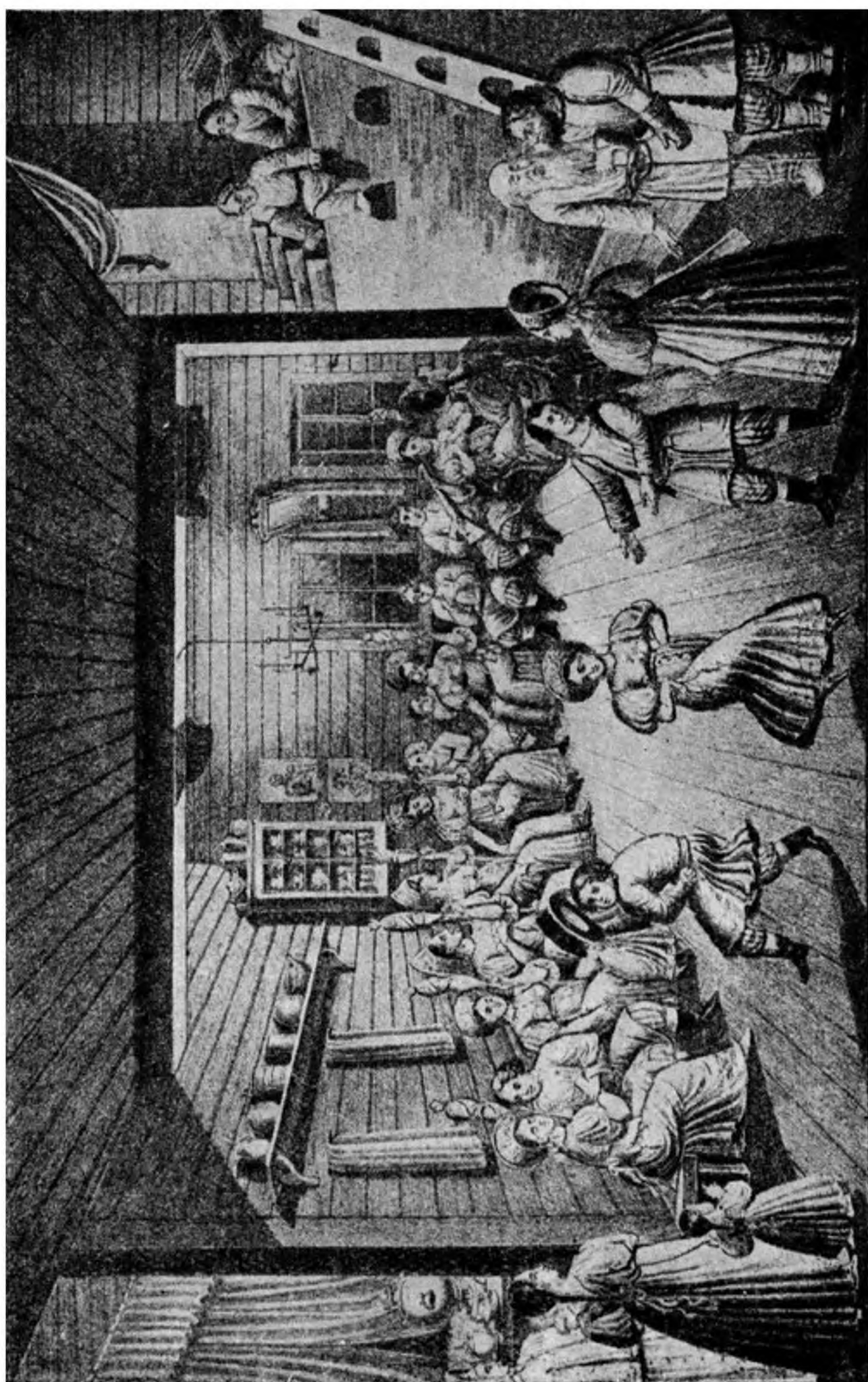
* Этот сын Дмитрий был от няньки дочерей Измайлова, Акулины Барановой. Крепостная она была или вольная — на это нет указаний. Но то известно, что она была женщина добрая, очень преданная своим питомцам, особенно же старшей, Анне Львовне. Побочный сын Измайлова Дмитрий отчасти наследовал отцу своему: по духовному завещанию Измайлова ему было предоставлено пятьсот тысяч ассигнациями и дом в Москве.

как приказывал генерал, то у всех подвергавшихся наказаниям спины гнили бы постоянно... Но распорядитель наказаний, несмотря на такое доверие к нему, и сам изведаль вполне общую долю хитровщинских дворовых: не было такого года, в который он не подвергся бы наказанию по крайней мере раз до семи, и большей частью все безвинно; так, например, однажды он был высечен за то, что истопник начал закрывать ставни в доме не с тех комнат, в которые уже поданы были свечи.

Приказчик Иван Овсянкин, — чуть ли не самый доверенный человек у Измайлова, когда он поселился окончательно в Хитровщине, — все-таки вдоволь натерпелся: три раза носил он рогатку, а телесно наказан был много раз. Так, например, троекратно в один и тот же день секли его в гостиной за то, что не успел он всю рожь обмолотить до весны. Любопытен следующий случай, относящийся к концу 1825 года: присягали государю цесаревичу Константину Павловичу; Овсянкин и пошел для присяги в церковь, но без спроса у барина, и за это, по возвращении домой, тотчас же был высечен плетью. Но Овсянкину доставалось и совсем беспричинно: например, какой-то конюх донес барину, что староста деревни Клобучков пьянствовал, — так за то, что Овсянкин не доложил о пьянстве старосты, про которое, впрочем, он ничего и не знал, бит он был по зубам, таскан за волосы по полу, и — мало того — высечен розгами.

Управляющий московским домом Измайлова, Иван Ахахлин, на которого преданный барину старик Копылов указывал в вятский пример того, как щедро награждается у Измайлова ревностная и верная служба (он и действительно получал больше всех жалованья), был бит в два приема палками за то, — как показал он фон Трейблуту и Мансурову, — что «ломберный столик для игры был оборочен задом наперед»; а в другой раз он не скоро вышел в сад для рытья пруда, и за это был исколочен палками так жестоко, что понадобилось пустить ему кровь...

Здесь кстати будет опять упомянуть о Семене Краснухине, этом директоре доморощенной измайловской канцелярии, настолько пользовавшемся у Измайлова



В девичьей.
С литографии неизвестного художника

доверием, что в иных случаях он заведовал во время отсутствия барина его имением.

Я уже рассказывал, что Семена Краснухина, как не-ловкого псаря, не раз секли и били нещадно; но и по должности «директора канцелярии» ему тяжело и больно доставалось. Вот два разительные примера: в 1812 году Семен Краснухин однажды переписывал отношение начальника Рязанского ополчения генерала Измайлова к рязанскому же гражданскому губернатору Бухарину, которое начиналось следующими словами, написанными в черновой в одну строку: «Милостивый государь мой, Иван Яковлевич!» Горемычному писарю вздумалось, на беду свою, отставить в другую строку: «Иван Яковлевич!» — и за это он был наказан в генеральской гостиной палками так, что вся спина у него посинела. В 1815 году, при возвращении Рязанского ополчения из заграницы, Семен Краснухин, находившийся при Измайлове во все время заграничного его похода, опять был высечен жестоко плетью и попал еще в рогатку за то, что поставил генеральскую канцелярию на ночлег не на то место, куда барину желалось.

Отправляясь в заграничный поход с ополчением, генерал Измайлов никак не хотел забыть, что он, прежде всего, русский помещик, а потому и не покинул дома привычек своих относительно обращения с крепостными своими людьми, находившимися тогда с ним. Так, во время похода конюх Иван Львовский каждую ночь в течение пяти месяцев сряду содержался в железах. Так и лакей Пантелей Матчин хватил тогда горя: раз высекли его плетью по той причине, что не поспел он повесить на лошадей торбы с овсом¹⁴⁵, а в другой раз за то, что возчики из поляков украли несколько мешков с овсом, что сочтено было за недосмотр со стороны Матчина, между тем как ему и досмотреть тут нельзя было, ибо он стоял тогда на запятках у генеральской кареты...

Вот и этот несчастный лакей Пантелей Матчин: на беду свою, он был в числе самых приближенных к Измайлову дворовых людей. Взбалмошный барин как-то привык к его службе и всюду таскал его за собою — и всюду Матчин претерпевал жестокие истязания. Так бы-

ло и во время поездки Измайлова на Кавказские минеральные воды. Тут вышел случай, тоже указывающий, что Измайлов нигде не стеснялся со своим самоуправством. На одной станции ему дали почтовых лошадей, как видно, не очень хороших: на половине дороги, от ошибкой езды, они стали. Побой ямщикам ничуть не помогли, и барин послал за свежими лошадьми в ближайшую татарскую деревню Пантелея Матчина и одного из ямщиков. Татары побоялись не исполнить требования, предъявленного от русского генерала, лошадей они дали, однако не совсем скоро, или по крайней мере так показалось генералу. За это самое бедный Матчин был нещадно высечен тут же, на месте... Но интересен и еще случай, послуживший причиной наказания Матчина: раз у Измайлова были гости; официант разносил пунш; но один из гостей, егорьевский помещик Федор Иванович де Медем, не взял стакана и вышел в другую комнату,— и за то, что Матчин не удержал де Медема, он так жестоко был избит палками, что в тот же день должны были отправить его в лазарет, где и пустили ему тогда же кровь...

Лакей Николай Бояринов, лакей Андрей Соколов, казаки: Иван Рыбалевский, Павел Самойлов, Николай Сурков — все люди, приближенные к Измайлову, подвергались наказаниям весьма часто, особенно же казаки из нелюбимых Измайловым дедновцев. И престранные иногда поводы были для наказаний вышеупомянутых людей. Так, первый из них был высечен за то, что потакнул земляку своему, дедновскому бурмистру, не больно бил его по щекам, да еще за то, что, насладившись чересчур красной своей жизнью в измайловских казаках, попросился в солдаты; четвертый — за то, что получил однажды от воспитывавшейся в барском доме незаконнорожденной дочери помещика Богданова записочку, в которой она просила его дать ей каких-нибудь книжек для прочтения; пятый, наконец, был посажен на стенную цепь за то, что на зов барина не скоро явился, да еще носил он трое суток ножные железа за нюханье табаку...

Замечательное дело: эти приближенные к Измайлову люди оказывались, в глазах его, так часто виноватыми;

зачем же держал он их при себе постоянно? Почему не заменял их другими из своих крепостных, которых у него было так много, или же, что всего было бы лучше, наемными? Из дела видно, что Измайлов давно опасался чего-то от своих дворовых; да и еще бы не так: ведь он должен же был сознавать, что все эти люди, беспрестанно жестоко им наказываемые, не могут не питать к нему ненависти. Поэтому-то, вероятно, жили у него в доме постоянно татарские князья и дворяне-приживальцы, а кроме них, он имел много и наемной прислуги (например, повара, кучера, егеря, нескольких псарей и проч.). И тем не менее вокруг него кишела толпа своих крепостных дворовых, которые во всем его обманывали и обкрадывали, которых он презирал и ненавидел, от которых ждал беспрестанно покушений на свою жизнь... Тут, несомненно, действовала та привычка его приказывать и наказывать, про которую я выше упоминал: он мог применять ее вполне только к своим крепостным, поэтому-то, должно быть, он и не отпускал от себя этих несчастных, даже в тех случаях, когда они действительно и очень оказывались перед ним виновными, что-таки нередко бывало. По крайней мере я знаю только двоих провинившихся из приближенных к нему людей, которых он окончательно прогнал с глаз своих: это, во-первых, Пармен Храбров, а во-вторых, камердинер Андрей Гуцин, который подвергся сильнейшему барскому гневу за то лишь будто бы, что мало окурил фланель, которою завертывали Измайлову ноги во время припадков подагры; по показаниям других дворовых, этот Гуцин за вышеуказанную провинность свою пробыл двенадцать дней в ножных железах, затем был обращен в крестьяне, и, сверх того, Измайлов определил: при первом же рекрутском наборе отдать Гуцина, если будет годен, в солдаты, если же не годится, — сослать в Сибирь на поселение...

Но довольно, кажется, обо всех этих наказаниях дворовых у генерала Измайлова... Я привел, без особенного выбора, только некоторые из наиболее выдающихся случаев, а если бы перечислить всех наказанных людей, да еще рассказывать, за что именно эти несчастные были

наказаны,— долго бы не пришлось мне кончить. Впрочем, упомяну и еще про один факт, указывающий, что жестокий, неугомонный произвол Измайлова распространялся и не на одних только его крепостных.

Проживал в хитровщинской господской усадьбе, вероятно, для потехи Измайлову, в качестве домашнего у него шута, отставной копиист Воронихин, человек уже очень пожилой, который и обзавелся тут домиком, имел на господском корму своих коров, свиней, овец. Как и чем он потешал взбалмошного генерала, о том неизвестно, но то известно, что относительно дисциплинарной системы, бывшей в употреблении у Измайлова, копиист Воронихин был сравнен, до некоторой степени, с дворовыми людьми; так, однажды за пьянство он был наказан цепью: его приковали к стене, и ночью он чуть было не лишился жизни, оттого что цепь была слишком коротка. Но так бывало не с одним копиистом Воронихиным. Вольнонаемный егерь Баранов, рассказавший последним следователям про наказание Воронихина, добавил, что «у генерала Измайлова и лучшие вольные люди на цепи сиживали, что он даже и господ секал».

Здесь следует рассказать с некоторою подробностью об одном орудии наказания, бывшем особенно часто в ходу у генерала Измайлова, т. е. о рогатках. Их было в хитровщинской господской усадьбе сто восемьдесят шесть. Иные из них были весом в пять, шесть фунтов, а некоторые — в десять, пятнадцать и даже в двадцать фунтов, все — о шести рогах, а каждый рог был до шести вершков¹⁴⁶ длиною. Эти рогатки, когда надевались на караемых ими, запирались на шее висячими замками или же просто заклепывались на наковальне. Постичь невозможно даже то, как надевались и укреплялись на шее,— особенно же, как заклепывались на наковальне,— эти страшные железные, длиннорогие, тяжелые орудия наказания... А между тем, несомненно, по весьма многим свидетельствам, не говоря уже о самом факте их нахождения в хитровщинской усадьбе, что измайловские крестьяне и дворовые, как мужчины, так и женщины, действительно носили рогатки по месяцу, по полугоду, даже по году. Есть тоже показание, что один из дворо-

вых (отец Николая Копылова) ходил будто бы в рогатке сряду *восемь годов*. Из многих тоже показаний видно, что все наказывавшиеся рогатками страдали чрезвычайно от бессонницы... Надо притом заметить, что дворовым людям было гораздо тяжелее от рогаток, чем крестьянам: дворовые были постоянно на глазах у барина, и если попадали в рогатки, то уж никак не могли от них отделаться без барского прощения; но крестьяне иногда сбивали их с себя, да уж кстати и истребляли,— отчего, как говорит в своем показании слесарь Сандунов, очень часто приходилось делать новые рогатки. И еще замечательно: рогатки надевались на провинившегося не только по воле самого Измайлова, но и по распоряжениям его приказчиков, его главного псаря, его главного повара, так называемого кухмистра и проч.

Х

После всего рассказанного можно легко себе представить, какова была нравственность измайловских дворовых, при этом страшном обращении с ними, при этом постоянном и чрезвычайном унижении человеческого их достоинства.

В «объяснении» своем, данном следователю Трофимову (по всей вероятности, составленном самим же Трофимовым), генерал Измайлов так говорит о наказаниях, какие употреблялись у него в отношении дворовых людей:

«...Хотя люди эти наказывались телесно и бывали на некоторых рогатки и железа, но могут ли сии наказания, или употребление железных вещей, назваться строгими и истязательными, когда первые (т. е. телесные наказания) производились человеколюбиво и соответственно винам каждого, для единого только страха, а последние (т. е. рогатки и другие «железные вещи»), по легкости их, служили только к воздержанию от пьянства, буйства, побегов и прочих поступков,— и, следовательно, [налагались] совсем не безвинно? Да сего и по здравому рассудку быть не могло, ибо не должно быть действия без причины... Я предоставляю всякому на рассуждение: где же в государстве не приемлется исправительных и побу-

дительных мер к повиновению каждого установленным властям, обузданию пороков, к пресечению разврата, молодости свойственного, и — словом сказать, — к поселению во всех, колико возможно, доброй нравственности. И неужели сии меры, во всем согласные с действиями моими, без которых, при таком большом количестве людей, какое находится у меня во дворе, и обойтись никак невозможно, суть бесчеловечные истязания, как наименовали сим изречением клеветники, пославшие на меня всеподданнейшую просьбу...»

Итак, генерал Измайлов, по собственному его мнению, обходился человеколюбиво, чисто отечески со своими крепостными, дворовыми и крестьянами, даже больше того, — что он действовал в отношении подвластного ему люда, имея постоянно в виду чуть-чуть не государственные цели. Он наказывал, — это правда, — он наказывал всячески, т. е. плетью, розгами, палками (недаром он умалчивает про орудия наказаний), у него употреблялись и так называемые «железные вещи», уже давно законом воспрещенные, но ведь все это он делал «для обуздания пороков, для пресечения разврата, молодости свойственного, для поселения во всех, колико возможно, доброй нравственности...» И выходит, что этот генерал Измайлов, живущий, после отставки своей от государственной жизни, у себя в имении чисто патриархально, на русский лад, — замечательный общественный деятель, которому и правительство, и общество обязаны величайшей благодарностью... Невольно охватывает вас чувство сильнейшего негодования при чтении этого красноречивого произведения приказного дельца того времени.

Плоды великолепные принесла измайловская система обуздания и пресечения пороков, поселения во всех доброй нравственности. В просмотренном мною деле беспрестанно встречаются указания на изветы, доносы, клеветы хитровщинских дворовых людей друг на друга. А пьянство, воровство, обманы всяческие, разврат были развиты между этими людьми до чрезвычайной степени.

Но не одни дико произвольные, бесчеловечные «исправительные и побудительные» меры, не одни наказа-

ния довели эту громадную дворню до такого состояния. Сам генерал Измайлов как бы сознательно и систематически развращал ее. Это — ничуть не натянутое заключение с моей стороны: есть факты, неминуемо к нему приводящие.

Во-первых, измайловским дворовым людям положительно и строжайше было запрещено от барина вступать в браки.

Во время похода генерала Измайлова с Рязанским ополчением за границу управляла имением его, как я уже упоминал выше, г-жа Д-ва. Вероятно, из ревности в иных случаях, а то уж бог весть по каким расчетам, она переженила в Хитровщине некоторых из дворовых людей. Так, например, дозволила она Николаю Лебедеву жениться на дворовой девушке. По возвращении Измайлова из похода Николай Лебедев, в наказание за этот брак, был отослан в работу на винокуренный завод, а жена его отправлена на завод поташный. Через три месяца после того генерал изволил простить Лебедевым их великую провинность, но с тем вместе приказчик объявил мужу строжайшее приказание барина, чтобы он отнюдь не имел свиданий с женою. А, как видно, Лебедевы любили друг друга: они переступили-таки строжайшее барское приказание и иногда видались по ночам, и, конечно, в такой мерзостной дворне, какова была хитровщинская, нашлись люди, донесшие об этом, — несчастный муж за такое новое преступление подвергся жесточайшему наказанию... Другой брак, совершенный во время же заграничного похода Измайлова, еще замечательнее: по распоряжению г-жи Д-вой дворовая девушка была выдана насильно замуж за отъявленного пьяницу, конюха Шерстнева, который и сам не очень-то хотел жениться; по окончании брачного обряда Шерстневы, как только вышли из церкви, тотчас же разошлись в разные стороны. Шерстнева чувствовала к мужу глубокое отвращение; она сама заявила, при следствии, что по этому именно отвращению и теперь никак не может жить с мужем. Тем не менее, однако, Измайлов и Шерстневых наказал за брак: мужа сослал на винокуренный завод, а

жену — на поташный, где они и оставались постоянно, не достаиваясь барского прощения.

Во время производства последнего следствия незаконнорожденных в хитровщинской усадьбе оказалось с лишком *сто* человек, что по отношению к общему числу хитровщинских дворовых (около пятисот человек обоего пола) представляло чрезвычайно значительную цифру. Надо, впрочем, заметить, к чести измайловских дворовых, что некоторые из них, и преимущественно из дворовых пролетариев, весьма тяготились тем, что чрез недозволение жениться были доведены они до разврата. Только аристократы дворовые, должно быть, были довольны этим всеобщим развратом в дворне: они, подобно своему барину, имели у себя любовниц и нередко вместе с ними угощались из барского погреба.

Даже крестьяне генерала Измайлова могли вступать в браки только по особым от него дозволениям. Но дозволения эти давались очень редко, а оттого и в деревнях измайловских сильно был развит разврат.

Измайлов — повторяю — как будто сознательно, преднамеренно добивался того, чтобы так именно и шли у него дела в дворне и в деревнях: во-первых, он нисколько и никогда не взыскивал за блудные связи своих дворовых, если только не были замешаны тут те несчастные женщины, которые служили для его собственных барских наслаждений, а, во-вторых, он даже поощрял разврат. По крайней мере вот случай, который разительно подтверждает последнее заключение: в то самое время, когда только что началось дело Измайлова с его дворовыми людьми, вытребована была в село Хитровщину и размещена по дворовым и крестьянским избам рота Ярославского пехотного полка; а вскоре затем замужняя бабенка, крестьянка, свела связь с одним из солдат, да к тому же стала и приворовывать в своей семье: так, однажды украла она у своих домашних два холста, которые и передала любовнику-солдату; домашние не стерпели, наконец пожаловались барину; но барин дал бабенке золотой, с таким наставлением, чтобы часть из этого золотого употребила она на расплату за покраденные ею холсты, а затем остальные деньги взяла

бы себе,— должно быть, в виде награды за хорошее поведение в семье.

Впрочем, у Измайлова была как будто и экономическая причина для запрещения дворовым людям жениться: он говаривал, что «коли мне переженить всю эту мошь (т. е. дворовых), так она съест меня совсем». Само собою разумеется, что, как умный человек, он не должен бы был сам верить такой причине: ведь дворовые у него хоть и не женились, а все-таки обильно плодились; да и вольно же ему было держать столько этой «моли», дворовых.

Что же касается до недозволения собственно крестьянам жениться, то для этого не было уже никакого основания. Напротив, не говоря уже о нравственном вреде, через это самое недозволение наносился крестьянам весьма существенный вред и в экономическом отношении. Известно, что в крестьянском семейном быту браки совершаются при твердом соображении рабочих сил семьи; женщина, вступающая через брак в крестьянскую семью, увеличивает ее силы для подлежащего ей труда; без браков же рабочие силы в семействах измайловских крестьян должны были неминуемо сокращаться. Но уж таков был барский произвол Измайлова, руководимый тоже, по всей вероятности, и особенным развратным расчетом...

Предположение, что Измайлов как бы сознательно, преднамеренно развращал свою дворню, подтверждается и еще следующим, особо характеристическим обстоятельством.

Он не хотел, чтобы его дворовые люди ходили в церковь, чтобы они соблюдали посты, чтобы бывали на исповеди и у Святого причастия, и это нежелание его было равнозначительно прямому запрещению. Камердинеры и казаки, например, постоянно слышали от него угрозы, что если пойдут в церковь или же будут они соблюдать посты, то получают за это плети. Разумеется, что такие слова барина, всегда скорого на расправу, были хорошо известны и всей дворне. При следствии, даже в то время, как оно производилось чинами земской полиции и советником Трофимовым, многие дворовые люди между

прочими жалобами на барина не забывали заявить и то, что нет им воли ходить в церковь и исполнять установленные церковными правилами обязанности, хотя, впрочем, они и не говорили, чтобы было на это прямое запрещение от Измайлова. Оттого бо́льшая часть дворовых людей хитровщинской усадьбы на обыкновенный форменный вопрос следователей: «бывали ли они на исповеди и у Святого причастия», — отвечали, обыкновенно, что не бывали весьма подолгу, иногда даже десятки лет. Вообще они объясняли это как тем, что боялись исполнением христианских обязанностей навлечь на себя гнев барина, ибо им было известно, что барин грозил своим приближенным людям наказаниями за хождение в церковь, так и тем еще, что для всего этого, по занятиям своим в господской усадьбе, они вовсе не имели времени*. Надо при этом заметить, что сам Измайлов в церкви никогда не бывал, а также не исповедывался и не приобщался Святых Тайн, вплоть до переезда своего, в 1827 году, на житье в горецкую свою усадьбу.

Было ли все это у Измайлова следствием вольнодумства или же следствием крайней ожесточенности в порочной жизни, определить этого я не возьмусь. Впрочем, кажется, что второе предположение будет вернее. Если бы Измайлов был отъявленным вольнодумцем, так не было бы того, на что достоверно указывают его камердинеры и священно-церковнослужители села Хитровщины: по словам камердинеров, Измайлов, хоть и редко и мало, а все-таки иногда молился (обыкновенно по утрам); по словам же лиц церковного причта, в доме у него под большие праздники производилось богослужение. Вольнодумство тогдашнего времени у многих лиц высшего общества было почерпнуто из французских философских сочинений XVIII столетия; но генерал Измайлов, как показывали последним следователям приближенные его люди, никогда и ничего не читал, да и книг у него в доме вовсе не было. Стало быть, он и в

* По документам церковным, с 1816 по 1827 год, показано приобщавшимися из общего числа дворовых в Хитровщине только 136 человек (выходит человек 12 на год).

отношении религиозном просто-напросто капризничал и самодурствовал.

И самодурство его не знало тут пределов. Так, дворовые люди указали последним следователям на один особенно резкий пример его неистового, безумного богохульства.

Однажды, объезжая господские поля, Измайлов заметил, что один молодой крестьянин, бывший тогда на барщинной работе, кормит лошадь свою овсом, и, почему-то вообразив, что этот овес непременно господский, что он украден тем крестьянином, он тотчас же приказал надеть на бедного мужика рогатку. Когда возвращался он после этого домой, подошел к нему отец наказанного парня и стал просить о помиловании. Крестьянин этот клялся, что овес, из-за которого стало дело, действительно, его собственный; наконец он стал умолять о прощении сына, *ради Христа*. На последнюю мольбу Измайлов выразился так богохульно, что я считаю невозможным привести здесь его гнусные слова...

Этот случай произвел чрезвычайное впечатление на дворовых, тут находившихся, и оно осталось в памяти их в особой, несколько мистической форме. Дворовые показывают, что лишь только произнес генерал свои богохульные слова, как весь шестерик лошадей его экипажа, лошадей отлично выездженных, обыкновенно очень смирных и управляемых сильным, знающим свое дело кучером, внезапно взбесился и начал страшно бить, что насилу могли остановить его...

Состоявшие на барщине крестьяне измайловских деревень тоже очень редко ходили в церковь и подолгу не бывали на исповеди и у Святого причастия; но оттого, впрочем, что каждый божий день, не исключая и праздников, были гоняемы на барщину.

XI

Тем более жаловались на невозможность ходить в церковь дворовые девушки и женщины.

Некоторые из дворовых женщин, особенно же работавшие на суконной фабрике или на поташном заво-

де, не ходили к обедне, по их словам, и оттого также, что не имели хоть сколько-нибудь приличной одежды. Девушки же, находившиеся в услужении при дочерях Измайлова и при нем самом, вовсе не могли бывать в церкви — уже по положительному запрещению барина. Он говаривал обыкновенно, что «они отправляются туда не богу молиться, а любовников себе приискивать». А между тем этот запрет был для них, как видно, чрезвычайно тягостен: недаром говорили они следователю Трофимову, что служить своему барину, несмотря на все жестокости и неистовства его с ними, они отнюдь не отрекаются, лишь бы дозволено было им хоть изредка ходить в церковь да видаться с родными.

Истинно страшна была участь дворовых девушек, находившихся при господском доме в Хитровщине. Самым насильственным, наглым, варварским, подлым образом губились тут их молодость, их красота, их честь, их человеческое достоинство, даже их здоровье.

И днем и ночью все они были на замке. В окна их комнат были вставлены решетки. Несчастные эти девушки выпускались из этого своего терема или, лучше сказать, из постоянной своей тюрьмы, только для недолговременной прогулки в барском саду или же для поездки в наглухо закрытых фургонах в баню. С самыми близкими родными, не только что с братьями и сестрами, но даже и с родителями, не дозволялось им иметь свиданий. Бывали случаи, что дворовые люди, проходившие мимо их окон и поклонившиеся им издали, наказывались за это жестоко.

Многие из этих девушек, — их было всего тридцать, число же это, как постоянный комплект, никогда не изменялось, хотя лица, его составлявшие, переменялись весьма часто, — поступали в барский дом с самого малолетства, надо думать, потому, что обещали быть в свое время красавицами. Почти все они на шестнадцатом году, и даже раньше, попадали в барские наложницы, — всегда исподневольнo, а нередко и посредством насилия.

Но и после того в этом положении наложниц, даже когда Измайлов привыкал к иным из них в течение нескольких лет, он ничуть не щадил их. За малейшую

провинность, за провинность, значение и степень которой определялись жестокой прихотью, бедные девушки подвергались, наравне с мужским населением хитровщинской дворни, наказаниям не только розгами, но и плетьюми, и палками, и рогатками.

Часто и вырывались они из своего мрачного, страшного терема, но вместе с тем попадали в положение чуть ли еще не более бедственное: их «ссылали» на суконную фабрику или на поташный завод, где они терпели вдоволь и холоду и голоду, где даже не имели они достаточной одежды. И такому бедственному концу своей горькой доли подвергались они за то, например, что попидались тайком с родственниками, или же за то, что на лукавый вопрос барина: «не желают ли они совсем от него, домой?» — простодушно отвечали, что «очень того желают». Те же из этих несчастных, которые утрачивали свою красоту или же постоянно болели, отсылались в богадельню, которая, как выше было показано, стоила тоже всякой тюрьмы.

Считаю нужным привести здесь несколько наиболее разительных примеров участи этих заключенниц хитровщинской господской усадьбы, обойдя, впрочем, многие подробности, особенно же касающиеся начала их грустной «карьеры».

Любовь Каменская, родная сестра Пармена Храброва, с самого рождения своего находилась в барском доме. На тринадцатом году она попала в наложницы... а ровно через два года, после того, неизвестно по какой причине, была отправлена в прачечную, где провела семь лет; но и оттуда сослали ее — кормить свиней. Каменская однажды была высечена при целой сходке, в манеже, плетьюми, и так жестоко, что была поднята замертво, а провинилась она тогда тем, что ходила в гости к повару; в другой же раз двое суток она содержалась на стенной цепи, уже не за свою вину, а за то собственно, что генерал Измайлов прогневался на братьев ее, Храбровых, начавших иск свой о свободе; тут же не дозволено было никого к ней пускать, даже малого ее ребенка.

Авдотья Чернышева четыре года была наложницею, попавши в это положение на шестнадцатом году... Вме-



Утро помещика.

С акварели неизвестного художника

сте с прочими девушками и она содержалась за замками и решетками; но «по слабому смотрению в тогдашнее время» сошлась она с каким-то дворовым человеком и забеременела от него. За это Измайлов сослал ее на поташный завод. Через несколько времени она попросилась жить у себя дома и за такую просьбу была наказана палками, а в то же время надеты были ей на ноги колодки¹⁴⁷, с которыми и ходила она на работу два или три дня.

Акулина Горохова на пятнадцатом году стала наложницею... Впрочем, Измайлов тотчас же отпустил было ее домой. На семнадцатом году назначили ее в прачечную. Как-то Измайлов собирался ехать в Москву и брал Го-

рохову как прачку с собою; тогда она попросила, чтобы барин позволил ей взять ее ребенка или же приказал по крайней мере, чтобы в Хитровщине выдавали ему на прокормление молока; за эту просьбу попала она в рогатку и сослана была на поташный завод. А то, еще раз, носила она рогатку целые полгода и работала на кирпичном заводе за то, что ходила по лугу с двоюродным своим братом.

Лукерья Горшкова и Анна Разинова, родные сестры, по временам были принуждены вместе переносить свой позор. Что это нелегко им было, доказывает то именно, что, хоть и порознь спрошенные, они обе не умолчали о таком факте... Обе они подвергались тоже разным наказаниям, а между прочим были высечены арапником и за то, что хаживали пряхь к г-же Д-вой, любовнице Измайлова. Наконец, Лукерья Горшкова попала на суконную фабрику, а сестра ее Анна Разинова, видно, менее выносливая, — в богадельню.

Несколько легче была участь других двух родных сестер: Марьи Кузнецовой и Катерины Орловой.

Марья Кузнецова, мать Николая Нагаева, о котором выше было рассказано довольно подробно, семь лет сряду была наложницею Измайлова и, по ее словам, во все это время пользовалась *милостями барскими*: получала жалованье, имела прислугу. Но, заметив, наконец, что барин уже не хочет иметь ее наложницею, она попросила выдать ее замуж. Измайлов было согласился и предложил ей в мужья старого человека; но она стала просить выдать ее за «ровню» — и он отказал. Тогда она свела связь с дворовым человеком. Узнав об этом, Измайлов очень прогневался, собственноручно высек Кузнецову и отправил ее в село Дедново, где три с половиною месяца содержалась она под караулом, а затем была сослана в деревню Кудашеву, где и жила постоянно со своей матерью, получая месячную дачу и не неся притом никакой работы.

Сестра ее, Катерина Орлова, три года была наложницею барина, а потом была выдана замуж беременною.

Несомненно, что обе эти сестры, перед другими девушками хитровщинской господской усадьбы, могли ка-

заться счастливыми уже потому, что участь их окончилась в крестьянском семействе.

Авдотья Коноплева, Наталья Загрядская, Ольга Шелупенкова, Аграфена Панская — все наложницы измайловские, неоднократно подвергались наказаниям. Так, первая была наказана между прочим за то, что раз не скоро велела закладывать лошадей на поездку девушкам в баню, а в другой раз за то, что без дозволения барина подала сестре его, Приклонской, яблоко, а кроме того, таскана была за волосы за нежелание идти к столу барскому, когда барин говорил тут непристойные речи. Вторая сечена была раз за то, что дождем наплескало в открытое окно барышнинных комнат, а в другой раз за то, что «не пошла к барину для его прихотливых связей». Третья была таскана, как Авдотья Коноплева, за то, что не шла в «казначейскую» (буфет при столовой) за кушаньем для барышень, в то время, как барин, сидя с гостями за столом, говорил неблагопристойные речи. А четвертая была *бита палками* за то, что на вопрос Измайлова, когда он только что возвратился из заграничного похода: «хочется ли ей домой» — отвечала, что «очень того желает».

Марья Ахахлина, взятая в господский дом десяти лет от роду, поступила в барские наложницы на пятнадцатом году. Об участи Ахахлиной известна одна только подробность: как-то заболела она и ее отправили в хитровщинский лазарет, а в то же время мать ее была сослана в деревню Клобучки, где, по приказу барина, все имущество обеих Ахахлиных, матери и дочери, было выброшено из избы, а вся их скотина была отнята и выгнана в поле. За что именно последовало такое разорение хозяйства бедных женщин, о том в показаниях дворовых не объясняется.

Но особенно страшна участь двух сестер Хомяковых и Нимфодоры Хорошевой.

Старшая из Хомяковых, Афросинья, — та самая *игрица*, которая великодушным заступничеством своим спасла жизнь внука крестьянина деревни Кашиной, Евдокима Денисова, была взята в господский дом тринадцати лет от роду, и через месяц после того Измайлов растлил

ее насильно: «она не хотела идти к нему для его прихотей, но среди бела дня притащили ее к барину из комнат его дочерей двое лакеев, зажав ей рот и избив по дороге плетью». Четырнадцать лет сряду Афросинья Хомякова была наложницею Измайлова и в этом положении, пользуясь всем барским фавором, ознакомилась-таки и со всеми прелестями жизни в хитровщинской господской усадьбе. Многократно была сечена она розгами и плетью, а раз целую неделю носила рогатку. Наконец надоела ей, как видно, до нестерпимости эта жизнь, дикая смесь непрерывного разврата и разгула со всяческими истязаниями, с величайшим унижением человеческого достоинства, и она, по словам ее, вместе с прочими девушками, а есть основание полагать, что во главе их, обратилась к барину с настойчивою просьбою о дозволении их родственникам видаться с ними, хоть сквозь решетку окна. За это *преступление* Афросинья тотчас же была наказана пятьюдесятью ударами плети, затем сослана на поташный завод и употреблена во всякие тяжкие работы; при этом она получала в пищу один только хлеб, а одежды уже вовсе ей не выдавались. На поташном заводе она должна была, вместе с родной своей сестрою Марьей, каждодневно принести сто ушатов воды, столько же коробов сухой золы и более пятидесяти носилок золы из чанов. Эта тяжелая, поистине египетская работа, была до того не по силам сестрам Хомяковым, что весьма часто делались с ними обмороки. Но и в таком страшном положении Афросинья, как видно, не совсем еще утратила жизненные силы,— не даром же в свое время была она первою из измайловских *игриц*: молодость взяла свое, и несчастная женщина, на большую еще беду себе, свела связь с проживавшим в хитровщинской усадьбе вольным человеком. Узнав об этом, генерал Измайлов велел наказать ее ста ударами плетей. Тогда же и за то же преступление Афросиньи мать ее была сослана в деревню, а третья сестра, должно быть, некрасивая лицом или же совсем еще малолетняя, взята была на суконную фабрику. Однажды Измайлов осматривал поташный завод. На ту пору Афросинья Хомякова была больна и не находилась на работе. Измайлов

приказал немедленно притащить ее, оттащить за волосы и, невзирая на действительную ее болезнь, заставить ее работать. Между прочим Афросинья Хомякова показала при следствии, что мужчины и женщины, находившиеся на поташном заводе под наказанием, осенью, в холодное время посылались чистить реку, в которой должны были обнажаться до пояса. На эту работу нередко выезжал смотреть сам барин. Вид всех этих несчастных доставлял ему много, должно быть, удовольствия: смотря на них, Измайлов обыкновенно смеялся. Афросинья же показывает, что когда она еще была наложницею барина, «по окончании прихотей своих», он отсылал ее от себя иногда с насмешками и ругательствами. Надо заметить при этом, что когда шло следствие советника Трофимова, при всей уверенности в направлении его, Измайлов все-таки не приказал допускать к допросу Афросинью Хомякову: он опасался, «что она уже слишком много наболтает».

Сестра Афросиньи Хомяковой, Марья, была взята в господский дом на тринадцатом же году, а через год после того сделалась наложницею Измайлова, конечно, не по воле своей. Она тоже вдоволь натерпелась: так, однажды высекли ее плетью за то, что покраснела от срамных слов барина, а в другой раз подверглась такому же наказанию за то, что в окно дождем набрызгало. Пребывание ее в измайловском гареме окончилось вследствие особенно замечательного случая: воспитывавшаяся в доме Измайлова дворянка Ольга Богданова написала тайком письмо к своей матери; Марье Хомяковой поставлено было в вину, что она не донесла об этом, она была наказана двадцатью пятью ударами плети и затем тотчас же сослана в тяжелые работы. Тут свела она связь с дворовым человеком и сделалась беременною; узнав об этом, Измайлов приказал надеть на нее рогатку. На другой день после того он осматривал по обыкновению свои заведения и увидел Марью Хомякову в рогатке; но ему показалось, что рогатка эта слишком легка, — в ней было весу только пять фунтов. — «Надо дать ей такую, от которой она издохла бы в три дня», — изволил промолвить Измайлов, и на несчастную немед-

ленно же надели рогатку весом в десять с четвертью фунтов. И ровно три месяца носила Марья Хомякова эту мучительную рогатку, которая стерла ей шею до крови. Брат Афросиньи и Марьи Хомяковых, Федор Хомяков, иногда приносил им из дому обедать; об этом донесли барину — Федора Хомякова высекли розгами и сослали пасти овец.

Нимфодора Фритонова Хорошевская («Нимфа», как называли ее в своих показаниях дворовые люди, вероятно, по примеру барина) родилась в то время, как мать ее содержалась в барском доме взаперти, за решетками... Измайлов растлил ее четырнадцать лет от роду. Она напоминала ему при этом, что крещена его матерью; страшно циническое, мерзостное возражение его Нимфе невозможно здесь привести... В тот же день Нимфу опять позвали в барскую спальню. Измайлов стал допрашивать ее: кто виноват в том, что он не нашел ее девственною. Подробности объяснений бедной девушки о ее невинности, о том, что делал с нею сам барин, когда она была еще ребенком лет восьми-девяти (все это подробно изложено в показании Нимфодоры Хорошевской, данном последним следователям), слишком возмутительны для передачи в печати... Барский допрос не хорошо окончился для крепостной Нимфы: сначала высекли ее плетью, потом арапником и в продолжение двух дней семь раз ее секли. После этих наказаний три месяца находилась она по-прежнему в запертом гареме хитровщинской усадьбы и во все это время была наложницею барина. Наконец он приревновал ее к кондитеру. Кондитер этот был немедленно отдан в солдаты, а Нимфа, по наказании ее плетью в гостиной, трое суток просидела на стеной цепи в арестантской. Затем она была сослана на поташный завод, в тяжелые работы, где и пробыла ровно семь лет. На третий день по ее ссылке на завод остригли ей голову. Через несколько месяцев попала она в рогатку за то, что поташу вышло мало; рогатку эту носила она три недели. С поташного завода перевели ее на суконную фабрику, и тогда же Измайлов приказал ей выйти замуж за простого мужика; но Нимфа не согласилась — и за то трое суток была скована. Наконец

с суконной фабрики сослали ее в деревню Кудашеву, где, конечно, должна была она несколько отдохнуть от своей каторжной жизни у Измайлова.

Из показаний других хитровщинских заключенниц оказывается, что генерал Измайлов был тоже гостеприимен по-своему: к гостям его всегда водили на ночь девушек, а для гостей значительных, или же в первый еще раз приехавших, выбирались невинные, хоть бы они были только лет двенадцати от роду. И тут не обходилось без всяческого горя для этих несчастных жертв грубейшего помещичьего разврата: так, солдатка Мавра Феофанова рассказывает, что на тринадцатом году своей жизни она была взята насильно из дома отца своего, крестьянина, и ее растлил гость Измайлова, Степан Федорович Козлов. Она вырвалась было от этого помещика, но ее поймали и по приказанию барина жестоко избили палкою...

XII

Замечательное дело: находились дворяне, которые отдавали детей своих, мальчиков и девочек, в дом Измайлова, на воспитание. Правда, нет ни одного показания, из которого можно было бы заключить, что Измайлов с принятыми им на воспитание девочками, по возрасту их, поступал так же, как со своими крепостными девушками. Но сомнительно, чтобы не действовала на таких воспитанниц самым пагубным образом та страшно растленная сфера, в которой они постоянно находились в измайловском доме. Если не прямо, то понаслуху, конечно, доходило до них многое, что неминуемо должно было иметь весьма вредное влияние в нравственном отношении. Да и то надо заметить: в числе лиц, составлявших штат хитровщинской господской усадьбы, не было вовсе ни гувернеров, ни гувернанток, ни простых каких-нибудь учителей*, а выше было уже указано как

* Впрочем, в одном из своих «объяснений» советнику Трофимову Измайлов говорит, что при его дочерях находятся *две мамзели для компаний*, а при малолетних дочерях полковника Сафьянова находится *мадам*. Но, во-первых, *мамзели для компаний* — простые при-

на ту общую характеристическую особенность дома генерала Измайлова, что в нем нельзя было найти ни одной книжки, так и на частный случай, когда измайловская воспитанница, дворянка Ольга Богданова, обратилась с просьбою достать ей каких-нибудь книг для прочтения к казаку Павлу Самойлову, который и понес наказание за такую блажь барышни. Стало быть, дом измайловский ничуть не был снабжен какими-нибудь образовательными средствами. В чем же, после этого, заключалось *воспитание* всех этих несчастных мальчиков и девочек, которых родители их, дворяне, отдавали к Измайлову?.. Нельзя не пожалеть, что этот факт не разъяснен ни сколько последними следователями.

Воспитанницы Измайлова, жившие вместе с побочными дочерьми его от г-жи Д-вой, содержались, как и его дочери, точно в тюрьме: на ночь их запирали, днем не смели они никуда выйти; только весною и летом, с особого дозволения Измайлова, выпускали их в сад на недолгую прогулку; в церковь они тоже не могли ходить. Хорошо было то по крайней мере, что их не заставляли участвовать в каких-либо забавах и увеселениях Измайлова. Вообще он держал всех этих девушек весьма строго, по-своему оберегая их честь и нравственность. Так, например, никто из мужчин, живших в хитровщинской усадьбе, не смел показываться в терему барышень, даже никто, проходя по двору мимо их комнат, не смел оглянуться на окна. Отъезжая в Москву на зимнее житье, Измайлов брал с собою обыкновенно и дочерей, и воспитанниц своих; и вот в дороге они оберегались от мужского глаза точно так же, как и дома: экипаж их закрывался наглухо, а когда надобно было им выходить из него на почтовых станциях, — все мужчины генеральской свиты должны были далеко отходить в сторону.

Старшая дочь Измайлова от Д-вой, Анна Львовна, была чрезвычайно худощава и постоянно жаловалась на боль в груди и в боку. Камердинер Николай Птицын, всего больше сообщивший сведений об Анне Львовне, предполагал, что болезнь ее зависела как от того, что

живалки, и их нельзя счесть гувернантками, воспитательницами, а *мадам*, по всей вероятности, была нянька-француженка.

она всегда находилась взаперти, так и «от суровых поступков отца с нею».

Странны, как-то загадочны эти суровые поступки...

Приближенные к Измайлову люди и некоторые дворовые девушки не раз видели, что Анна Львовна, выходя из спальни отца, куда каждое утро должна была приходить, чтобы поздороваться с ним, горько плачет... Часто слыхали эти люди, что он грозит сослать ее в монастырь, что ругает самыми мерзкими словами, теми именно, которыми русский народ так опоганил свой прекрасный язык... Мало того, он угрожал ей не раз и плетьюми, и однажды, при камердинере Птицыне, даже принесены были для нее плети; но, став на колени, она упросила-таки помиловать ее... Впрочем, часть дисциплинарных мер, бывших в таком ходу в хитровщинской усадьбе, была вполне знакома Анне Львовне: однажды она была заперта на несколько дней в темный чулан, а то нередко доводилось ей оставаться на хлебе и воде.

За что так часто и так сильно гневался Измайлов на свою старшую дочь, девушку, по прекрасным качествам ее ума и сердца вполне достойную родительской любви? Тут есть какая-то тайна, не разъясненная вовсе следствием, и, может быть, хорошо, что не разъясненная...

Постоянная печаль несчастной молодой девушки была замечена дворовыми людьми, и несмотря на всю их развращенность, несмотря на то, что отец этой девушки был их общий злодей и мучитель, возбуждала в них глубокое к ней сострадание. И Анна Львовна заслуживала, чтобы ее любили, жалели эти, тоже несчастные, люди: она была чрезвычайно добра к ним, помогала им, чем только могла, всегда старалась прикрывать как-нибудь их поступки, а иногда удавалось ей вымалывать у своего немилосердного отца прощение провинившимся.

В высшей степени отраднo остановиться воспоминанием на этой личности, нежной, глубоко любящей и всегда милосердной, личности, самостоятельно развившейся в сторону добра на этой почве ожесточенного греха, неистового разврата, постоянного соблазна.

Недолгую отраду послала судьба старшей дочери Измайлова и в доме родительском.

За несколько месяцев перед началом дела о дворовых людях хитровщинской усадьбы гостил у Льва Дмитриевича Измайлова (по всей вероятности, в Москве) молодой человек, кажется, дальний ему родственник, подпоручик Измайлов. В деле нет никаких указаний на то, каким образом мог он познакомиться, а потом и сблизиться с Анной Львовной; но если предположить, что знакомство это началось в Москве, где у генерала Измайлова, конечно, не могли поддерживаться со всею строгостью теремные для его женского штата порядки, какие были в ходу в Хитровщине, то факт объясняется довольно просто. Как бы там ни было, Анна Львовна имела, должно быть, полное основание думать, что молодой Измайлов ее любит; сама же она любила его страстно. Это видно из писем ее к молодому Измайлову.

Дальше, в своем месте, я приведу письма Анны Львовны целиком. Они любопытны и важны даже по малейшим своим подробностям, как потому, что характеризуют словами самой Анны Львовны отношения ее к отцу и к окружающим ее жертвам его жестокого произвола, так и потому, что с чрезвычайной живостью изображают всю обстановку хитровщинской господской усадьбы, когда пришла она в необычайно сильное брожение по поводу следствия, под которое разом попали все тамошние люди.

Но для объяснения причины, по которой Анна Львовна писала эти письма, коренным образом изменившие ее судьбу, я должен в рассказе своем забежать несколько вперед.

Советник Тульского губернского правления Трофимов, под конец своего исследования по делу хитровщинских дворовых с их помещиком Измайловым, уже так направил это дело, что оно клонилось явно в пользу помещика и на погибель дворовых. Эти несчастные видели себе спасение только в непосредственном вмешательстве в их дело верховной власти и с величайшим нетерпением ожидали, что вот-вот явится доверенное от нее лицо для раскрытия всей истины и для защиты их. И точно: они дождались. Когда советник Трофимов собрался уже закончить свое следствие, вдруг прибыл в село



«Знать, час такой пришел».
С литографии, изд. Рудневым, 1857 г.

Хитровщину командированный по высочайшему повелению жандармский полковник Шамин. О его-то приезде и впечатлении, произведенном этим происшествием на всех вообще в Хитровщине, наивно (и замечу: хорошим для того времени слогом) передает старшая дочь генерала Измайлова в письмах к любимому ею человеку.

Есть в измайловском деле указание, что письма Анны Львовны к подпоручику Измайлову шли — с ведома и с помощью какой-то нянюшки — через четырнадцатилетнего мальчика, Али-Бея, родного брата того татарского князя Али-Гирея Баязетова, о котором она упоминает во втором своем письме. Очень вероятно, что этот Али-Бей и выдал, хотя, может быть, без умысла, а только по неосторожности, тайну влюбленной девушки. Поверенный генерала Измайлова, гнусный подьячий Федоров, каким-то образом добыл в свои руки письма Анны Львовны и подслужился ими своему патрону. Что произошло затем между Измайловым и его дочерью, мне неизвестно. Впрочем, надо думать, что злобный старик в этом случае не решился-таки потешиться наказанием дочери, ибо, кажется, полковник Шамин перед самым отъездом своим из Хитровщины имел с нею какое-то объяснение, и, таким образом, в глазах Измайлова она неминуемо должна была представляться уже состоящей под покровительством верховной власти. К тому же из самой присылки полковника Шамина на место производимого официального следствия Измайлов не мог не возыметь подозрения, что дело его с дворовыми людьми принимает дурной, опасный для него оборот, что на время по крайней мере надо ему поостеречься, повоздержаться в порывах гнева, ненависти, мщения. Я думаю, что в первые минуты после доставления Измайлову писем Анны Львовны она была довольно безопасна от его злобы. Но, тем не менее, Анна Львовна хорошо сделала, что вскоре после того бежала из дома родительского, — бежала, вероятно, проведав о том, что письма ее находятся уже в руках жестокого ее отца: конечно, без этого бега ей все-таки пришлось бы со временем страшно поплатиться за свой поступок.

Анна Львовна укрылась в доме родной сестры своего отца, Приклонской. Как ей жилось там и долго ли пробыла она в этом доме, я тоже не знаю. Впрочем, о дальнейшей ее участи мне известно следующее: Лев Дмитриевич Измайлов перед смертью своей не простил старшую дочь и ровно ничего не оставил ей в наследство, между тем как другой дочери от г-жи Д-вой, Катерине Львовне, и сыну своему от Барановой, Дмитрию Львовичу, отказал, по духовному завещанию, огромное состояние. Не дождалась Анна Львовна и заветного своего счастья, не вышла замуж за человека, которого полюбила после стольких страданий в доме родительском, и догадаться, почему так случилось, немудрено без особых объяснений. Последние годы своей жизни она провела в подмосковном имении г-жи Д-вой, служа «кастеляншей» на отлично устроенном молочном дворе этого имения и получая в год жалованья полтора ста рублей серебром. Мне рассказывали, что этим положением она была весьма довольна и постоянно отзывалась, что никогда в жизни своей не была так спокойна и счастлива.

Кстати, еще несколько слов о письмах Анны Львовны. Лев Дмитриевич Измайлов представил их к следственному делу. Конечно, он сделал это сгоряча, совершенно не сообразив тяжелого значения таких документов по отношению к нему самому. Очевидно, он был увлечен за пределы благоразумия слепой злобой против своей дочери, которую и сам считал и другим хотел представить доносчицей, предательницей, участницей в заговоре, составленном против него, как он уверял, дворовыми его людьми.

ХІІІ

На основании фактов, изложенных в «записке» из следственного дела о генерале Измайлове и о его дворовых людях, я рассказал подробно, как жил этот помещик-крепостник в своей хитровщинской усадьбе, как жили при нем и те несчастные люди, которых судьба поставила под его жестокую власть. Теперь остается мне рассказать о причинах, по которым возникло вышеупо-

мянутое дело, и о том, как оно началось, как шло в руках разных следователей и как окончилось в тогдашних судебных местах.

Измайловское дело возникло по двум причинам: одна из них,— пожалуй, и ближайшая, а все-таки частная и довольно случайная,— заключалась в отношениях Измайлова к его крепостным и к наиболее приближенным к нему людям; другая же причина,— отдаленная, но тем не менее коренная,— всецело зависела от общего состояния в тогдашней России всего крепостного люда.

Я уже говорил, что по возвращении генерала Измайлова из заграничного похода, а особенно после того, как он окончательно поселился в Хитровщине, положение его дворовых людей сделалось гораздо хуже прежнего. Оно и не могло быть иначе. По свидетельству наиболее приближенных к Измайлову людей, в то время «он уже редкий день был не во гневе».

Невоздержная жизнь привела за собою неотвязную, все чаще и чаще мучившую его подагру; при тяжких припадках ее, изменивших прежний порядок его жизни, когда он, бывало, часто покидал свой дом, отправляясь в разные города, разъезжая в гости по соседям, когда он вообще кутил, гулял и веселился,— все скучней и скучней становилось для него однообразное деревенское житье-бытье. Мрачны должны были быть его воспоминания о прежней широкой, влиятельной общественной деятельности, так удовлетворявшей его самолюбию, его привычке командовать. Еще мрачнее должны были быть его воспоминания о жизни своей, проведенной в необузданном разврате, в постоянном мучительстве для многих. Недаром камердинеры его, к великому своему изумлению, видали иногда, как он, этот отъявленный вольнодумец, дерзкий богохульник, ожесточенный до того, что всех своих домашних не допускал до молитвы, молится поутру у себя в спальне. Но эти порывы сознания, раскаяния не унимали его яростной раздражительности, да и не могли унимать: вокруг него так часто собирались эти дворяне-помещики, эти чиновники, все потакавшие подобострастно его вкусам и прихотям, все напоминавшие ему о прежних, разгульных и раз-

веселых потехах, все добивавшиеся вызвать его как-нибудь на возобновление этих потех; вокруг него кишело это громадное скопище крепостных дворовых, которые ослушничали ему намеренно или невольно, обманывали и обкрадывали его на каждом шагу, пьянствовали, буянили, а притом ссорились, чуть не грызлись промеж себя, да сплетничали и доносили друг на друга беспрестанно, которые, несмотря на жестокие им наказания, общей своею развращенностью, общей своею распущенностью выбивались из-под всякого порядка, от которых, наконец, он, видимо, опасался покушений на свою жизнь, ибо не даром же окружал он себя многими наемными людьми и всячески старался привлекать к себе посторонних гостей и не гостей и задерживать их в своем доме на довольно долгое время. В старости и в болезни Измайлов не изменился душою, хоть и терзали ее по временам упрёки совести. Воля его все оставалась развращенной, жестокою, страшно дерзкою. Гулять и веселиться, как прежде гуливал и веселился, было ему уже не под силу; зато тем больше желал он командовать, приказывать и наказывать — и в этом только искал себе развлечения и от скуки, и от душевной тоски. Даже в припадках подагры он выезжал, весь закутанный, обложенный подушками, и на охоту, и для осмотра своего хозяйства. Такие выезды он делал почти повседневно — и тут гнев его широко разыгрывался из-за всего, что происходило, как казалось ему, не по его желанию. Возвращаясь домой, в раздражении уже от того, что нельзя было вследствие болезни долго находиться ни в отъезде поле, ни на осмотре хозяйства, он отнюдь не пересиливал своего раздражения, а давал ему полную волю. Тогда особенно терпели наиболее приближенные к нему люди, постоянно находившиеся у него на глазах: почти каждому из них доставалось тогда на долю какое-нибудь наказание. Положение всех этих приближенных к Измайлову людей, со времени его домоседства в Хитровщине, сделалось, действительно, невыносимым, и вот они-то именно и затеяли дело, которое должно было наконец унять неугомонного помещика.

Но несомненно, что была и общая, гораздо более важная причина, почему измайловские люди вздумали жаловаться на свою тяжелую участь.

Известно, что с конца прошлого столетия при начале каждого нового царствования в России появлялись надежды в крепостном населении, если не на совершенную отмену крепостного права, если не на полное избавление от произвола и насилия барского, то по крайней мере хоть на обуздание помещиков и через то на смягчение своей горькой доли. Так было и с восшествием на престол покойного императора Николая Павловича.

В коронацию императора (в августе 1826 года) генерал Измайлов был в Москве. Тогда-то находившиеся при нем люди, те именно приближенные к нему, на которых я выше указывал, задумали, еще в первый раз, и решились между собою накрепко пожаловаться государю на своего страшного барина. Они надеялись почему-то достигнуть того, чтобы имение Измайлова, за жестокое его обращение со своими крепостными, было взято в опеку. Тем не менее эти люди не привели мысль свою о жалобе тотчас же в исполнение,— потому будто бы, что не знали тогда, в какой форме следует подать государю всеподданнейшее прошение, вернее же потому, что еще не уладились со всей хитровщинской дворней, именно с горемычным ее пролетариатом, насчет своего важного и небезопасного намерения. Однако они не покинули свою заветную мысль.

После коронации Измайлов скоро уехал в Хитровщину, где пробыл всю осень и начало зимы, и только в декабре 1826 года перебрался на зимний сезон в Москву, и тут главные из приближенных к нему людей узнали от своего бывшего товарища (одного из тех дворовых, которых променял Измайлов на собак помещику Шебякину) о форме прошений, самому государю приносимых. Впрочем, есть основание предполагать,— как и предполагали последние следователи по измайловскому делу,— что мыслью дворовых о подаче всеподданнейшей жалобы руководил, в то время исподтишка, измайловский поверенный, отставной коллежский регистратор Федоров, один из самых безнравственных тогдашних подьячих,

человек, что называется, на все руки, готовый на всяческие проделки. Этот Федоров до начала процесса Измайлова с его дворовыми людьми занимался ходатайством только по мелким, ничтожным делам своего патрона, а поэтому имел от него маловато выгод. По всей вероятности, Федоров какими-нибудь ловкими из-под руки внушениями подзадорил хитровщинских дворовых на подачу жалобы, для того именно, чтобы стать для Измайлова лицом необходимым, руководителем действий его уже по важному делу. Расчет этот мог представляться подьячему-дельцу тем более безошибочным, что он же, и опять-таки из-под руки,— был причиною, что Измайлов довольно скоро узнал о принесенной на него дворовыми жалобе.

Узнав об этой опасной жалобе именно то, что она точно подана, Измайлов принялся было тотчас же самостоятельно расследовать о доносителях на него и, конечно, в расследовании своем, не обошелся бы без своего жестокого образа действий, если бы тут не выразилось во всей силе влияние на него Федорова. Ловкий подьячий указал ему, как нужно действовать.

XIV

9 апреля 1827 года генерал Измайлов послал к епифанскому земскому исправнику объявление, в котором писал, что дворовые люди его, Федор Антропов (казак) и Василий Родионов Белоусов (конюх), довели до его сведения, будто некоторые из других дворовых составили «скоп и заговор», сделали какую-то подписку, «клоняющуюся, по-видимому, к ложному (против него, Измайлова) извету», и принуждали Антропова и Белоусова участвовать в этой подписке. «Опасаясь, как бы от такового заговора не могло произойти каких-нибудь *последствий*»*, хитровщинский помещик просил ис-

* Все первые бумаги Измайлова, судя по их подьяческому слогу, писаны его поверенным Федоровым. С приездом же на следствие советника Трофимова, Измайлов объясняется в своих бумагах уже гораздо красноречивее и мудренее: тут уже видна рука опытного губернского дельца.

правника немедленно произвести на месте исследование и «с виновными поступить по законам».

Исправник Попов приехал в Хитровщину того же 9 апреля и, — как показывали при последнем следствии некоторые дворовые, — привез будто бы в своей коляске много пучков розог. Однако он не решился почему-то тотчас же пустить в ход эти полицейские аргументы, а приступил прямо к формальному следствию, начав с допроса Антропова и Белоусова, по приведении их предварительно к присяге.

Антропов показал следующее: в марте месяце того года дворовые Иван Львовский и Василий Гренадеров говорили ему однажды, чтобы шел и он в канцелярию подписываться под просьбою к государю на помещика, «который желает жестокие наказания, морит в рогатках». Но, «не быв никогда сам наказан, не выдав тоже, чтобы и другие терпели такие наказания и изнурение», Антропов не согласился подписаться к просьбе. Тогда Львовский и Гренадеров объявили ему, что просьба уже и подана государю. Антропов «подивился их глупости, их нечувствительности к милостям барским» — и, дабы укротить пустое их желание и лишить возможности пользоваться вероломством, довел обо всем до сведения помещика.

Показание Василия Белоусова открыло исправнику новые интересные подробности «о скопе и заговоре хитровщинских дворовых»: 31 марта родной брат Василия, Андреян, рассказал ему, что он подписался к какой-то бумаге, которую приносил к нему дворовый человек, Егор Ахахлин. Когда при этом Андреян на вопрос Василия о содержании той бумаги отозвался незнанием, Василий побранил его, что подписывается к неизвестным каким-то бумагам, объяснив ему, что если это — жалоба на помещика, то он, Андреян, «нанес таким образом и себе и ему, Василию, большое неудовольствие», потому что оба они «одеты и обуты сверх приличности, содержание получают безбедное и в ремесле, которому обучены, изнурения не имеют». О подписке к какой-то бумаге сказывал Василию Белоусову и дворовый человек Степан Авдеев, объяснивший притом, что это — жалоба на генерала за

недозволение от него дворовым жениться. Василий Белоусов довел обо всем вышеизложенном помещику, а тот расспрашивал Андрея Белоусова* и других дворовых, какую это бумагу они подписали, но все допрашиваемые «сделали запирательство», — и в это время Василий Белоусов заметил, что некоторые из дворовых, бывших в господских комнатах, пока товарищи их допрашивались в генеральской спальне, выводили брата его в другую комнату и что-то говорили ему по секрету, — по их-то, как видно, наущению, и брат его, при спросе генерала, тоже сделал запирательство. (Надо еще здесь заметить, что исправник, придав Антропову и Василию Белоусову характер присяжных заседателей, тем не менее счел необходимым спросить их в заключение, не имели ли они сами какого-либо умысла на генерала и не подговаривали ли к сему других.)

Я привел показания доносителей Антропова и Белоусова во всей подробности и подробно же изложу первоначальный ход дела «о скопе и заговоре хитровщинских дворовых против их помещика» — именно потому, что тут весьма выразительно выдаются: и взаимные отношения всех обитателей хитровщинской усадьбы, всполошенных внезапным открытием чрезвычайно важного обстоятельства, долженствовавшего всех их поставить в какое-то новое положение, и переполох уездного чиновничества перед делом, которое, при всем их сразу направлении в пользу генерала Измайлова, не могло не казаться им очень опасным по самому началу его, указывавшему на возможность грозного вмешательства в него верховной власти, и по официальным при ходе следствия приемам этих наивных тогдашних чиновников, и по тем, наконец, привычкам, с которыми наивные чиновники ни за что и ни при каком опасном для них деле не хотели расстаться. Итак, пусть не взыщут с меня за то, что рассказ мой представится теперь несколько бессвязным: бессвязность эта будет зависеть от того,

* 8 апреля Измайлов, вместе с верным своим Али-Гиреем Баязетовым, целый день допрашивали по поводу доноса Антропова и Белоусова. Но к истязаниям они уже не прибегали, не столько, полагаю, из боязни, сколько под влиянием советов Федорова.

что я строго держусь порядка или, лучше сказать, беспорядка, в каком шло первоначальное следствие. Следствие это хотя и имело, по взгляду первых следователей на сущность дела, определенное направление,— крайне хаотично в отношении собирания фактов и изложения их: тут нет ни малейшей последовательности, все обстоятельства дела являются в отрывочном, разрозненном виде, перепутываются, смешиваются. Но, думаю, такой-то именно вид этого следствия особенно интересен: не говоря уже о том, что он ярко обличает нравственную личность тогдашних следователей, знакомит он весьма характеристично и с тем, как велись у нас еще недавно те дела, в которых были запутаны крупные «особы», в которых затрагивалось больное место общественной жизни того времени — крепостное право.

Из новых показаний, отобранных 9-го же апреля, исправник Попов узнал немного. Так, Степан Авдеев, на которого указал Василий Белоусов, показал, что на пятой или на шестой неделе Великого поста Егор и Василий Ахахлины и Василий Гренадеров принесли как-то в мастерскую избу написанное от них и от прочих дворовых прошение для подачи в Туле; но к кому оно, или в какое присутственное место, не сказали ему, Авдееву, а только прочитали его; что в прошении этом заключались жалобы на то, что помещик не дозволяет жениться и подвергает дворовых жестоким наказаниям; что Ахахлины и Гренадеров просили его, Авдеева, приложить руку к прошению, «дабы умножить число в оном людей», и что хотя сам он, Авдеев, на помещика своего никакого недовольствия не имел и не имеет, однако, «снисходя на просьбу Ахахлиных и Гренадерова, полагая это ни во что и нимало не мыслив, что оно обратиться может к худым последствиям», он согласился приложить руку. Василий Гренадеров еще менее рассказал: он передал только, что слышал от Николая Нагаева, будто подана уже в Тульское губернское правление какая-то, неизвестная ему по содержанию жалоба. Правда, Иван Львовский проговорился, что он, с прочими дворовыми, которых назвать не может, а числом их до двухсот человек, «имели заговор, еще с весны 1826 года, подать на помещика

своего жалобу»; однако объявил притом, что исправнику дальнейших показаний он сделать не может, «потому что ему, исправнику, не должно о сем знать»; «в чем же его собственные претензии на помещика,— может исправник увидеть, когда просьбу к нему пришлют и по ней будут производить следствие».

В показании Ивана Львовского, одного из главных участников в деле, как, несомненно, казалось тогда исправнику, прорвалось наконец это желанное слово «заговор», к которому уже легко было приложить и другое значительное слово — «скоп». Дававшие направление делу должны бы были обрадоваться этому; однако они, видимо, и встревожились: из показаний Львовского обнаружилось, что в «заговоре» слишком много участников, а заговорщики известно, что за народ,— пожалуй, и опричь своей жалобы, они могут решиться на что-нибудь опасное, особенно же когда их тайна так невзначай открыта. По крайней мере генерал Измайлов сильно встревожился. Это видно из второго его объявления, поданного тогда же исправнику.

«Вчерашнего числа, ввечеру,— писал Измайлов в этом объявлении,— замечено, что во всей моей дворне дворовые люди пришли в большое волнение, так что, собираясь тайным образом, толпами, делали между собою неизвестный заговор. По производству же господина исправника, открылось,— в заговоре имеется до двухсот человек, и за всем тем предвидится, что оные намереваются даже поколебать от тишины и должного повиновения вотчин моих крестьян». В предупреждение этого Измайлов просил довести о том до сведения начальника губернии и «попросить дальнейшего его распоряжения к удержанию незаконного стремления тех дворовых людей».

Исправник Попов тотчас же распорядился и сам; во-первых, он «рекомендовал Епифанскому земскому суду немедленно прибыть на место исследования» о «скопе и заговоре против генерал-лейтенанта и кавалера¹⁴⁸ Льва Дмитриевича Измайлова дворовых людей его,— как открывается, до двухсот человек», а вместе с тем вытре-

бовать от начальника «епископской инвалидной команды»¹⁴⁹ человек пятнадцать.

В ожидании прибытия «временного отделения» исправник и один продолжал допросы. Он спросил, впрочем, немногих: только Николая Птицына (камердинера), Василия и Егора Ахахлиных и Андреяна Белоусова. Все они, почти слово в слово, показали, что прошение на помещика точно подано тульскому губернатору, но в чем оно состоит и от кого писано — им неизвестно; сами же они его не сочиняли, рук к нему не прикладывали и других дворовых к тому не склоняли. В таких показаниях заметна была явная стачка. Довольно значительное добавление к своему показанию сделал только Птицын, что он, дескать, «никакого с прочими дворовыми людьми против господина своего заговора к бунтовству не делал и умысла к тому не имел, ибо во всю Светлую неделю господин мой никого в пьяном виде не видал и шуму не слышал». Он же, Птицын, первый и прямо заявил, что имеет неудовольствие на помещика за неоднократные и без всякой причины наказания, что и другие дворовые, за маловажные вины, часто содержались в рогатках. В доказательство же последнего, он представил «реестр» дворовым и крестьянам, содержавшимся в рогатках на 23 марта 1827 года (что приходилось тогда на Страстной неделе). Сила этого документа была значительна; исправник не мог этого не заметить; он был даже смущен таким обстоятельством, и этому-то смущению надо приписать странное его требование, чтобы Птицын непременно утвердил своей подписью представляемый «реестр». Но Птицын на это не согласился, а только добавил еще, что, в марте же месяце, видел содержащихся в рогатках дворянский заседатель земского суда Хрущов. За Птицыным братья Ахахлины и Андреян Белоусов тоже заявили свои неудовольствия на Измайлова, но неполно, неясно, да и вообще странно записаны они в допросах: сначала говорится от каждого из этих лиц, что у него никакого неудовольствия на помещика нет, а потом вдруг является: «к сему такой-то добавил» — и вот в этих-то добавлениях выражены кое-какие, не особенно важные «неудовольствия», как, например, что

помещик не позволяет жениться, что помещик лишил отвесного мяса, по подозрению в воровстве, что помещик наказывает розгами, за вину, а иногда и без вины.

Из «реестра», представленного Птицыным, видно, что 23 марта 1827 года находилось в рогатках семнадцать человек; некоторые из них носили рогатки с 1 сентября 1826 года, иные же — с октября и декабря того же года; были тут люди, попавшие под это наказание за воровство лесу, овец, овчин, а больше — хлеба; были провинившиеся и в том только, что без спросу ушли с работы; наконец, между мужчинами была тут и женщина, бывшая наложница Измайлова, а теперь уже простая прачка, Акулина Горохова, которая за то, что не хотела ехать в Москву, протаскала рогатку с лишком три месяца. Я сказал выше, что исправник Попов, видимо, был смущен этим «реестром»; да и не могло быть иначе, ибо документ сей обличал явное со стороны генерала Измайлова нарушение высочайшего повеления от 20 марта 1826 года, которым строго предписывалось везде в помещичьих усадьбах истребить железные вещи, употреблявшиеся для истязания крепостных.

10 апреля, ввечеру, прибыл в Хитровщину весь Епифанский земский суд; и тогда же дворовые Иван Львовский, Андреян Белоусов, Николай Нагаев, Николай Птицын, Василий Гренадеров, Митрофан Турченков, Устин Ключков, Алексей Карпов и Василий Калкунов подали суду «объяснение», в котором заявили на суд это свое подозрение и просили закрыть «присутствие»: «ибо все мы,— говорилось в «объяснении»,— ни на какой предмет ответа не дадим, да не о чем нас и спрашивать до прибытия чиновника от тульского гражданского губернатора». Кстати заметить: «объяснение» это, весьма безграмотно написанное, как и все вообще бумаги, какие подавали измайловские дворовые в разные места и к разным лицам, кроме, впрочем, всеподданнейшего прошения, представляет несколько фактов, разоблачающих характер следствия исправника Попова, а также и несколько выразительных соображений со стороны самих дворовых насчет собственного их положения. Вот что говорится тут о приезде исправника и о его действиях

при допросах: по прибытии исправника в Хитровщину, он тотчас же отправился в дом к генералу, «видно для получения каких-либо приказов», а затем генерал многих людей начал сам допрашивать в своих хоромах, «с разными пристрастиями», о подаче государю просьбы, многих же рассадил под караул да послал за священником, «угрожая всех привести к присяге». Перейдя затем в дом крестьянский, исправник стал перебирать поодиночке дворовых, требуя, чтобы каждый признавался ему о подаче просьбы, причем кричал, ругался и всякому угрожал батожем и розгами, которых, как он говорил тогда, у него целый воз. Николая Нагаева он бил по скулам и по всему лицу, а Ивана Львовского раздел и хотел было высечь. Все это делал исправник, выпивши водки, которая принесена была от помещика крестьянином Иваном Петровым. При допросах находились посторонние люди, гости генерала, приехавшие к нему на праздник Светлой недели: И. Г. Титов, Г. Е. Шебанов, а также навсегда живущий у него татарин Али-Гирей (Баязетов); а этого исправник, как чиновник, знающий законоположения, как первый член земской полиции, — по замечанию подателей «объяснения», — не должен был бы допускать. А вот как соображают эти люди про свое несчастное положение: господин их дал знать исправнику о каком-то их заговоре; но это — совсем несправедливо: если же и подана просьба Его Императорскому Величеству, то ведь нет закона, запрещающего это, к какому бы сословию ни принадлежали просители, и тут отнюдь не заговор; впрочем, они находятся у господина своего, при всех больших трудах своих, при всяких себе отягощениях, навсегда в полном повиновении и послушании, исправляют должности свои со всею рачительностью и надеются они, что сам господин их не отречется это засвидетельствовать. Исправник Попов, не узнав истины о выдуманном заговоре, все-таки вытребовал «зерцало»¹⁵⁰ да устроил «экзекуцию», а между тем он хорошо знает несчастное положение дворовых. Такие распоряжения явно делаются для того, чтобы дворовые все более и более приходили в робость и, таким образом, чтобы легче было запугать их разными выдумками...



«У всякого, мой друг, свое бремя, вот и я несу свою собаку».
С литографии Г. С. Дестуниса, 1858 г.

Исправник, конечно, и не подумал оправдываться перед судом, где он председательствовал, во взведенных на него обвинениях, а суд, со своей стороны, не обращая внимания на сущность вышеприведенного документа, просто-напросто заключил: всех, значащихся подателями «объяснения», а равно и допрошенных земским исправником, допросить: «согласны ли все они на такое объяснение и кем оное сочинено и переписано».

Но ни одного еще допроса не было отобрано, а уже явилось новое «объяснение» от дворовых, опять безграмотное, но по смыслу своему очень определенное, даже сильное*. Сознвая силу человека, с которым затеяна страшная борьба, дворовые опять высказываются о своем положении, и на этот раз с горькой иронией. Беспомощным оно кажется им, но они энергически заявляют намерение защищаться всеми возможными для них средствами и идти в отстаивании своих человеческих прав до конца края. При открытии в Хитровщине присутствия Епифанского земского суда, говорится в «объяснении», некоторые дворовые были спрашиваемы: чем таким недовольны они господином своим, генералом Львом Дмитриевичем Измайловым; но так как одни из них не знают грамоте, а другие боятся пристрастных допросов, то они и просят земский суд, вместо личного их допроса, принять, к их оправданию, такое их объяснение: они чрезвычайно довольны своим господином за продолжающиеся около тридцати лет сеченья их охотничьими кнутьями, казачьими плетьюми, палками, розгами, за содержание на стенных цепях, в ножных оковах, в железных тягостных рогатках, от коих страдают они бессонницею и которые надеваются на них непрерывно — на два, на три месяца, на полгода и даже более, за отнятие надлежащего пропитания и *утверждения жизни человеческой*. И обо всех этих господина их благодеяниях должны они вечно, день и ночь, помнить и пред всемогущим богом, праведным судьей, слезы проливать

* Подано Михайлою Костыгиным, а подписано Николаем Нагаевым и Васильем Гренадеровым. По всей вероятности, все бумаги от дворовых, кроме прошения государю, писал Семен Краснухин, главный писарь измайловской домашней канцелярии.

из рода в род... Имея такого немилосердного господина, они считают себя *истинными сиротами*, и если бы не были так загнаны, то давно бы монарший престол просили. Ныне же, выйдя совершенно из терпения, не упустят прошениями везде, где только может быть оказана им помощь, *по силе законов*, искать прав своих...

Заслушав это «объяснение» в особом протоколе, земский суд счел необходимым поступить с особенною рассудительностью. Оговорившись прежде всего, что с его стороны никаких пристрастных допросов не было допущено, что даже никто из дворовых еще и не был допрашиваем судом, он уже не стал любопытствовать о том, кем сочинено и переписано второе «объяснение», а постановил: о наказаниях и изнурениях, на которые жалуются дворовые, допросить подателей «объяснения».

Но допросы по этому предмету ведены были с особенными тоже уловками: сначала спрашивалось относительно «скопа и заговора» или какого-либо «злого умысла против помещика»; далее шли вопросы насчет того, к кому, куда и от кого именно были поданы жалобы на генерала, в чем они заключались и был ли согласен допрашиваемый на подачу этих жалоб; затем уже записывалось показание допрашиваемого о сделанных ему наказаниях; и наконец предусмотрительно излагалось, что «пристрастий» со стороны суда допрашиваемому не было, что только некоторые из дворовых слышали об угрозах исправника при допросах, что вообще за содержание пищею и одеждою, а также и за жалованье нет на помещика ни малейшего неудовольствия. В этом именно порядке прежде всех был спрошен податель второго «объяснения», Михайло Костыгин. Но показания и его и других дворовых, спрошенных судом, я не буду здесь приводить, потому что главнейшая их сущность уже подробно изложена мною в той главе, где я рассказал об истязаниях, каким подвергались крепостные генерала Измайлова.

11 апреля священник села Хитровщины, Богоявленской церкви, Петр Алексеев, прислал в земский суд еще новое «объяснение» дворовых, никем не подписанное и поданное священнику дворовым человеком, Николаем

Горшковым. В «объяснении» этом излагалось: «Дошло до сведения дворовых, что господин их вызывает Епифанского земского суда члена и ваше благословение, намереваясь привести своих дворовых людей к присяге насчет подачи государю императору просьбы». Но так как закон позволяет людям всех сословий обращаться с просьбами к монаршему престолу, то таковая присяга не есть законная. А потому они, дворовые, просят его благословения «не приступать к такой святости, поелику всякий законопреступник должен судиться законным порядком и велено в законе чинить допросы и присяги в полном присутствии и при зеркале». В конце было сказано, что у тульского гражданского губернатора уже есть прошение дворовых, почему и следует священнику подождать до прибытия «губернского члена», а настоящее «объяснение» хранить при себе «до востребования».

Вообще по всему было заметно, и из показаний дворовых, и из этих их «объяснений», что хитровщинские дворовые, действительно, ждут чего-то особенного, а между тем беспрерывно надумываются о том, как бы защитить себя, покуда сбудутся их ожидания. Им и надо было, что называется, не дремать, ибо с противной стороны приняты были против них всевозможные меры.

Во-первых, одновременно с земским судом явились в Хитровщину шестнадцать солдат из Епифанской инвалидной команды. Дворовые так понимали, что это — «экзекуция», вытребованная и для отягощения, и для устрашения их. Впрочем, это предположение их было неверно, — по крайней мере в отношении самого исправника. Чиновник этот был, несомненно, на стороне Измайлова, а стало быть, против дворовых; но тем не менее первоначальный взгляд его на дело в донесении его от 10 апреля исправлявшему должность тульского гражданского губернатора Хрулеву выразился правдиво и отнюдь не под лад приказническим хитросплетениям измайловского поверенного Федорова: исправник в донесении этом говорит, что «от дворовых людей генерала Измайлова, кроме неоткрытия, в чем заключается всеподданнейшее их прошение и в чем они имеют на господина своего неудовольствие, других непослушаний

и неповиновений помещику нет». Итак, вытребование инвалидов солдат обуславливалось со стороны исправника вовсе не устрашением и не отягощением дворовых, а, по всей вероятности, только желанием иметь под рукою надежных караульных при предполагаемых многочисленных арестах в громадной хитровщинской дворне.

Но то было лишь в начале дела. В коллегиальном своем составе Епифанская земская полиция, особенно же под влиянием нового члена администрации, вдруг явившегося для неподобающего ему участия в следствии, надумалась принять меры, действительно, уже рассчитанные на «устрашение и на отягощение» дворовых.

Новый член этот, которым невзначай пополнилось «присутствие» Епифанского земского суда, был епифанский уездный предводитель дворянства Албычев. По делу не видно: по собственной ли своей инициативе, по просьбе ли Измайлова или же по поручению тульского губернского начальства прикомандировался к производству следствия этот представитель дворянских интересов; но действовал он с чрезвычайной развязностью, с ничуть не скрываемым намерением придать направление следственному делу именно в пользу помещика Измайлова и против его дворовых людей. Кстати здесь заметить: с появлением предводителя дворянства и земский суд начал действовать в известном направлении гораздо смелее и решительнее.

Приехав в Хитровщину 11 апреля, Албычев немедленно явился в «присутствие» суда и потребовал предъявить ему все производство следственного дела. Суд покорно постановил: «исполнить требование господина епифанского уездного предводителя дворянства». Затем тотчас же начались допросы, в присутствии уже предводителя; как велись эти допросы, как выразилось тут предводительское участие в следствии, я расскажу ниже, а теперь следует рассказать про ту решительную меру, принятую земским судом по настоянию предводителя Албычева, которая, точно, могла и отяготить, и устроить дворовых.

12 апреля Албычев предъявил земскому суду полученное им от генерала Измайлова сведение, что в дворо-

вых своих людях он, Измайлов, «замечает тайные разговоры», что дворовые, особенно по ночам, ходят друг к другу и «собираются партиями», что поэтому он, Измайлов, подозревает своих дворовых в том, «что они намерены взбунтоваться против него, а может быть, и против земского суда, или же привести в исполнение какой-нибудь другой умысел»; вообще же Измайлов считал себя в большой опасности и находил, что вытребованных исправником инвалидов солдат недостаточно не только для удержания людей в услугах, в случае бунта, но даже и для караула при взятых под надзор, почему он и просил вытребовать в Хитровщину роту воинской команды. Получив такое заявление, суд и не подумал как-нибудь справиться: действительно ли можно опасаться бунта со стороны хитровщинских дворовых; он, что называется, тут на слово поверил; он, может быть, и в самом деле перепугался перед опасностью, которая, по заявлению переполошившегося помещика, угрожала будто бы и самому суду; и вот, просто-напросто, он распорядился: нисколько не рассуждая о необходимости принимаемой меры, заключил — вытребовать в Хитровщину роту от Ярославского пехотного полка.

Рота явилась скорехонько — 13 апреля. Ее разместили в крайне тесных жилищах дворовых и заняли содержанием под караулом тех людей, которых производители следствия признавали нужным отдавать под арест. Таким образом, предчувствие дворовых об отягощениях и устрашении их вполне сбылось.

Но влияние предводителя Албычева на следствие выразилось не в одной только мере вытребования воинской команды. Все последующие допросы дворовых производились уже при энергическом вмешательстве предводителя: он уговаривал дворовых, чтобы они отнюдь не показывали о неудовольствиях своих на Измайлова; он ругал и стращал их; он между прочим выставлял в пример измайловским дворовым своих собственных крестьян, которые, при всей строгости наказаний, каким они у него подвергаются, терпеливо все сносят и отнюдь не смеют жаловаться. Хорошо и закончил все такие действия предводитель Албычев: когда члены земского суда

приготовились к осмотру арестантской, он промедлил и задержал следователей настолько, что, по распоряжению Измайлова, из хитровщинской ужасной тюрьмы успели повытаскать всякую нечистоту и повыдергать стенные цепи.

Вообще предводитель Албычев успешно сделал свое дело: он дал решительное направление следствию, он придал членам земского суда полную смелость. До его прибытия в Хитровщину члены эти, хотя и действовавшие с самого начала в пользу генерала Измайлова, тем не менее выказывали какую-то робость. Из всех их действий заметно, что они боятся чего-то, и, конечно, не возмущения со стороны хитровщинских дворовых; должно быть, они боялись самой сущности дела, всего того, что могло внезапно открыться перед ними.

Оттого крайне неполно записывают они показания, делают в них оговорки, что со стороны их во время допросов не было допущено никаких «пристрастий», робко и отрывочно собирают факты, которые, по мнению их, могли бы говорить в пользу Измайлова, всего же более добиваются узнать как-нибудь о том: подана ли, действительно, дворовыми жалоба государю на помещика. С вмешательством же в дело предводителя чиновники крепко приободряются: они допрашивают дворовых не только при посторонних лицах, гостях хитровщинского помещика, но и при его поверенном Федорове; они дозволяют измайловскому человеку тут же, в «присутствии», во время допросов переписывать для барина все показания; они, по примеру Албычева, склоняют допрашиваемых оставить жалобы на своего господина, угрожая, в противном случае, наказанием и ссылкой в Сибирь; исправник же Попов и заседатель Хрущов (пользовавшийся особыми милостями Измайлова и допускавшийся к его столу, даже при больших праздниках наравне с крупными гостями) усердно били дворовых и сами сажали их под караул. При всем этом усердные следователи эти отважно поддерживали во все время следствия старые свои обычаи, бывшие в таком общем ходу у уездных чиновников, при подобных случаях: они содержатся на всем коште измайловском, обедают

и ужинают у него, а в отведенном для них флигеле, где и производится следствие, открыто и широко продовольствуются генеральскою водкою, генеральскими винами; вечерами следствие не идет, и чиновникам особенно весело: стаканы с пуншем появляются на столе, где стоит «зерцало», все члены «присутствия» поют песни, заседатели пускаются в пляс.

Но и губернские власти захотели показать свое усердие на пользу генерала Измайлова.

Получив вышеупомянутое донесение епифанского исправника от 10 апреля, исправлявший должность губернатора Хрулев справился у тульского губернского почтмейстера насчет всеподданнейшей жалобы измайловских дворовых. Оказалось, что жалоба действительно послана 1 марта. Тогда Хрулев предписал 12 апреля советнику Тульского губернского правления Трофимову отправиться в Хитровщину и произвести строгое исследование «по жалобе генерал-лейтенанта Измайлова». С тем вместе поручалось Трофимову «внушить дворовым людям, чтобы они объявили ему, Трофимову, как чиновнику доверенному от начальства, свои неудовольствия, для отыскания справедливости,— отклонив, впрочем, всякое непослушание их (т. е. дворовых) помещику».

Таким образом, раздольное, на генеральский счет житье простодушных и веселых епифанских чиновников разом прекращалось; только один исправник, по предписанию губернского начальства, должен был оставаться в Хитровщине, при советнике Трофимове, для «законного» содействия ему во время производства следствия.

Назначение Трофимова следователем произошло, несомненно, вследствие частного ходатайства со стороны Измайлова у губернских властей. Хитровщинский помещик был недоволен уездными следователями, особенно же исправником за его донесение от 10 апреля. Притом Трофимов имел репутацию опытного, искуснейшего дельца и пользовался большим значением в губернском служебном мире как родной брат правителя канцелярии¹⁵¹ генерал-губернатора¹⁵² Балашова. Уже если кто

* Генерал-адъютант¹⁵³ А. Д. Балашов¹⁵⁴ управлял с 1821 г., кажется, по конец царствования императора Александра I, пятью губерни-

может «обделать» отлично дело Измайлова с его дворовыми людьми, так это именно советник Трофимов.

Рассказывать во всей подробности: как начал Трофимов свое следствие, как вел его до конца, кого допрашивал и что показывали допрашиваемые, было бы слишком долго и утомительно; притом тут много встретилось бы и мелочей, и скучных повторений. Я ограничусь изображением, на точном основании фактов, общего характера трофимовского следствия.

Приехав в Хитровщину, Трофимов прежде всего постарался приобрести доверие дворовых и успел в этом вполне, конечно, не объявлением, что он доверенное лицо от губернского начальства, а особенно ловким приемом в допросах. Так, он отнюдь не уговаривал дворовых, чтобы они оставили свои жалобы и неудовольствия на помещика, над чем так надрывались усердные члены временного отделения Епифанского земского суда и ревностный предводитель дворянства; напротив того, он об этих-то неудовольствиях больше всего и расспрашивал, — хотя записывал про них с крайней предусмотрительностью, выставляя их на отдаленном плане, приводя в ряду фактов иного свойства, среди которых должно было сглаживаться более или менее тяжелое значение фактов щекотливых. Так, и в сношениях своих с Измайловым поступал он сначала весьма осторожно: обедал и ужинал в отведенном ему флигеле (что делал и во все продолжение следствия), водки и вина генеральского употреблял мало, в дом к Измайлову не ходил и приближенных его к следствию не допускал (впоследствии, уже совсем направив следственное дело, как ему было надо, он и виделся с Измайловым, и писал для него разные бумаги, и допускал к следствию его приближенных, но все-таки с крайней осторожностью). Все это совершенно ослепило дворовых до такой степени, что они друг перед другом пустились в откровенные рассказы про свою горемычную жизнь, даже проговорились несколько о том, как надоумились они жаловаться и на что именно жалуются;

ями: Рязанскою, Тульскою, Тамбовскою, Воронежскою и Орловскою. Управление его отличалось многими своеобразными диковинками, но об этом когда-нибудь после. Правитель его канцелярии, Трофимов, был впоследствии сенатором.

начав же делать показания, они перестали подавать свои «объяснения» и продолжали отвечать Трофимову до самого конца его следствия, несмотря на то, что увидали, как и в какую сторону направляется это следствие.

Да! советник Трофимов, как настоящий тогдашний делец, действовал иначе, чем неумелые уездные чиновники,— без малейшей робости, без всяких колебаний: его нельзя было испугать ничем, что могло открыться по делу; он твердо был уверен, что дело это в его руках — все равно, что воск, из которого можно всякую штуку вылепить, что притом воск этот из рук его никак не выскользнет. Он оттого был так уверен, что у него была цель определенная и практическая. Он задался ею, по всей вероятности, еще до прибытия своего на место исследования. Очевидно, она очень обдумана им, и поэтому следствие идет у него чрезвычайно гладко. Конечно, с внешней стороны, собственно по изложению фактов, следствие это сильно смахивает на все тогдашние следствия, а между прочим и на работу временного отделения Епифанского земского суда; но зато внутри оно проникнуто строгим единством, почему и развивается с замечательной последовательностью.

Впрочем, мысль, на которой главнейше основано трофимовское следствие, принадлежит Трофимову не вполне,— первоначально явилась она, как по вдохновению, у самого Измайлова,— но губернский делец воспользовался ею мастерски, так мастерски, что привел в великий восторг епифанских чиновников, заслужил даже «беспредельную их к себе преданность», как свидетельствует о том находящееся при деле письмо заседателя Хрущева. Эта мысль в том заключалась, чтобы отразить грозный удар, приготовленный Измайлову всеподданнейшею жалобою дворовых, заблаговременным обвинением их в «скопе и заговоре». Трофимов сразу повел дело таким образом, чтобы «скоп и заговор» шибко выступали вперед, представлялись несомненным и многозначительным фактом. Разумеется, хитровщинские дворовые не умели защищаться от каверз и подвохов губернского дельца, тем более что, отнесшись к нему на первых порах с доверчивостью, они изменили тем самым первоначаль-

чальный план своей защиты, состоявший, — при крепком единении между собой, при дружной взаимной поддержке, — в ожидании доверенного от верховной власти лица для исследования по их жалобе; правда, довольно скоро догадались они, что доверились Трофимову напрасно, что проболтались перед ним во многом, но это сознание ошибки послужило им не на пользу, а во вред: они стали сильно разлаживаться промеж себя, между ними явились даже изменники их общему делу.

При такой разладице в хитровщинской дворне Трофимову стало уже очень легко достигать своей цели.

Так, в первые же дни своего следствия, когда члены «временного отделения» и предводитель Албычев еще не выбрались из Хитровщины, Трофимов уже успел разыскать весьма важные документы: сначала подлинную подписку дворовых насчет подачи всеподданнейшей жалобы на помещика, а потом и копию с этой жалобы и журнал о поступках генерала Измайлова со своими крепостными, веденный камердинером Николаем Птицыным с 14 марта по 3 апреля 1827 года.

И замечательно: открытию этих документов всего более способствовал Николай Нагаев, тот побочный сын Измайлова, который был чуть ли не самым ожесточенным доносчиком на своего отца-барина. Разболтавшись доверчиво перед губернским дельцом о своей горькой доле, о наказаниях, которым часто подвергался, Нагаев проболтался, наконец, и о «подписке»: что она от ста с лишком человек; в том заключается, чтобы никто не отставал от поданного государю прошения; составлена она писарем Смирновым и им, Нагаевым; с ней ходили по всем «заведениям» (т. е. по мастерским при хитровщинской господской усадьбе) и приглашали всех подписываться; отдана же она на сбережение Николаю Кузнецову.

Кузнецов тоже был откровенен. Он сознался, что подписка спрятана им во флигеле, в коридоре, под кирпичами пола, и даже сам указал место похоронки. Трофимов вынул подписку из-под кирпичей при несколько торжественной обстановке, — при всех членах «временного отделения» и при предводителе Албычеве.

В «подписке» говорится, что дворовые, не будучи более в состоянии терпеть поступков господина своего, вынуждены прибегнуть с просьбой к Его Императорскому Величеству и доверяют подписаться за них в этой просьбе пяти человекам. Под документом находится сто пять подписей.

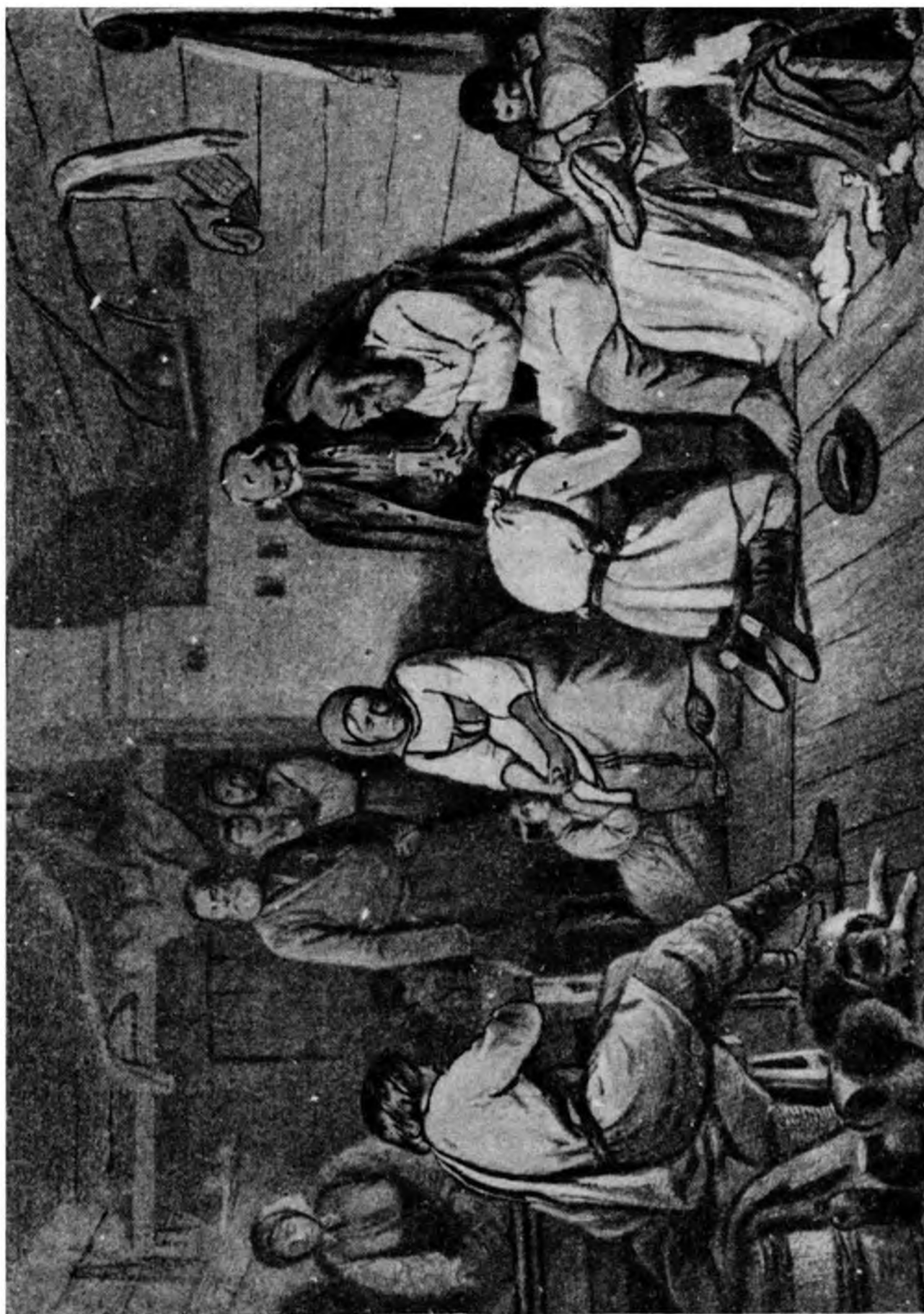
Затем у конюха Никифора Мареева, давно уже содержавшегося в арестантской, найдены были: копии с всеподданнейшего прошения и журнал о поступках Измайлова.

Всеподданнейшее прошение особенно замечательно. Изложено оно грамотно, твердым, даже сильным языком и, по всей вероятности, писано еще в Москве. Привожу из него наиболее выразительные места:

«Мы не осмеливаемся донести здесь Вашему Императорскому Величеству подробно о всех жестокостях господина нашего, от коих всегда и теперь не менее сорока человек находятся, после перетерпенного ими телесного наказания, в тяжких земляных работах и большая часть из них заклепаны в железные рогатки, препятствующие несчастным иметь покой и в самый полуночный час...»

«Он (т. е. Измайлов) до того ожесточился, что много лет не был на исповеди и Святого причастия не сподобился, не дозволяя и нам приступить к сему; если же иногда исполняется сие нами, то не иначе, как под видом болезни. Жениться дворовым людям не дозволяет, допуская девок до беспутства, и сам содержит в запертых всегда замками комнатах девок до тридцати, нарушив девство их силою; а сверх того, забирает иногда крестьянских девок для растления. Четырех человек дворовых, служивших ему по тридцати лет, променял помещику Шебякину на четырех борзых собак...»

«Ныне господин наш, близ восьми уже лет, одержим в руках и ногах подагрой и сам по себе с постели сойти не может; днем и ночью носим мы его на руках своих, и во время таковых припадков ни на час покою нам нет,— и ежели от переноса его с места на место или от поворачивания на простынях почувствует он малейшее беспокойство, то, всю вину обращая на нас, приказывает



Крестьянин благословляет сына в ополчение.
С литографии неизвестного художника

при себе сечь плетью нещадно, угрожая сослать всех на поселение...»

Журнал о поступках Измайлова тоже чрезвычайно интересен. Изо дня в день, бесхитростно и с очевидной правдой передает он про неустанную распорядительность жестокого помещика, про несчастное житье-бытье дворовых. Я привожу здесь вполне этот документ,— благо он очень не длинен:

14 марта 1827 года. Господин генерал-лейтенант и кавалер Лев Дмитриевич разгневался за клобучковских крестьян на приказчика Ивана Овсянкина; у себя в спальне, при полковнике Бурмине и майоре Шибанове, приказал камердинеру бить его плюхами и таскать по полу за волосы, да потом везти в канцелярию, там высечь и ему показать. Сечен нещадно. Притом наказаны двое клобучковских мужиков, Григорий Борисов и Иван Григорьев, острижена у них половина головы и половина бороды и сосланы в тяжелую работу. Также сапожник Филипп Харитонов наказан за то, что держал у себя сестру.

15 марта. Клобучковской роци полесовщик Иван Мартынов и двое лесников, Степан Самсонов и Каликст Гаврюшин, будто бы за несмотрение в лесу и порубку, по приказанию генерала Измайлова, старостою Меркулом Луковниковым наказаны розгами и острижены у них половина головы и половина бороды. Приказание отдано при полковнике Сокореве и полковнике Бурмине. Семейства вышеописанных крестьян (велено) употребить в тяжелую работу.

16 марта. Поехал генерал для осмотра скота и прочего и нашел, что в богоявленском (хитровщинском) гумне ометы сена несколько перепылило снегом, за что выборный Панкрат Кириллов наказан пятьюдесятью ударами, сенщик Дементий Батраков и писарь Федосей Мусоров (получили) по двадцати пяти ударов, и на всех троих надеты рогатки. Того ж дня, ввечеру, цирюльник Иван Турчанинов стал ссаживать с постели господина Измайлова на простыне на судно и нечаянно упустил конец простыни, но, однако, не сделал ни малейшей боли и за

оное, по своему характеру, приказал (т. е. приказал Измайлов) камердинеру сечь его розгами, что и выполнено.

21 марта. Генерал поехал для осмотра по дому и въезжает в богоявленское гумно. С ним был михайловский исправник Маслов. Генерал показывает исправнику троих дворовых — Кириллова, Батракова и Мусорова — в рогатках, на что оба смеялись.

23 марта. Приезжал Епифанского земского суда заседатель Хрущов к генералу с бумагами. Он взошел в контору, а тут, по приказанию барина, собраны были провинившиеся дворовые и крестьяне, до тридцати человек, в рогатках, с остриженными до половины головами. Писарь Николай Нагаев перекликал их, при Хрущове, по реестру, приготовленному для подачи генералу Измайлову. Хрущов прочитал реестр, но ничего не сказал.

29 марта. Одеваясь, генерал усмотрел, что софа черна; за это камердинера Птицына высек сорока ударами плети. Еще же усмотрел на шинели пятнышко грязи, за что камердинера Ключкова также высек сорока ударами плети.

30 марта. У дворовой девки Анны Булгаевой в ночь под 30 число пропало 675 рублей. Генерал прогневался за это на пятьдесят человек мастеровых и не велел им выдавать харчевых на говядину, а главного слесаря, Семена Сандунова, за то, что у него найдены отмычки, всегда, впрочем, находившиеся в мастерской и о которых генерал знал, велел приковать к стене на железную цепь. Сандунов спущен с цепи на другой день.

31 марта. Поехал барин для обозрения по вотчине и нашел, что нечисто расчищают дорогу до Собакина; за это крестьянин Фетис Харитонов сечен был плетью нещадно, а притом сечен был плетью и казак Николай Стрыжов за то, что не больно сек Харитонова.

2 апреля.* По приказанию барина все виновные освобождены и рогатки со всех сняты.

3 апреля. Камердинеру Птицыну изволил отдать приказ: «ежели пойдешь к заутрене (на первый день Свет-

* Должно быть, в пятницу или субботу Страстной недели.

лой недели), то тебе будут плети», а мальчику Юсенку сказал: «а тебе будут розги». Итак, никто из дворовых не смел идти к заутрене.

XV

Всеми найденными документами советник Трофимов, как видно, нисколько не был смущен. Он почерпнул из них только указания для действий к оправданию Измайлова.

Тотчас за открытием копии с всеподданнейшего прошения и птицынского «журнала» Измайлов прислал к Трофимову следующее письмо:

«Действительно, некоторые мои дворовые люди наказывались за худое их поведение надеванием на них железных рогаток, не ко изнурению их, а к удержанию впредь от буйного их обращения жизни, и в том браты были меры предосторожности, чтобы оные (надо понимать: дворовые) не бежали. Но подвижными цепными «стульями» никогда оные не наказывались». В конце письма Измайлов просил освидетельствовать, при уполномоченном от него поверенном, коллежском регистраторе Федорове, находившиеся при его усадьбе «железные вещи», — «кои, впрочем, — как он присовокуплял, — со дня объявления от Епифанского земского суда приказа, от меня велено все уничтожить и для того они хранятся без употребления».

Получив это письмо, которым Трофимов впоследствии воспользовался для того, чтобы как можно выгоднее подладиться к Измайлову, ловкий губернский делец распорядился соответственно своим целям. Он освидетельствовал «железные вещи» — и оказалось: 1) что рогаток шейных всего налицо тридцать шесть, из них двенадцать по полтора фунта каждая, восемнадцать — каждая в фунт и три четверти, три двухфунтовые, одна в два фунта с четвертью, одна в три фунта с четвертью, «с тряпкою, коею обернута», и одна в четыре фунта, «совершенно ржавая и, как должно заключать, лежавшая давно без употребления»; 2) что желез ножных — всего девять: одни в два фунта, четыре в два с половиною,

двое в три фунта, одни в три с четвертью и одни в четыре фунта; 3) что ручных желез одна только пара в два фунта; 4) что подвижных цепных стула — два, с деревянными двумя колодами при них, весом у одного стула — один пуд девять фунтов, у другого — один пуд семь фунтов, цепи же при колодах весом при одной — двенадцать, а при другой — пять фунтов и 5) что, сверх сего, оказались еще стенные цепи: одна в четыре с половиною фунта, другая в шесть с половиною фунтов.

Как ни старался Трофимов поослабить значение факта о «железных вещах» убавлением действительного их веса, замечанием, что тяжелейшая из рогаток — «совершенно ржавая и, как должно заключать, лежавшая давно без употребления», наконец даже сокрытием, что у Измайлова были гораздо тяжелейшие рогатки, весом в десять, пятнадцать фунтов и еще более, тем не менее факт о «железных вещах» был весьма щекотливого свойства уже по тому одному, что вещи эти существовали и — мало того — употреблялись для наказания дворовых людей и крестьян. Трофимов допустил под актом освидетельствования «железных вещей» следующее объяснение измайловского уполномоченного Федорова: «Такого количества рогаток при вотчинном управлении в виду и в употреблении не было, а принесенных двадцать рогаток* принять в то число не можно, ибо из них оказываются — сделанные из старого железа и недавно починенные со вновь вставленными спицами: они должны быть приготовлены по приказанию Овсянкина, чтоб только увеличить число рогаток; а Овсянкин был тут непосредственным распорядителем, да он и в общем заговоре с дворовыми состоит. Конские же железы хранились только для удержания от побегов назначенных в рекруты людей, а не для наказания; равно как и подвижные цепные стулья в употреблении не находились». Но это объяснение — не мог же этого не заметить опытный делец — было крайне неудовлетворительно: во-первых, оно не отрицало существования «железных

* Должно быть, при освидетельствовании «железных вещей», дворовые, сверх 36 рогаток, описанных в акте, указывали еще на 20, гораздо более тяжелых, чем первые.

вещей», чего и нельзя было отрицать, так как они были налицо; во-вторых, не отрицало оно и употребления их для наказания людей, хотя про это и умалчивалось в нем предусмотрительно; в-третьих, наконец, оно явно противоречило вышеприведенному письму генерала Измайлова. Последнее было особенно важно для Трофимова. В самом деле, в этом безграмотном, нескладном произведении, — очевидно, подъяческой изворотливости Федорова, — резко бросалось в глаза нелепейшее противоречие насчет рогаток, которые — выходило по письму — и употреблялись для наказания дворовых и крестьян, и оставались, со времени правительственного объявления о них, без всякого употребления.

Трофимов увидал, что теперь-то он может сделаться совершенно необходимым для Измайлова человеком, — стоило только указать ему на слабость его защиты, на неумелость его поверенного. Так, по всей вероятности, он и сделал. С этих пор он превратился в ревностного измайловского адвоката; с этих пор увлекся он своею двойной ролью до такой степени, что утратил вдруг свою прежнюю осторожность. Он стал писать для Измайлова всякие от него объяснения, излагая их чрезвычайно витиеватым слогом; он начал часто посещать Измайлова, — хотя, впрочем, в ночное, глухое время; он допустил к следствию Федорова, усаживая его во время допросов за перегородку, откуда этот подъячий отлично мог все слышать; наконец, он внезапно переменял свое обращение с дворовыми и стал напускать на них сильную «грозу», причем у него, когда нужно было, действовали чужие кулаки, гремело чужое горло*.

Вот как извернулся Трофимов насчет щекотливого обстоятельства о «железных вещах»: сначала он спросил Измайлова, были ли и в других его имениях рогатки и железа и сколько их по описям состоит; Измайлов отвечал, что таких вещей не должно быть в его имении, — он не приказывал их иметь, и описей у него нет, при вотчинной же его конторе находилось только шестнадцать

* Кулаками особенно отличался ротный командир Калакуцкий, «настоящий ворон», как выражается про него дочь Измайлова, а горлом — усердный епифанский исправник.

рогатов и восемь ножных желез; затем являются приведенные мною в VIII и в X главах моего рассказа красноречивые показания приверженных к Измайлову людей, а также объяснение и самого Измайлова о том, что «железных вещей» и нельзя было не употреблять в такой дворне, какова дворня хитровщинская, но что, впрочем, употреблялись они по распоряжениям не самого помещика, а тех набольших в дворне, которые заведовали различными в ней частями. Стало быть, выходило, — по крайней мере так рассчитывал ловкий следователь, — что строго запрещенные правительством орудия наказаний для крепостных не были в ходу у Измайлова и что если они и оказывались существующими у него, то это должно приписать или самоуправству вышеуказанных набольших, или же — и всего скорее — интриге дворовых, составивших против помещика «скоп и заговор».

Но было и еще весьма щекотливое обстоятельство: это измайловский гарем. Трофимов, по-настоящему, не должен был бы касаться его, потому что ни в одном показании дворовых нет ни малейшего указания на это обстоятельство, а если и упоминалось о нем в копии с всеподданнейшей жалобы, то, во-первых, копия эта не имела официального характера, а, во-вторых, Трофимову не было поручено производить следствие о поступках самого Измайлова. Но он хотел во всем оправдать блаженного помещика.

Он принялся за это очень хитро.

Сначала, ни с того ни с сего, является показание Авдотьи Чернышевой, которая объясняет, что девства лишилась она «от самовольного своего расположения» и тайно от барина; что барин старается не допускать девок до распутства; что для этого они содержатся в особом флигеле, подле воспитывающихся у барина благородных девиц, и им позволено выходить только в церковь, в праздничные и воскресные дни, в сад для прогулки да в баню. Потом, как раз после медицинского освидетельствования тех людей, которые показали о сделанных им в разное время истязаниях, Трофимов «препровождает» к Измайлову выписку из показаний дворовых, «объявивших на него разные неудовольствия», а вместе с тем

список с копии всеподданнейшей жалобы и «просит»: «во-первых, доставить ему подробные сведения против всех обстоятельств, в показаниях и жалобе значащихся, кои могли бы обнаружить сущность и беспристрастную истину, и, во-вторых, уведомить: имеют ли дворовые люди, и особенно поименованные в списке, скот, и если оный ими держится, то какой именно, и на их или на вашем (то есть Измайлова) содержании; и наконец, какое производится людям продовольствие пищею и одеждою, как верхнею, так и нижнею».

Далее отбираются показания от восьми бывших заключенниц хитровщинского гарема: Авдотьи Злокиной, Лукерьи Горшковой, Анны Разиновой, Марьи Кузнецовой, Катерины Орловой, Авдотьи Шелудяковой, Настасьи Шелудяковой и Нимфодоры Кириковой*, — показания, уже вовсе непохожие на показание Авдотьи Чернышевой, обличавшие насилие Измайлова при растлении этих несчастных девушек, и все-таки записанные с умышленною неясностью, явными недомолвками. А в то же время, как отбирались эти показания, Трофимов составляет для Измайлова подробнейшее и красноречивейшее объяснение, долженствовавшее и оправдать злодея-помещика во всех взведенных на него обвинениях, между прочим и в насилиях над гаремными заключенницами, и выставить его как человека, постоянно заботящегося о благосостоянии, о нравственности своих крепостных, и представить составителей всеподданнейшей жалобы как самых дерзких и злобных клеветников**. И, наконец, Трофимов осматривает флигель, где содержатся дворовые девушки, «состоящие в услужении при дочерях и при воспитанницах Измайлова», и находит, что все они «в приличном одеянии, занимаются рукодельями, приличными их полу»; что «в окнах флигеля, выходящих в сад, решеток нет, и, следовательно, из флигеля выход в сад свободен»; при этом «служанки»

* Это — «Нимфа» Хорошевская, о которой рассказано в XI главе.

** То место измайловского «объяснения», где он возражает против «жалобы» об изнасиловании девушек, чрезвычайно характерно, и я считаю нужным привести его вполне, но сделаю это ниже — по его обширности.

эти не заявляют следователю никаких жалоб на свою тут жизнь и высказывают, что им не воспрещается в свободное от занятий время прохаживаться по саду и бывать в церкви. И опять должно было выходить, по расчету ловкого следователя, что в доносе о гареме, о насилиях над девушками высказывается только самая лживая, злобная клевета.

А вот что писал Измайлов в вышеуказанном «объяснении» своем по поводу того места всеподданнейшей жалобы, где говорится о гареме:

«...Потом они делают подлейший извет, что из дворовых девок,— как понимать должно, горничные служанки, во флигеле моего дома живущие,— содержится до тридцати в запертых всегда замками комнатах, по нарушении якобы мною девства их силою, забирая иногда и крестьянских девок для растления. Ложность показания в держании означенных девок будто бы в запертых комнатах открыться может, как через отношение ваше к здешнему духовенству, которое известно, что они ходят для богомолия в церковь и, следовательно, не всегда заперты, так равно и чрез личное ваше освидетельствование, кое я предоставляю сделать, для того, во-первых, чтобы вы увидели, что из флигеля, где они пребывают, есть свободный выход в сад и чрез коридор в комнаты, где живут, как дочери мои, о коих я имел счастье доводить уже до сведения и государя императора, так две мамзели, для компании с ними находящиеся, и мадам, нанятая для воспитания трех малолетних полковника Сафьянова дочерей, у которых те девки состоят и в услужении; сверх того, в том же флигеле живут четыре няньки детей моих, две кормилицы и четыре малолетние горничные девки; и, во-вторых, чтобы вы во время осмотра комнат того флигеля удостоверились от самих же тех девок, что они в господские и праздничные дни точно ходят в церковь господню, у себя в комнатах занимаются рукоделием, а иногда прогуливаются, в свободное время, в саду, наконец (что полагал бы неприличным тут и говорить, но делаю сие единственно для изобличения клеветы), бывают в бане и что на все то они никогда не имели воспрещения, кроме того только, что исполнялось

все оное под надзором доверенных от дочерей моих женщин. Впрочем, и сии меры, как всякий рассудительный человек узреть может, клонящиеся к поселению в тех служанках, по возможности, благонравия, а совсем не к допущению до распутства (как о сем изветчики дерзнули сказать), приняты единственно оттого, что в прежние времена, когда я еще не имел у себя ни своих дочерей, ни сторонних детей, на воспитание мною взятых, некоторые из служанок замечены были совратившимися с пути, полу их приличного, и потому из горничных ссылались во двор и употреблялись уже в другие господские работы. Относительно же употребления мною насилия будто бы к растлению дворовых, а иногда и крестьянских девок, постыдным считаю, и по званию и по летам моим, делать подробные возражения и потому ограничиваюсь только ссылкой на собственный гнусных клеветников моих извет, в коем они пишут, что я близ восьми уже лет, от подагрической болезни в руках и ногах, сам собою с места сойти не могу; следовательно ли, имоверно ли, чтоб я вздумал покуситься на показуемое ими действие, если бы даже имел к тому и желание, а не только исполнять оное. Впрочем, буде они относили сие к прежним временам, до расстройства еще моего здоровья, то и тогда я не мог и не смел употреблять в означенных случаях насилие, сколько по собственным чувствам моим, от того меня отвращавшим, столько же и потому, что таковые предосудительные поступки непременно обнаружались бы давно уже преследованиями правительства, и я не избегнул бы за то строгого по законам взыскания, чего, однако же, и до сих пор не случилось...»

Я уже говорил, что Трофимов успел поселить рознь между дворовыми; но все-таки огромное большинство дворни, хотя и разбившейся в своем первоначальном единодушии, крепко держалось мысли о необходимости вести борьбу с помещиком до конца. Из большинства этого, коренившегося преимущественно в горемычном пролетариате дворни, выступали люди, смело, настойчиво, все с большими подробностями заявлявшие о всяческих неистовствах своего помещика, упорно говорившие на следствии, что они ни за что не откажутся от затеянной

ими борьбы. Один из таких людей успел убежать из Хитровщины в Тулу, для принесения жалобы уже на действия следователя.

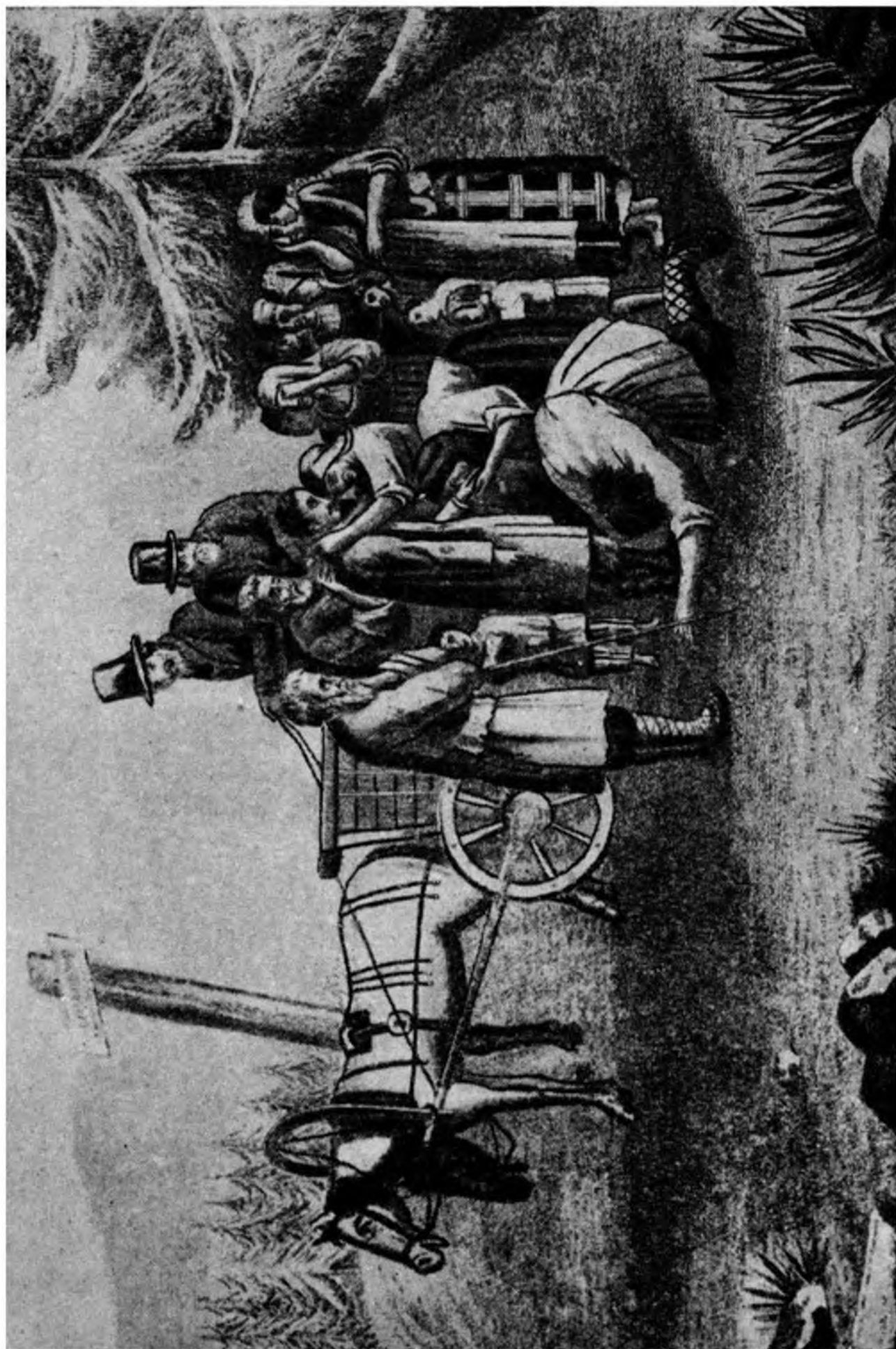
Дворовый этот, Сергей Авдеев Разинов*, в прошении губернатору заявил: что командир роты, вытребованной в Хитровщину, капитан Калакуцкий, угрожает дворовым розгами и палками бьет их по щекам и по зубам, таскает за волосы, и здоровых и больных, которые и так от прежде полученных ими побоев чуть живы, говорит, что все дворовые пропадут, как собаки, если не скажут того, что следует к оправданию барина; что более сорока человек из дворовых находятся уже под строгим караулом, а Калакуцкий по два солдата поставил в каждом доме, чтобы дворовые из домов своих никуда не отлучались; что от этого притеснения, от этого содержания дворовых, «как птиц в клетках», они едва нашли средство прибегнуть к покровительству губернатора. Губернатор потребовал объяснений,— и Трофимов объяснил очень развязно: он донес, что все показания Разинова, изложенные в прошении его, решительно ложны, что лживость эта всего более подтверждается побегом Разинова, что, наконец, «сей Разинов — не только сообщник, но и главнодействующий к успеху замысла» (то есть «скопа и заговора»). Любопытно тоже объяснение об арестах в Хитровщине. «От 30 до 37 человек,— говорит Трофимов,— действительно находятся под воинским караулом, но без этого никак нельзя обойтись, ибо иных людей должно было удерживать по допросам, других за грубости и пьянство, а некоторых по воле помещика, их заподозривающего». Но еще замечательнее трофимовские отметки о причинах содержания некоторых арестантов: так, например, против имен Птицына, Ключкова, Кузнецова, Лапкина, Турченкова и Самойлова отмечено: «За главноприятие (sic!) в составлении замысла против господина и за возмущение к согласию на оное и других»; против имени Нагаева: «За согласие с привезшими всеподданнейшую

* Он и родной брат, мало того, что натерпелись всяческих истязаний,— не имели даже «своего угла» для житья, а сестра их, Анна Разинова (37 лет), бывшая песенница и наложница Измайлова, попав под гнев барский, была сослана на поташный завод, для тяжелой работы, во время же следствия находилась уже в «богадельне».

на господина просьбу, за самовольную с оною отлучку в Тулу, для отдачи на почту, и за начальное содействие к склонению других,— в чем, однако, раскаялся»; против имени Колкунова и Суркова: «За самовольную отлучку в Тулу в намерении засвидетельствовать незаконную доверенность и подать в губернское правление просьбу по заготовленным наставлениям, а более за сокрытие писавшего оные наставления»; против имени Пармена Храброва: «Прежде, за неподписание допроса, потом за различные показания и, наконец, за непризнание в начертании наставлений: какого содержания написать к губернскому начальству просьбы»; против имен Гренадерова, Ахахлина, Юсова, Копылова: «За начальное соглашение»; против имени Мареева: «За сокрытие копии с всеподданнейшей просьбы и журнала и за необъявление об оных, пока не был к тому убежден и изобличен»; против имени Сепкина: «За грубые в допросе изречения в виде угроз, кои явно доказывают злобу его на помещика»; против имени Костыгина: «Не столько за сообщество с прочими, сколько за отступление на очной ставке от первого своего показания»; против имени Шелудякова: «Не столько за сочувствие с прочими, сколько за подачу при начальном следствии просительного письма с условными предложениями» и т. д.

Во всех этих «отметках», не совсем-таки обдуманно сделанных, проглядывает такая твердая уверенность Трофимова, что везде в судебных местах взгляд его на измайловское дело будет принят беспрекословно, что все эти люди, которых он изловил, изобличил в «скопе и заговоре», подвергнутся непременно строгому осуждению.

Да и еще бы не было у него этой уверенности! Не говоря уже о том, что он, на первых порах, заставил дворовых проболтаться почти обо всем, что касалось до затеянной ими борьбы с помещиком, а потом ловко привел их к разладице, которая, как казалось ему, окончательно подрывала все их предприятие,— он открыл подлинную подписку дворовых о жалобе, он нашел даже и эту жалобу в копии, он узнал наконец, что эта жалоба была составлена кем-то в Москве и уже оттуда приве-



Отправление в рекруты.
С литографии неизвестного художника

зена в Хитровщину. При таких данных, без особенного труда ему доставшихся, он ни о какой грозе не помышляет, ни над чем не задумывается и смело ведет дело к предположенному концу,— и направлением объяснений Измайлова (которые сам же и составляет для него), и разными осмотрами и освидетельствованиями (в том числе и медицинским, чрез штабс-лекаря Никитина, который нашел, что из 137 человек, им осмотренных, «если кто из них и наказан, то *слишком* умеренно и легко, а ежели некоторые, и то весьма немногие, и замечены в расстроенном здоровье, то это произошло не от побоев, а от невоздержанной жизни, болезненных припадков и т. п.»), и задаваемыми дворовым вопросами: «Кто первоначально в Москве преподал наставление жаловаться на господина? Какая цель была подачи всеподданнейшего прошения: исходатайствование ли запрещения господину наказывать их телесно, *надежда ли быть вольными*, надежда ли на то, что имение господина будет взято в опеку, или же какие другие причины? Почему о предмете их желания не объяснено во всеподданнейшем прошении и с какою целью о сем умолчано? Не было ли денежного сбора на ходатайство по просьбе?

Да! При виде того, как советник Трофимов все опутывал и опутывал хитровщинских дворовых, как они все больше и больше задыхались в тенетах этого паука-следователя,— ужас невольно охватывает...

Но вдруг случилось происшествие, какого, конечно, не ожидали ни Трофимов, ни Измайлов, ни губернские власти, ни простодушные уездные чиновники, приходившие в такой восторг от назидательных для них действий хитроумного губернского дельца.

XVI

Об этом «неожиданном» происшествии, то есть о приезде в Хитровщину командированного по высочайшему повелению жандармского полковника¹⁵⁵ Шамина, я передам здесь подлинными словами писем старшей дочери Измайлова к любимому ею человеку.

«Голубчик мой! Единственное мое утешение,— говорит влюбленная девушка, в первом своем письме,— к нам приехал из С.-Петербурга ревизор, полковник жан-дармский, но фамилию до сих пор никто не знает, он же сам ее не открывает, а говорит, будто его фамилия — Шамин. Он к нам приехал 11-го дня сего месяца*, в самый обед, в партикулярном сюртуке, тройкой в телеге, и ходил из избы в избу, расспрашивал мужиков. Спросил Николашу** ; ему его показали; он только на него посмотрел и вышел вон. Но это дошло тотчас до папеньки. Он посылает капитана***. Капитан его спрашивает: кто он такой? Полковник говорит, что он едет мимо и здесь остановился отдохнуть; а капитан — совершенный ворон, разинув рот, ушел было; но после, уже надумавшись, сказал ему, для чего он не сказывает свое имя. Полковник улыбнулся и сказал, что он из Петербурга. Вот наш ворон скорее нарядился во всю форму и поехал на дрожках к полковнику — просить его к папеньке. Полковник отослал дрожки и сказал, что придет сейчас.

Полковник пришел к папеньке. Папенька его спрашивает: зачем он приехал? Полковник: «Я приехал все узнать аккуратно от вас и от людей». Папенька, как обыкновенно, начал своим манером: «Это все пустяки, вздор, одна клевета». Полковник: «Я узнаю завтра — пустяки ли это!» Папенька ему на это сказал, что он ничего не боится, что он — не маленький ребенок, что ему бояться нечего. Но полковник отвечал: «Вам нельзя этого говорить, что вам нечего бояться: я ехал, расспрашивал и много слышал об вас дурного». Полковник тотчас от него ушел.

Ангел мой! Теперь я буду вам описывать о моем монастыре. Двенадцать девушек отправились, я же теперь

* 11 мая.

** Вероятно, этот Николаша — Нагаев. Если это так, значит, Анна Львовна, несмотря на то, что Измайлов отверг Нагаева, признает его своим братом. Шамин, должно полагать, посетил его, когда он содержался под арестом.

*** Калакуцкого, командира роты, стоявшей на экзекуции в Хитровщине.

осталась с маленькими девочками. Папенька их призывал, ужасно на них кричал, бранил,— думал, что они испугаются. Но бог дал им столько твердости, что они ему в глаза все рассказали. Он их прогнал. Они пошли к полковнику и все рассказали. А там все подслушивают и переиначивают папеньке вечером. Папенька приказал разослать их всех по другим деревням, но они все пришли просить полковника. Полковник написал к папеньке письмо, но какого содержания, это неизвестно. Девушки до сих пор еще здесь, и полковник сказал им: «Будьте покойны, я вас не дам в обиду, бумаги отошлю в С.-Петербург, а сам останусь, здесь, для вашей защиты». Полковник обедал у папеньки один раз, и весь стол говорил с ним по-французски; но что он говорил, никак нельзя узнать,— только то заметили, что полковник с большим сердцем говорил, а папенька потупил глаза и едва не плакал.

Но папенька до сих пор не оставляет своей брани и крику и во всем препятствует. Он не знал, чем девушкам отомстить: наказывать их он не смеет, так велел у их родных ломать избы и даже все чуланы. А что люди показывают,— во всем запирается. Полковник позвал всех арестантов и говорит им: «Друзья, не лживо ли вы показываете на генерала? Он от всего отказывается и ни в чем не признается». Николаша ему на это сказал: «Если он не признается,— позвольте, я вам докажу, что это правда»; поехал и привез папенькиной рукой приказы: как наказывать, на кого рогатки надеть, на кого цепи, кого сечь, кого в какую работу. Полковник взял сии бумаги и пошел к папеньке. Вот тут уж делать нечего, надо было признаться. Какова совесть! Какова совесть! Прежде полковнику говорил, что, как возвратился с ополчения, ни на кого не надевал рогаток, а теперь поневоле должен был признаться.

Единственное мое утешение! Что наш почтенный делает! Ежели бы возможно, завязала бы глаза да бежала. Срамится так,— право, другой стыдился бы глазами глядеть, а он выдумывает оправдания, и какие же оправдания. Самые пустяшные; например: послал истопников

к полковнику сказать, что калитка только на ночь запирается, а днем отперта. Полковник на все эти глупые оправдания молчит.

Но я слышала, что полковник с папенькой — в большом неудовольствии. Полковник хочет послать эстафету к императору, и папенька своим своеволием доведет до того, что его увезут: он никак не дает делать то, что должно*.

Голубчик мой! Я вам забыла еще написать о советнике**. Он мягко стлал, да жестко спать было бы. Полковник спрашивает девушек: «Отчего же вы не сказывали свои претензии советнику, а мне открыли?» Они ему отвечают: «У нас не спрашивали; советник был, а не спрашивал»***. Полковник призвал советника и начал с ним очень крупно говорить по-французски: «Вы были, но ничего не спрашивали!» Полковник девушкам на это сказал: «Теперь в вашей воле, — как велите написать о нем?» Девушки отвечали: «Как вам угодно».

Что же вышло? Советник на спрашивании сам за всех расписался, что они довольны!

Ангел мой! Солдатам отдан приказ приготовиться. Ожидают еще на этих днях Голицына, но не градоначальника****, а другого, и дорогу всю у нас в селе взбо-

* Измайлов, действительно, много препятствовал полковнику Шамину в его разведываниях по делу: замедлял присылкою нужных к спросу людей; людей этих, после допроса их Шаминым, передопрашивал, грозил им и проч. Он не испугался от приезда Шамина, потому что слишком твердо был уверен в благоприятном для себя исходе дела. Но в таком исходе должен был уверять его в то время и Трофимов, на то у Трофимова были особые соображения, явившиеся как раз с приездом Шамина, — но об этом будет рассказано ниже.

** Т. е. о Трофимове.

*** Это относится к осмотру флигеля, где содержались гаремные заключенницы. В акте об осмотре Трофимов между прочим говорил, что девушки никаких жалоб ему не заявляли. Вероятно, он их и не спрашивал ни о чем. Слова письма Анны Львовны: «Что же вышло? Советник на спрашивании сам за всех расписался, что они довольны», — это доказывают.

**** Т. е. московского генерал-губернатора, князя Дмитрия Владимировича Голицына, который вообще во внутренних губерниях пользовался тогда большою популярностью.

ронили и убивали. Это еще было слышно в то время, когда полковник приехал, что где-то недалеко Голицын остановился, а полковника прислал разведать; но мы считали за пустяки, а вышла правда. Вот мы увидим, чем тогда кончится.

Единственное мое утешение! Я одного прошу у бога, чтобы меня избавил из сего дома и соединил с вами: тогда только могу сказать, что я счастлива, а теперь еще одна надежда. Но что делать: не видав горького, не увидишь сладкого. Может, бог милостив, услышит нашу грешную молитву, и все это кончится к нашему благополучию. Я не могу никак думать, чтобы бог посылал столько несчастий на человека и эти страдания оставил без вознаграждения. А я от бога ничего не желаю, только бы он соединил меня с вами, а после — будь его святая воля; я все буду терпеть и без ропота переносить. Прощайте, ангел мой, единственное мое утешение, будьте здоровы и покойны, надейтесь на бога и не забывайте любящую вас и навсегда вашу.

Нянюшка свидетельствует вам свое почтение. 1827 года, мая 20 дня».

«Голубчик мой! Единственное мое утешение! — говорит Анна Львовна в другом своем письме к тому же любимому ею человеку, — у нас до сих пор никакого решения нет. Полковник хотел ехать 14-го сего месяца, но 13-го получил эстафет из С.-Петербурга, чтобы остался до решения дела.

А недели две тому назад приезжал чиновник. Он остановился в селе и увидал в одной избе дворовую девушку: спрашивает ее, что она — замужем или нет? Она ему отвечает, что нет. Он ей сказал: «Как! Ты уже девушка в поре: пора тебе замуж». Она ему отвечала: «У нас никого не женят и замуж не отдают». Он у ней спрашивал: «Что, у вас есть барин или барышни?» Она ему отвечала: «Есть две барышни». Он у ней спросил: «Добры ли они?» Она начала, по обыкновению своему, расхваливать, особенно меня. Я не столько достойна, сколько ко всем к ним счастлива; а чрез их любовь теперь редкий день, чтобы от папеньки не слыхала какую-нибудь пику.

В допросах у девушек полковник спрашивал об нас, и они все меня особенно хвалили, и, должно быть, что ему из людей кто-нибудь говорил насчет меня и насчет моей жизни, потому что он все подробно знает. Папеньке все это пересказано, потому что всегда, как делают допросы, то кто-нибудь подслушивает. Ему это и досадно,— зачем меня люди любят и хвалят; а подумал бы то: за что они меня станут бранить? Я всегда была посторонняя для них: ежели что могла для них, так только то: видела — не видала и слышала — не слыхала, а до папеньки никогда не доводила; но это всякий бы на моем месте сделал, зная их жизнь. Еще этот чиновник спрашивал о князе*, говорит: «Ну, голубушка, скажи мне: у вас живет грузинский князь?» Она ему отвечала, что у нас живет — татарский. Он на это сказал: «Да, татарский. Нельзя ли тебе его мне показать? В чем он ходит?» Она ему отвечала, что он ходит так, как наши люди ходят. Он у ней спросил: «А не в военном платье?» Она ему сказала, что нет. Он ее опять спросил: «Как бы мне его видеть?» Она отвечала: «Вы пошлите за ним; он к вам придет». Уж не знаю, каким манером капитан с поручиком к нему попали, а он, видно, просил их привести князя. Они послали за князем, и князь, дошед с ними до избы, вернулся назад и не пошел в избу, видно, догадался. А сей чиновник сказал ему, что он ему очень знаком**.

* Т. е. об Али-Гирее Баязетове.

** Пожалуй, что дворовая девушка и налгала Анне Львовне как о встрече своей с чиновником, так и о разговорах с ним. А может быть, и то, что точно проезжал тогда через село Хитровщину какой-нибудь частный человек и, остановившись там для выкорма лошадей, расспрашивал, из простого любопытства, о ходе измайловского дела; воображение же дворовых придало самому обыкновенному случаю значение важного для их участи события. Оно и понятно: приезд полковника Шамина, столь ожививший сначала их надежды, в конце концов не мог удовлетворить их; они видели, что производство дела все-таки остается в руках советника Трофимова, что арестованные Трофимовым люди не освобождаются по распоряжению Шамина, а между тем помещик их весел и бодр и грозит им. Кстати замечу, что тон второго письма Анны Львовны чересчур небрежен,— должно

Но дня три тому назад Михайло Романович* присылал тайным манером успокоить людей, чтобы они молились богу, что все скоро окончится в их пользу; он видел сего чиновника в Туле, и вот каким случаем:

Он посылал в трактир за пивом свою работницу. Она приходит в трактир и видит троих, которые ужасно бранят папеньку. Она приходит к Михайле Романовичу и рассказывает ему. Он тотчас пошел к ним и вступил с ними в разговор, и они сказали: «Нас теперь трое, нам делать теперь нечего, а мы скоро ждем еще из Петербурга, тогда уже прикатим».

А папенька собирается в Горки. Но я думаю, что это сборы будут «маланьины»**: с самой святой собирается, но до сих пор ни с места.

Ангел мой! Сколько меня огорчает, что я не могу получить от вас писем! Мне хоть и трудно вас уведомлять, но выбирается время, в которое можно тайным образом передать мое письмо, а от вас — никаких средств нет, чтобы получить. Ах! Долго ли продлится несносное время это! Как скоро кончится, то непременно отслужу молебен; ежели возможно, то сама пойду в церковь, а не то — пошлю кого-нибудь. Прощайте, ангел мой, будьте здоровы, веселы и спокойны. Не забывайте верно любящую вас и навсегда вашу.

Нянюшка свидетельствует вам почтение. 1827 года, июня 17 дня».

Итак, приезд полковника Шамина произвел большой эффект в Хитровщине. Оживились надежды измайловских дворовых, ободрились эти забитые, придавленные люди, укрепились опять для страшной своей борьбы, хотя Шамин и далеко не удовлетворил их ожиданиям,—

быть оттого, что она спешно записывала рассказ болтливой дворовой девушки.

* Калкунов. Он происходил из дворовых людей Измайлова, был отдан в солдаты и дослужился до штабс-капитанского чина; служил во время измайловского дела смотрителем какого-то благотворительного заведения в Туле. Он принимал жаркое участие в несчастном положении измайловских дворовых, по собственному опыту хорошо ему известном, и давал им советы насчет принесения жалобы государю.

** Т. е. медленные, нерешительные.

по причинам, выше мною указанным. Поусмирил, понапугал Шамин и наглого следователя,— по крайней мере перед самым окончанием следствия заставил включить в него несколько таких фактов, которые, сильно обличая Измайлова, явно противоречили общему направлению дела: так, Трофимов вынужден был отобрать, в присутствии Шамина, показания от пятнадцати дворовых девушек и замужних женщин о растлении их Измайловым, о насилии его при этом, о содержании постоянно взаперти, о недозволении видаться с родными и ходить в церковь — и это были показания тех самых девушек и женщин, о которых у Трофимова в акте осмотра гаремного флигеля было записано, что они никаких жалоб не заявили. Так, по настоянию Шамина же, пришлось Трофимову включить в следственное дело тринадцать приказов, подписанных Измайловым, о разных наказаниях дворовым, а в том числе и об употреблении рогаток. Только сам Измайлов бодрился все по-прежнему и тогда еще, может быть, не покидал своих намерений о мести своим дворовым, о том,— как носились слухи,— чтобы по окончании дела скрыть до основания жилища их и сослать всех дерзнувших восстать против него в Сибирь, для какой ссылки уже высчитаны были им и издержки, с лишком в двадцать тысяч рублей ассигнациями.

Когда именно выехал полковник Шамин из Хитровщины,— по делу не видно, но, должно быть, вскоре после того, как написано было второе письмо Анны Львовны. Ему и нечего было делать больше в Хитровщине: он узнал уже все, что ему нужно было, а кстати и следствие трофимовское совсем было окончено.

Но хоть следствие и было окончено, а Трофимов выехал из Хитровщины позже Шамина: он оставался еще там, под предлогом составления записки из следствия, чего, впрочем, по тогдашним правилам о производстве следствий вовсе и не ставилось в обязанность как уездным, так и губернским чиновникам-следователям*. У

* От этого и при деле нет подлинной «записки» Трофимова, а есть только копия, найденная у дворянского заседателя Хрущова и переписанная отчасти самим Хрущовым, а отчасти Федоровым.

Трофимова были на это особые свои собственные причины, может быть, обусловленные тем именно соображением, что, пожалуй, дело измайловское, вследствие помехи, произведенной в нем Шаминым, разыграется очень худо для него, Трофимова. Он надумался получить порядочное-таки вознаграждение за труды свои для Измайлова. Из письма Трофимова, которое дворовые нашли разорванным на множество лоскутков, но все подобрали их и склеили тщательно да и представили последним следователям, видно, что перед самым выездом своим из Хитровщины в Тулу он попросил у Измайлова *взаимы* пятнадцать тысяч рублей, необходимо нужных будто бы ему на уплату по поручительству за какого-то несостоятельного должника. В «записке» из измайловского дела, которою я пользовался, письмо это называется *черновым*,— но как бы там ни было, а дело тут, должно быть, не без греха: последующие обстоятельства, в связи с письмом, явно указывают, что оно было послано Трофимовым и дошло по первоначальному своему назначению; по делу оказывается, что в самый же день получения этого письма Измайлов отправил своего поверенного Федорова с пятнадцатью тысячами рублей в Зарайск, город Рязанской губернии, где очутился тогда Трофимов и куда, чтобы ехать в Тулу, ему вовсе было не по пути.

Сам генерал Измайлов выехал из Хитровщины в горецкую свою усадьбу еще позднее, именно в начале июля 1827 года. А перед тем бежала из родительского дома Анна Львовна. (Кстати: по всей вероятности, именно Федоров, подслуживавшийся Измайлову письмами его дочери, присоветовал представить их к делу.)

В Хитровщине Трофимов оставил семьдесят человек арестантов. Их караулили солдаты роты Ярославского пехотного полка, все еще стоявшей «на экзекуции» по избам дворовых и некоторых из крестьян села Хитровщины. Утеснение от этой экзекуции, содержание под арестом многих из дворовых не отнимали, однако, у целой хитровщинской дворни пылких надежд на благополучный исход дела; уже нисколько не разрознивались

они промеж себя, не выдавали друг друга, не изменяли начатому делу: по крайней мере со времени приезда полковника Шамина уже не было со стороны дворовых никаких заявлений в пользу помещика, ни доносов друг на друга, ни раскаяний в принятии участия по делу о принесении жалобы государю, а между тем о получении таких заявлений, доносов, раскаяний очень хлопотал, в предвидении какой-то опасности, усердный подьячий Федоров, которого Измайлов оставил тогда управлять Хитровщиною.

Предчувствие Федорова было не даром. Да и сам Измайлов, сидя в своей горецкой усадьбе, вряд ли был тогда бодр и спокоен. Над ним собиралась сильная гроза — и она разразилась первыми своими ударами довольно скоро.

XVII

Вот как собралась гроза на Измайлова:

В августе 1827 года начальник Главного штаба Его Императорского Величества сообщил управляющему Министерством внутренних дел как о дошедших до государя сведениях, что производивший следствие в имени генерала Измайлова советник Трофимов был вызван для того самим Измайловым и составлял для него ответы и объяснения, так и о том, что государь, не полагая, чтобы дело это было ведено Трофимовым без всякого лицепрития, повелеть соизволил: «Полученные вновь об образе жизни и обращении Измайлова с своими дворовыми людьми сведения доставить к нему, управляющему Министерством внутренних дел, с тем, чтоб он приостановил рассмотрение произведенного советником Трофимовым следствия, поручил тульскому гражданскому губернатору, вместе с тульским губернским предводителем дворянства удостовериться как в беспристрастии учиненного советником Трофимовым исследования, так и в справедливости вновь дошедших об Измайлове сведений, и о последующем доложил бы Его

Императорскому Величеству». Управляющий министерством 2 сентября передал высочайшее повеление об Измайлове к исполнению недавно назначенному тульскому губернатору фон Трейблуту, причем просил губернатора, по исполнении поручения, представить заключение по делу, как свое, так и губернского предводителя. Затем, от 14 сентября, были доставлены в Министерство внутренних дел, чрез начальника же Главного штаба, дополнительные сведения о советнике Трофимове, о генерал-лейтенанте Измайлове и о подпоручике Измайлове, причем объявлялась воля государя, чтобы «сведения сии были поставлены на вид губернатору и губернскому предводителю дворянства, для общего соображения при исполнении возложенного на них поручения».

Несомненно, что генерал Измайлов проведаль довольно рано, еще в начале августа, о собирающейся над ним грозе и, проведаль, да кстати разуверившись в прочности трофимовской работы, решился на самые рискованные меры, играя тут, впрочем, не в свою, а в чужую голову. 21 августа поверенный его Федоров представил земской полиции найденные будто бы им черновые по делу бумаги дворовых людей; повод к представлению этих бумаг объяснялся тем особенно, что на одной из них оказывалась приписка, сделанная карандашом, под почерк Пармена Гаврилова Храброва: «Помните общее наше слово: в случае нашего невыигрыша, карачун дать ему». Приписка эта истолковывалась Федоровым в смысле умысла на жизнь генерала Измайлова. И вот, несмотря на всю невероятность такого умысла, о котором с нелепой наивностью расписался будто бы сам главный злоумышленник*, немедленно начались расследования со стороны полиции, одновременно в Епифанском и Зарайском уездах; однако к тем результатам, каких ожидал Федоров, расследования эти не привели, да и не могли тогда привести: везде уже стало оглашаться,

* Трофимов предполагал, что весь план о подаче всеподданнейшей жалобы был составлен Иваном Ахахлиным, управляющим измайловскими домами в Москве, но после подозревался в этом уже Пармен Храбров.



Колода.

С литографии неизвестного художника

что измайловское дело будет переследовано по особому высочайшему повелению. Впрочем, воля Измайлова и в то время еще имела силу: по его указаниям арестовано было в Хитровщине семь человек, а в селе Деднове двадцать четыре человека*. Между тем в полицейских еще расследованиях оказалось уже обличение последней каверзы Федорова, писаря хитровщинской домашней канцелярии: Шанский и Тарасов доказали, что он нашел бумагу с диковинной припиской не в то время и не в том месте, как им объяснялось, и за это обличение Федоров сослал Шанского и Тарасова пасти скотину. Вообще каверза Федорова (выдуманная, вероятно, не им самим) решительно не удалась.

* Арестованные дедновцы были отправлены в Хитровщину, через Рязань, Зарайск и Тулу, скованными.

Губернатор фон Трейблут и губернский предводитель Мансуров приступили к порученному им переследованию уже в октябре месяце.

Эти последние следователи по измайловскому делу действовали уже совсем иначе, чем епифанские чиновники и опытный делец Трофимов. Можно было и ожидать этого от них уже потому, что они были присланы по особому высочайшему повелению; но и вообще видно, что это были люди честные и просвещенные. Они отнеслись к предмету исследования с величайшим вниманием и сразу обратились к самой сущности дела, т. е. к поступкам Измайлова со своими крепостными. По первым же приемам следователей этих,— приемам далеко не обыкновенным, чуть ли не совсем новым в тогдашнее время,— очевидным становилось, что они сделают свое исследование серьезно, вполне беспристрастно, без всякой пощады к крупному помещику, к сильному в обществе человеку. Вообще они считали необходимым представить верховной власти и суду: как живет Измайлов, что он делает круглый день, с утра до ночи; как он хозяйством своим занимается; как обращается с людьми, не только со своими крепостными, дворовыми и крестьянами, но и с разными посторонними, между прочим с уездными чиновниками, с соседями-помещиками; каково при том положение его хозяйства во всех многочисленных его отраслях; как содержатся его дом, двор и усадьба; каково, наконец, житье-бытье его дворовых людей. Вместе с тем с неотступной энергией преследуют они каверзы измайловского поверенного Федорова: окончательной проверкой обстоятельства о вышеуказанной приписке уничтожают злодейское обвинение против Пармена Храброва, строго поверяют и другое обвинение со стороны Федорова, сделанное против дворовых, что будто бы и на его жизнь они покушаются, и обвинение это, по проверке, оказывается совершенно бездоказательным, наконец, отвергают домогательства Федорова об арестовании, сверх семидесяти человек, арестованных Трофимовым, еще восьмидесяти одного человека.

Однако у таких действий честных, разумных и просвещенных следователей есть и обратная своя сторона.

Следователи эти не могли же не составить себе ясного понятия о том, что такое помещик Измайлов, каким злодеем был он в отношении своих крепостных, как были правы его дворовые, решившись наконец искать себе защиты у верховной власти, как дерзко и пошло была придумана сказка о «скопе и заговоре», — и тем не менее эти добросовестные, разумные, просвещенные люди не выпустили из-под ареста горемычных измайловских людей. Оттого эти люди на время суда попали в острог. А между тем генерал Измайлов остался на свободе, в одном из своих имений, и даже имел возможность, — хотя и не по-прежнему, а лишь из-под руки, — распоряжаться этими имениями.

Губернатор фон Трейблут и предводитель Мансуров, может быть, не посмели освободить арестованных?.. Сильно еще царствовало тогда на Русской земле крепостное право. Люди, пытавшиеся отделаться от самых крайних злоупотреблений крепостным правом, представлялись все-таки какими-то возмутителями общественного порядка, и вот почему, по всей вероятности, не доделали своего дела последние следователи... Так бывало по крайней мере у нас еще и не то чтобы давно.

Поэтому в делах, подобных измайловскому делу, все надежды крепостных людей могли сосредоточиться только на верховной власти, — она только могла вполне беспристрастно, вполне смело смотреть на положение этих «сирот» в обществе, сирот действительных, имевших всегда сильное сознание о своем сиротстве, — как это выразилось даже в развращенной дворне измайловской. И утешительно видеть хоть, например, в измайловском деле, что верховная власть отвечает надеждам народным: генерал Измайлов, вышедший из-под следствия, даже из последнего, весьма благополучно, все-таки вовремя попадает под опеку¹⁵⁶ по особому высочайшему повелению.

Кстати заметить здесь, что как раз после назначения опеки в образе мыслей Измайлова насчет ответствен-

ности перед законом за злоупотребления крепостным правом совершается очевидная и значительная перемена: не говоря о том, что он уже не осмеливается самодурствовать и бесчинствовать по-прежнему, он явно и сильно трусит. Это во многом проявляется. Так, в начале 1828 года он говееет и приобщается... Так, он жалуется в прошениях своих на гонения каких-то врагов, указывает на старые свои заслуги, даже испрашивает себе пощады и помилования. Но и вот что замечательно: в средствах защиты себя от обвинений в тяжких преступлениях он оказывается вообще так же неразборчивым, как был неразборчив прежде для проявления своего бешеного произвола, при отыскании везде и во всем потехи своим избалованным, разнузданным страстям. Он защищался не правдиво, не прямодушно и смело, а с голосу нашептывавших ему мерзостных подьячих — лживо, клеветливо и униженно...

XVIII

Мне остается рассказать немногое,— только о том, как отнеслась к измайловскому делу тогдашняя судебная власть в разных ее инстанциях.

Записка из измайловского дела была внесена в Комитет министров, и, по положению его, состоялось 20 февраля 1828 года следующее высочайшее повеление: «1) Произведенное о поступках генерал-лейтенанта Измайлова следствие предоставить рассмотрению судебных мест, но не в Тульской губернии, ибо тамошние чиновники, состоя под начальством производившего следствие тамошнего гражданского губернатора, были бы стеснены в суждении их об оном, а в Рязани;

2) генерал-лейтенанту Измайлову объявить, чтобы он, по требованию суда, давал нужные объяснения и чтоб до окончания дела не имел пребывания в своих деревнях^{*}; 3) для управления имениями его в Тульской и

^{*} Однако он имел там пребывание и до окончания дела и после того. Он отделался от выезда по причине болезней своих. Сначала

Рязанской губерниях учредить опеку, но с тем, впрочем, чтобы собираемые с имений сих доходы предоставлены были непосредственному его распоряжению и чтобы губернские начальства имели строжайшее наблюдение, дабы дворовые люди и крестьяне Измайлова отнюдь не уклонялись от исполнения обязанностей их в отношении помещика; 4) советника Тульского губернского правления Трофимова, обвиненного в лихоимстве, предать суду также не Тульской, а Рязанской уголовной палаты, и для того от должности его ныне же удалить; и 5) управляющему Министерством юстиции за ходом дела сего иметь строгий надзор, а управляющему Министерством внутренних дел строго наблюдать, чтобы взяты были все нужные меры к охранению покорности и тишины в имении Измайлова».

Высшее правительство сочло необходимым передать измайловское дело к рассмотрению судебных мест Рязанской губернии,— конечно, в общих видах охранения целей правосудия; но на практике оказалось не совсем так, по крайней мере в отношении той именно стороны, которая всего более нуждалась в беспристрастности суда.

его ежемесячно свидетельствовали и находили, что ему никак нельзя тронуться с места (хотя слишком хорошо было известно его соседям, что он нередко выезжает на охоту). Впрочем, положение его здоровья, в самом деле, было уже очень дурно, гораздо хуже, чем было в Хитровщине, что, вероятно, немало зависело и от душевного спокойствия; в медицинских свидетельствах говорится, что мучившие его подагра и хирагра достигли тогда высшей своей степени, лишая его всякой способности к движению; замечательно,— в одном из таких свидетельств обращено особое внимание на чрезвычайно яркий блеск глаз Измайлова и намекается, что жизнь изможденного его тела как бы вся сосредоточилась в этих глазах. В конце 1828 года Комитет министров, по рассмотрении прошения Измайлова о дозволении ему остаться в имении своем, сельце Горках, и основываясь на удостоверении о болезненном его положении со стороны акушера Рязанской врачебной управы, свидетельствовавшего его в сентябре 1828 года, положил: «По уважению болезненного положения генерал-лейтенанта Измайлова, оставить его в настоящем месте его пребывания и затем не делать ежемесячных свидетельств через медицинского чиновника, как о том от Правительствующего сената предписано».

На самых же первых порах судебное разбирательство пошло весьма тяжело для хитровщинских дворовых. Не говоря уже о том, что многие из них были угнетены вытребованием в Рязанский уездный суд для «подтвердительных допросов» (что, впрочем, обуславливалось до некоторой степени тогдашними формами уголовного судопроизводства), — в суде этом встретили они явное против себя пристрастие. Так, уездный судья Морозов перерывал их показания, не допускал, чтобы показания эти записывались вполне, а при подписке допросов объявлял допрашиваемым, что если они не подпишутся просто, без всяких оговорок, то он сделает их ослушниками. Затем вытребованные тотчас же были заключены в рязанский острог; а наконец, уездный суд признал их всех виновными в возмущении против помещичьей власти, в составлении против помещика «скопа и заговора» и приговорил их, по телесном наказании, к ссылке в Сибирь. С тем вместе, само собою разумеется, генерал Измайлов был во всем оправдан.

Вторая степень суда рассудила дело не лучше. Рязанская уголовная палата утвердила определение уездного суда; а рязанский гражданский губернатор Карцов и еще поусердствовал: согласившись вообще с решением палаты в отношении осужденных ею дворовых, он находил, что, сверх сих осужденных, надлежит подвергнуть тому же наказанию и еще других людей.

Но судьба сжалилась над несчастными и гонимыми.

В то время сенаторы Огарев и Салтыков ревизовали Рязанскую губернию*. Как видно, измайловское дело было им хорошо известно. Их не могло не поразить направление рязанских судебных мест при рассмотрении этого дела, — направление, по которому судебные места, вопреки взгляду высшего правительства на дело, не обращали вовсе внимания на поступки Измайлова, а хотели обвинить, во что бы то ни стало, крепостных его людей, принесших на него жалобу государю, очевидно справедливую. Сенаторы немедленно распорядились

* Сенаторская ревизия эта назначена была, как я слышал, всего более вследствие управления губернатора Карцова губерниею.

водворить арестантов по измайловскому делу, впредь до решения одного, в место жительства их, в село Хитровщину. Правда, эти люди были отданы под строгий надзор опекунов измайловского имения, которые много притесняли их, но все-таки они были дома, на свободе, и надежды их опять должны были оживиться.

Наконец измайловское дело было рассмотрено во 2-м отделении шестого департамента Правительствующего сената. Решением своим Сенат полагал:

«1) Как имение Измайлова уже взято в опеку и сам он, по образу обращения его со своими людьми, не может быть допущен до управления того имения, то оное оставить в опеке; и хотя было бы неуместно иметь Измайлову пребывание в своем имении, но так как он, по уважению к тяжелой его болезни, оставлен в настоящем месте пребывания, то дозволить ему находиться там до выздоровления.

2) О долговременном небытии Измайлова на исповеди и у Святого причастия предоставить рассмотрению духовного начальства, по назначению коего также возложить на него церковное покаяние за незаконное его сожитие.

3) По воспрещению людям быть у исповеди и у Святого причастия и вступать им в брак оставить Измайлова в сильном подозрении.

4) Случай о наказании Измайловым дворовых и крестьян в деревне Кашиной*, за недачу посланному от него девки для непотребства, за давностью и на основании 14-й статьи дворянской грамоты, оставить без суждения.

5) По обвинению в богохульных насмешках, при отсутствии доказательств, оставить Измайлова без взыскания.

6) Совершение в Михайловском уездном суде четырех купчих крепостей на дворовых людей** подвергнуть действию всемилостивейшего Манифеста 22 августа 1826 года.

* Случай этот выведен в следствии фон Трейблута и Мансурова.

** Это — промен людей на собак майора Шебякина.

7) Обстоятельство о даче Измайловым денег советнику Трофимову рассмотреть при решении поступившего в Сенат дела по обвинению Трофимова в лихоимстве.

8) Коллежского регистратора Федорова, в составлении фальшивой приписки и в ложном извете на дворовых людей Измайлова о покушении будто бы их на жизнь господина своего и на его, Федорова, оставить в сильном подозрении, и как человека неблагонадежного, ни к управлению имениями, ни к хождению по посторонним делам не допускать, и об этом Рязанское губернское правление имеет публиковать повсеместно.

9) Дворовых людей Измайлова, как не признавшихся и не изобличенных в неповиновении помещику своему и в покушении на его жизнь, от суда и следствия по сему делу освободить.

10) Людей и девок, сознавшихся в блудодеянии, предать церковному покаянию, по назначению духовного начальства.

11) Утвердить решение уголовной палаты: об истреблении найденных у Измайлова железных орудий, об освобождении от суда и следствия прапорщика Баязетова и побочной дочери Измайлова Анны Львовны, о предоставлении рассмотрению военного начальства поступков подпоручика Измайлова, о взыскании с генерал-лейтенанта Измайлова 1061 р. 60 к., употребленных на прогоны и канцелярские расходы при производстве следствия тульским губернатором и губернским предводителем. Затем, в прочих частях решение палаты, равно и мнение рязанского гражданского губернатора, как несообразные с существом дела и с законами, отставить.

12) Жалобу дворовых на опекунов* передать рассмотрению 1-го департамента Сената.

13) Противузаконные действия исправника Попова, дворянских заседателей Нечаева и Хрущова, секретаря

* Щебанова, Хрущова и Лихарева; из них первый неоднократно доносил на дворовых, что они не повинуются ему и вотчинным начальникам; но этот донос, по расследованию, оказался несправедливым; а Хрущов, как жаловались дворовые, неправильно сдал в солдаты из них двадцать шесть человек.

Савельева и уездного предводителя Албычева поручить рассмотрению и определению Тульской уголовной палаты, а о действиях уездного стряпчего предоставить рассмотрению управляющего Министерством юстиции.

14) Рассмотрение действий Рязанского уездного суда, по жалобе относительно передопроса некоторых из дворовых и притом с угрозами, и взыскание с виновных, буде окажутся, предоставить рязанскому правлению.

15) Правившему должность тульского гражданского губернатора, статскому советнику Хрулеву, не воспреотившему земскому суду требовать в село Хитровщину роту воинской команды и не приказавшему возвратить ее к своему месту, ввиду донесения исправника, что со стороны дворовых людей никакого ослушания помещику их нет, рязанским: уездному суду и уголовной палате, оправдавшим совершенно Измайлова, а большое число людей безвинно присудившим к наказанию и к ссылке в Сибирь, тамошнему гражданскому губернатору Карцову, который не только согласился с неправильным решением уголовной палаты, но, сверх присужденных ею, подвергал тому же наказанию и других людей,—сделать строгий выговор».

На приведение в исполнение определения Сената относительно последней статьи было испрашиваемо высочайшее соизволение, и 11 ноября 1830 года объявлено Комитету министров следующее собственноручное повеление государя императора: «Согласен. Г. Измайлова выслать на жительство в Рязань или Тулу, куда пожелает, безвыездно; кто ж по опеке назначится к управлению имением, донести».

7 января 1831 года опубликовано печатно от Сената о сделанном разным учреждениям и лицам строгом выговоре. В том же январе опубликовало Рязанское губернское правление, через печатные сообщения в другие губернские правления, приговор Сената о коллежском регистраторе Федорове.

Так кончилось измайловское дело... Сам Измайлов, несмотря на высочайшее повеление о высылке его в Ря-

зань или Тулу, все-таки до самой смерти своей прожил в горецкой усадьбе.

Измайлов умер в 1834 году, в сельце Горках, а похоронен в селе Деднове.

**ОТРЫВКИ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ**

Бунт и усмирение в имении Голицына (1847 г.)

Настоящий отрывок я извлекаю из записок моих, еще далеко не приведенных в порядок и даже не оконченных.

После рассказа о дедновском бунте, кажется мне, кстати будет рассказать и о других случаях волнений в крепостном крестьянском населении, которые на языке тогдашнего губернского общества назывались обыкновенно крестьянскими бунтами. С 1847 года, когда я увидел первый крестьянский бунт, что было вскоре по вступлении моем в службу чиновником особых поручений¹ при рязанском гражданском губернаторе, и по 1858 год, когда произошел бунт дедновский*, тот страшный бунт, которым закончились в Рязанской губернии подобные истории и везде к тому времени становившиеся уже невозможными,— не мало этих печальных событий прошло перед моими глазами.

Их было даже много, так много, что период времени, взятый мною для рассказа собственно о Рязанской губернии, был истинно замечателен и в гораздо более обширном отношении, ибо тогда чуть ли не во всех губерниях с крепостным населением стали обнаруживаться признаки такого народного движения, навстречу которому следовало выступить, и как можно скорее, уже не с подавляющими, карательными мерами, столь любимыми тогдашней губернской администрацией, а с существенными, коренными преобразованиями.

* Кстати: при усмирении этого бунта я не находился, что считаю для себя особенным счастьем, я только производил следствие о причинах дедновского бунта.

Об общем характере того времени в указываемом мною смысле накопилось в литературе уже немало сведений, но полагаю, что и из тех фактов, про которые придется мне рассказывать, будущий историк самого великого преобразования в нынешнее царствование извлечет кое-что,— кажется, еще доныне не вполне замеченное и пригодное,— для большего уяснения того особенно напряженного направления, какое стало тогда обнаруживаться в крепостных массах.

Прежде всего постараюсь изобразить общими чертами, в каком виде находились тогда в Рязанской губернии крепостные отношения.

Рязанская губерния считалась вообще одною из наиболее производительных по сельскохозяйственной промышленности; но в действительности такое понятие — неправильно, по крайней мере чересчур обширно; по всей вероятности, оно основывалось лишь на том собственно, что тут было много крепостных крестьян и помещичьих имений, много и самих помещиков (из всего тамошнего народонаселения, простиравшегося ко времени Крестьянской реформы до полутора миллионов, крепостных числилось свыше 600 тысяч душ). По своей производительности Рязанская губерния резко разделяется на три полосы: во-первых, уезды Егорьевский, Касимовский, Спасский и наполовину Рязанский имеют почву песчаную и весьма малопригодную для земледелия; во-вторых, в уездах Зарайском, Пронском и в другой половине Рязанского почва холодно-глинистая, тяжелая для обработки, могущая давать порядочные урожаи только при самом тщательном возделывании и при сильном удобрении; и, в-третьих, наконец, остальные уезды: Михайловский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Раненбургский и Данковский, особенно же два последних, имеют почву, действительно, вполне благоприятную для земледелия. Таким образом, отнюдь не всю Рязанскую губернию, а лишь половину ее можно было считать чисто земледельческою,— и оттого в до-реформенное время народная производительность, а вместе с тем и сельскохозяйственная система в помещичьих имениях распределялись в следующем виде: в

уездах Егорьевском, Касимовском, Спасском и половине Рязанского (слывущей в народе под именем «Мещёры») если не все помещичьи имения, то огромное большинство их состояло на оброке*, и поэтому, во-первых, между тамошними оброчными крестьянами была развита довольно сильно всякая промышленность, и многие из них отходили для промыслов «на сторону», а, во-вторых, и помещиков в тех уездах, особенно же в Егорьевском, в Мещёрской половине Рязанского, да и в Касимовском, проживало весьма немного (так что, например, на дворянских выборах Егорьевский уезд был всегда «несамостоятельным», т. е. число местных дворян, имевших право голоса² и приезжавших на выборы, было всегда менее двенадцати — числа, указанного для выборов на уездные должности); затем, в уездах Зарайском, Пронском и в другой половине Рязанского помещичьи имения наполовину, а может быть, и несколько более, тоже состояли на оброке, и надо притом заметить, что в этой части губернии, вообще обильной незначительными имениями, жило много помещиков даже в имениях оброчных; наконец, во всех остальных уездах: в Михайловском, Скопинском, Рязском, Сапожковском, Раненбургском и Данковском — почти все имения состояли на барщине, тут — особенно в трех последних уездах — было много больших имений, находившихся в заведовании управляющих, помещиков же проживало много только в Рязском уезде, да отчасти в Михайловском и Скопинском.

* В Егорьевском уезде барщина тоже была заведена, — и, по правде сказать, лишь ради прихоти барской, — в местности, прилегающей к Коломенскому и Зарайскому уездам, где почва — супесчаная и только при сильном удобрении может давать порядочные урожаи; вообще же на весь Егорьевский уезд барщинных имений было не более 5—6. В Касимовском было побольше барщинных имений, но и там барщина обуславливалась главнейше тем, что некоторые помещичьи деревни принадлежали к имениям, состоящим в Меленковском уезде, где находились железные заводы (например, Гусевский завод наследников Баташева). В Спасском у. еще больше было барщинных имений, но все-таки их количество представляло относительно общего количества имений в уезде не более одной пятой. В «Мещёре» все имения, за исключением, может быть, двух-трех, были оброчные.

Такое распределение рязанских имений имело большое влияние на крепостные отношения, о которых я предположил теперь рассказывать.

В имениях оброчных уездов первой категории, можно сказать положительно, и вовсе не было крестьянских бунтов, т. е. случаев неповиновения крестьян помещикам целыми имениями. Оно и понятно — почему: оброчная система, ставившая крестьян в отношения к помещикам все-таки определенные и даже отдаленные, причем помещик имел дело с целым «миром», почти всегда состоявшим под заведованием старосты или приказчика из своих же односельчан, была несравненно легче системы барщинной, при которой каждый крестьянин, по своей барщинной работе, был постоянно, чуть не ежедневно, лицом к лицу или к самому барину, или к его управляющему, какому-нибудь немцу, поляку, не то — производному мещанину-кулаку³. Притом же, во всей этой полосе Рязанской губернии и помещиков, как я уже сказал, жило весьма мало. Вообще тут если и прорывалось крупное неудовольствие крестьян на крепостную зависимость, было ли то в виде жалобы на помещика или же в виде какого-нибудь поступка с помещиком, то всегда это были совершенно одиночные факты, проявившиеся из-за того, например, что какой-нибудь барин, переселившийся вследствие стесненных своих обстоятельств в свое оброчное имение, вдруг затевал слишком тяжелые хозяйственные порядки или же начинал чересчур произвольничать с отдельными личностями из крестьян (по крайней мере за период времени с лишком десятилетний я знаю только два подобных случая, по одному на уезды Егорьевский и Рязанский, на Мещёрскую его часть, — да и они, эти случаи, нисколько не походили не только на крестьянский бунт, но и на простое неповиновение помещичьей власти, хотя и вызваны были прямым произволом этой власти). В имениях уездов второй категории тоже весьма редко бывали случаи неповиновения помещичьей власти. Я полагаю, что причины этому были самые простые, но и самые действительные. Прежде всего замечу, что тамошние многочисленные помещики в огромном своем большинстве далеко не принадлежат

к числу помещиков крупных, избалованных широкою жизнью, а поэтому или слишком требовательных в отношении своих крестьян, или слишком небрежных к своим нравственным помещичьим обязанностям: живя постоянно в своих имениях, здешние средней руки помещики⁴ жили вообще тихо и скромно, без лишних претензий, не особенно нуждаясь в увеличении во что бы то ни стало своих доходов и твердо поддерживая в системе своего хозяйства и управления в имениях те хорошие, патриархальные отношения, которые, что бы ни говорили неумолимые и теперь обличители, действительно существовали у наших коренных средних помещиков. Притом сильно действовало тут и то обстоятельство, что почти везде в барщинных имениях этой второй полосы Рязанской губернии полной барщины не было, и только часть крестьян состояла на издельной повинности⁵; если же где-нибудь и все на ней состояли, то — при барщинных работах очень умеренного размера. Наконец, и близость Москвы, Московского университета давали себя чувствовать здесь значительно: многие дворяне здешние (особенно же Зарайского уезда) получили высшее образование, и это образование их, несомненно, действовало не только на собственные их отношения к крепостным, но отражалось благотворительно и на всей массе тамошних помещиков. Но в шести уездах третьей полосы барщинная система господствовала во всей своей силе, особенно же там, где имениями заведовали управляющие и приказчики из вольнонаемных. Тут-то преимущественно бывали и случаи неповиновения крестьян целыми имениями, и случаи отдельных тяжких расплат за тяжкое пользование крепостным правом.

Нахожу нужным прибавить ко всему вышеизложенному еще несколько общих замечаний о тогдашних рязанских помещиках, а кстати — и о тамошних массах крепостного населения.

Конечно, среда помещичья, — даже в тогдашнее, не то что теперешнее время, — была гораздо доступнее для наблюдения, чем эта темная масса простого люда; однако и теперь чрезвычайно трудно сказать с положительным утверждением: насколько было готово все дворянство

Рязанской губернии, по своему сознанию общенародных и государственных интересов, к коренной крестьянской реформе, к отмене того права, которым оно, как и дворянство прочих местностей России, так привыкло пользоваться. Впрочем, несомненно как то, что и везде в губернии, не только что в одном каком-нибудь Зарайском уезде, было не мало дворян, твердо понимающих, что крестьянская реформа совершенно необходима, что год от году необходимость эта представляется все настойчивее и решительнее, так и то, что было весьма много таких дворян, которые, и не понимая роковой необходимости в реформе, и не сочувствуя требованиям предстоящего великого дела, смутно, но сильно опасались — даже больше чем опасались — насчет дальнейшего спокойного пользования крепостным правом. В этих-то двух категориях помещиков лежали, мне кажется, полные задатки готовности к крестьянской реформе, к довольно твердой и разумной инициативе в этом громадном вопросе, — и он мог бы быть поднят, хотя и встретил бы, по всей вероятности, сильную оппозицию со стороны значительного большинства тех лиц, которые владели своими именьями, жили и хозяйничали в них или же издали ими распоряжались, всегда крепостничая на всю прежнюю статью, безо всякой оглядки вокруг себя, ни о чем, помимо своих узких выгод, не заботясь. Нечто похожее если не на общественное мнение, то на общественное чувство существовало и тогда в провинции, настолько влиятельно существовало, что понуждало к общему смягчению крепостных отношений, даже к критике над злоупотреблениями крепостным правом, даже к анализу этого права в самой его сущности, не только что в его отдельных проявлениях. Тогдашние помещики, особенно же те из них, среднего состояния, о которых я выше упоминал, как будто уже не могли тогда по собственному своему расположению владеть крестьянами, как прежде, бывало, владели их деды, даже отцы. В то время такие крупные и страшные помещики-крепостники, каков был, например, генерал Измайлов, если еще и были возможны, то все-таки становились редкостью чудовищного, всех ужасающего свойства. Оттого нередко случалось, что уже

всякий злоупотребительный поступок над крестьянами подвергался громкому и смелому осуждению хоть и не со стороны целого общества, то от многих разнохарактерных лиц из помещиков, и заступаться за злоупотребителей перед общественным мнением позволяли себе лишь немногие представители дворянского сословия, лишь те, например, которые желали приобрести дешевую, на старый лад, популярность, дабы при помощи ее пробраться повыше на пути к губернским почестям*. Оттого же бывали примеры, когда нетерпимость соседей-помещиков к нехорошим поступкам какого-нибудь барина, начинавшего чересчур произвольничать в своем имении, до того доходила, что они решались доводить об этом до сведения высшего правительства**. В этом расположении помещичьего общества сильно сказывался дух времени, то невольное стремление к новым формам общественным, которое в иные эпохи властительно охватывает массы людей, казалось бы, уже окончательно сжившихся со своей старой обстановкой. Да и еще бы не так: были для этого существенные, чрезвычайно серьезные побуждения. В царствование императора Николая Павловича было издано много распоряжений к обузданию злоупотреблений крепостным правом. Дворянство не могло же не чувствовать, не могло даже не сознавать, что потачки злоупотреблениям не будет. Но и того еще мало: по некоторым правительственным мерам дворянство должно было предугадывать, что существует твердая мысль и совсем порешить с крепостным правом. От всего этого дух времени особенно сильно брал свое, всех направляя

* Я знал одного такого представителя, который, в яростном стремлении приобрести популярность, договаривался, рассуждая о своей обязанности заступиться всегда и во всяком случае за своего брата дворянина, до такого цинизма и в мысли, и в выражении, что я не нахожу возможным повторить его жаркие речи. Кстати: представитель этот всячески старался подражать своему отцу. Но тот приобретал популярность гораздо простейшими средствами. Я помню, как один дворянин добродушно рассказывал об отце: «Ведь нельзя было и не уважать его. Вот уж умел принять и обласкать. Бывало, войдешь к нему, а он сидит себе на диване истым барином, примет тебя по-дружески, обнимет, расцелует, и только что усядешься в кресла, а «человек» уже трубку тебе подает...».

** Так было в начале 50-х годов с помещиком Рязанского уезда Л.-м.

к смягчению крепостных отношений. Даже некоторая реакция со стороны иных помещиков-крепостников, тогда же проявлявшаяся в попытках то к увеличению размера оброков в оброчных имениях, то к переводу оброчных крестьян на издельную повинность,— даже эта реакция, возникшая кое-где вследствие какого-то инстинктивного предчувствия близости коренной крестьянской реформы, служила, несомненно, к тому же смягчению крепостных отношений: вообще попытки эти бывали слабы и как будто робки, нередко они оканчивались не достижением предположенных целей, а, напротив того, еще уступками в пользу крестьян, а иногда они и весьма дорого стоили покушавшимся на подобные действия лицам, возбуждая в крестьянах энергическое сопротивление, выражавшееся то в настойчивых, всюду подаваемых жалобах, то во вспышках более или менее продолжительных волнений. Можно положительно сказать, что, при вышеуказанной склонности помещичьей среды к смягчению крепостного права, действительная подготовка значительного большинства помещиков к осуществлению коренной крестьянской реформы могла бы произойти довольно легко, что, конечно, было бы весьма хорошо во многих отношениях, если бы в то время (как, например, в достопамятное время начала царствования императрицы Екатерины II) была бы возможность для людей, понимавших необходимость великой реформы, обмениваться мнениями, распространять их гласно и чрез то и самим утверждаться в полезных взглядах на общественные интересы и других в них утверждать...

Итак, в то время, про которое я говорю и которое, по всей справедливости, можно назвать переходным, крепостное право становилось в Рязанской губернии несравненно сноснее, чем было прежде, чем было за несколько лет перед тем. Я могу положительно указать, в чем это выразилось на деле. Не говоря уже о том, что положение крепостных, обращение с ними помещиков стало гораздо лучше вследствие строгого, постоянного со стороны правительства наблюдения за порядками в имениях,— наблюдения, изгнавшего окончательно из употребления вотчинные тюрьмы, шейные рогатки, стулья,

цепи, кандалы, все те «железные вещи», которые были в таком ходу у генерала Измайлова,— сами помещики приступали постепенно все к большим и существенным облегчениям и улучшениям в системе пользования своего крепостным правом. Так, прежде всего, значительно улучшилось тогда положение оброчных крестьян, не тем собственно, что оброки стали легче, а тем, что владельцы оброчных имений не только уже ничем не стесняли крестьянских промыслов, из которых извлекались крестьянами средства к платежу оброка, но и поощряли к этим промыслам; кроме же того, помещики поощряли своих крепостных и к отходной промышленности (всего более облегчавшей крепостные отношения), несмотря на то, что отходы на сторону иногда вели к тому,— как особенно часто случалось в Егорьевском уезде,— что иные охотники до отходов пробирались в пространные и укромные места Новороссийского края* да и оставались там на всегдашнее житье. Так, издельная повинность в некоторых барщинных имениях сокращалась в своих размерах значительно, а что особенно важно и чрез что повинность уже очень облегчалась — по распоряжениям самих помещиков барщинные работы получили точную и постоянную определенность. Это важное нововведение замечалось даже в чисто барщинной части Рязанской губернии: я знаю положительно, что в ряжском, скопинском и данковском имениях бывшего статс-секретаря⁶ П. А. Кикина⁷ существовало и действовало, как при жизни этого помещика, так и по смерти его, составленное им положение о нормальном наделе по тяглам, о барщинных тягловых работах и о других всяких повинностях, которыми крестьяне были обложены сообразно тягольного земельного надела; что такое же положение составлено было раненбургским⁸ помещиком М. Н. Семеновым для своего имения** ; что, как я слышал, по этим примерам и еще кое-где введены были помещиками подобные же по-

* Эти укромные места в Новороссийском крае слыли в народе под названием «Адест» (Одесса).

** «Положение» М. Н. Семенова было издано особой брошюрой, кажется, в 1846 или в 1847 году, и в тогдашней литературе было встречено одобрительно. В настоящее время брошюра эта — большая библиографическая редкость. Хорошо было бы перепечатать ее.

ложения. Наконец, тогда же почти совсем прекратились переводы крестьян в дворовые; напротив того, по экономическим своим расчетам, помещики старались уже сокращать свои дворни, почему не только отпускали дворовых (особенно же ремесленников из них) на оброк, но даже переводили некоторых в крестьяне*.

Стало быть, что бы там ни говорили о закоснелой привычке к старым крепостным отношениям, сами помещики чувствовали уже тогда необходимость в крестьянской реформе, чувствовали несомненно, ибо уже собственными средствами, по своей охоте, стремились к смягчению крепостного права. К этим усилиям, хотя бы они и были бессвязны, хотя бы даже и не всегда удерживались в одинаковом направлении у одних и тех же лиц, все-таки нельзя не отнести к ним с полным сочувствием. Право, у нас уж слишком огульно, размахисто обвиняли помещичью среду в недостатке общественного такта.

Но несмотря на действительное смягчение крепостного права, случаи неповиновения крестьян помещикам к тому именно времени, о котором я собираюсь рассказывать, стали проявляться в Рязанской губернии часто, и все чаще и чаще с каждым годом (кроме тех годов, в которые шла последняя Восточная война). И это возникло как-то вдруг,— и тем замечательнее было, что до последнего десятилетия перед освобождением крестьян от крепостной зависимости вышеозначенных случаев было так мало в Рязанской губернии, что в тамошнем губернском обществе я не слыхал о них никаких рассказов и толков.

И вот что еще было странно: случаи неповиновения крестьян помещикам делались с каждым годом все сложнее и разнообразнее. Особенно же это выражалось в поводах к неповиновению. Иногда даже крайне трудно было уследить с полною ясностью, из-за чего собственно дело стало.

* Не будь этих переводов в крестьяне, число дворовых, простиравшееся ко времени Крестьянской реформы до миллиона четырехсот тысяч душ, было бы значительно больше.

Я не возьмусь определить хоть несколько: отчего могли возникнуть вдруг все эти движения в крепостных массах, да и сомневаюсь, чтобы это могло подлежать точному определению. Но притом необходимо иметь в виду, что в тогдашних крестьянских волнениях не было ни малейшего постороннего подстрекательства. Тут все совершалось как-то очень просто, как бы естественно; а все-таки коренные причины происшествий оставались крайне неясными. Правда, в огромном большинстве случаев поводы к крестьянским волнениям зависели от каких-нибудь произвольных действий со стороны помещиков или их управляющих и приказчиков; но иногда и так случалось, что, по-видимому, и никаких подобных причин не существовало, а крестьяне настойчиво приносили жалобы на стеснения, не повиновались, волновались, а то, — как стало случаться часто года за два до 1858 года, — совершали насилия с помещиками, — впрочем, что тоже довольно замечательно, не умерщвлением их, а только личными оскорблениями, более или менее сильными побоями. О таких-то именно случаях приходилось уже невольно предполагать, что у крепостного народа начинает развиваться какое-то общее нежелание выносить дольше крепостную зависимость, даром что она стала тогда гораздо легче прежнего. Да и говорит же пословица, что «капля по капле камень долбит»; может, оно так и было уже тогда в этой сфере неестественных отношений человека к человеку.

Впрочем, это предположение о начинавшем охватывать народные массы нетерпении к крепостной зависимости получает действительную достоверность не на основании отдельных фактов крестьянских волнений, но при соображении общего характера крепостного права в великороссийских губерниях, особенно же при сравнении этого характера с тем, что представляло в этом отношении крепостное право, например, в Северо-Западном крае России. Народный дух в великороссийских губерниях сохранил свою силу и при крепостном праве, — и это зависело всего более от системы землевладения у чисто русских крестьян. Общинное землевладение⁹ сослужило великую службу нашему народу. Это — факт

несомненный, на который, не знаю, обращено ли еще у нас вполне должное внимание. Понятно, что, при сохранившемся в своей силе народном духе, рано, поздно ли, должно же было проявиться в самом крепостном народе вышеуказанное активное уклонение из-под той зависимости, которая так стесняла всякое разумное развитие его деятельности.

Крепостное право, конечно, было у нас очень нелегко. Если принять во внимание: прежде всего жестокость характеров у наших помещиков, в большинстве своем еще малообразованных, а чрез то и особенно резкую склонность к произвольным действиям, потом совершенное отсутствие общественного мнения, наконец, и то, что, при тогдашнем персонале провинциального чиновничества, да и при всем тогдашнем устройстве администрации и суда, требуемое высшим правительством наблюдение за порядками в помещичьих имениях не могло быть вполне действительно, то, пожалуй, можно сказать, что крепостное право у нас было потяжелее, чем где-нибудь. Однако тяжелое пользование крепостным правом не задавило народного духа, и, повторяю, именно вследствие общинного землевладения у наших крестьян. Помещики наши в имениях своих, все равно оброчных ли, барщинных ли, если и не всегда, то по большей части имели дело с крестьянским «миром», крепко сложившимся и установившимся под влиянием общинного землевладения, а не с отдельными личностями, как, например, было в тех местностях, где господствовала система участкового, подворного пользования землею, — и это обстоятельство чрезвычайно влиятельно отражалось на всем складе понятий наших крестьян как о той земле, которою они фактически владели целым «миром» при своеобразных «мирских» общинных порядках, так и об отношениях своих к помещикам, владельцам тою же землею на основании прав юридических. Недаром же наш крепостной народ всегда так понимал и, когда пришло время, громко заявлял, что крепостные крестьяне, пожалуй, и барские, а земля, на которой они сидят, испокон веку — ихняя. Такое коренное понятие могло поддерживаться во всей своей силе только при общинном землевладении. И в



Розги.

С литографии неизвестного художника

самом деле,— если произвол помещичий исторгал из «мира» какого-нибудь крестьянина, лишая его таким образом доли в пользовании «мирскою» землею, то была беда этого именно крестьянина, а не беда целого «мира», который все-таки оставался неприкосновенным на своей родимой земле-кормилице. И «мир» твердо знал про себя, что на этой земле он должен остаться и безотменно останется. Уже и это одно должно было охранять силу народного духа, ибо в крепостном народе сохранялась непоколебимая вера в неприкосновенность прав его как «мира» на землю, на которой он жил и трудился, вырабатывая вековым трудом свою простую, тяглую жизнь; но кроме того, и другие условия способствовали, чрез необходимое соприкосновение их с «миром», с общинным землевладением, к тому же охранению силы народного духа: во-первых, вследствие того, что помещики в самой существенной части своих отношений к крепостным

своим всегда имели дело с целым «миром», — всякое тут давление произвола помещичьего было легче уже потому, что разделялось на весь «мир»; во-вторых, когда в произволе помещичьем обнаруживалось посягновение на существенные интересы целого «мира», — «мир», за- всегда между собою крепкий, оказывал такое упорное, энергическое сопротивление, которое и по подавлении его обыкновенными тогда административными мерами вело по большей части к устранению злоупотреблений помещичьей властью.

Не так было там, где существовало участковое, подворное пользование землею, отдававшее и каждого крестьянина, и всех вообще крестьян в полнейшую власть помещика. Но об этом распространяться здесь в подробностях было бы излишне и неуместно.

Может быть, все вышеизложенное, как в подробностях, так и в намеках на некоторые общие выводы, не представляет ничего нового, ничего замечательного, но я находил нужным начать с предисловия потому именно, что при некотором общем освещении фактов, о которых предстоит мне рассказывать, они становятся для меня самого гораздо яснее, гораздо понятнее по своему внутреннему содержанию, и, таким образом, легче будет для меня справиться в рассказе с моими воспоминаниями.

Но я должен и еще оговориться насчет самого себя.

Выше я упоминал, что настоящий отрывок извлечен из моих записок; в записках же приходится говорить довольно много о самом себе. Я пишу записки свои не для того, чтобы оправдывать или объяснять какие-либо свои действия, — в мелкой сфере, на долю мне выпавшей, они были слишком ничтожны и потому не заслуживают ни оправдания, ни объяснения; но нельзя же не говорить об этих ничтожных действиях, когда они имеют какое-либо соотношение с фактами общественной жизни, о которых считаешь необходимым рассказывать, нельзя же не упомянуть и о впечатлениях, произведенных на меня теми фактами. Вот это самое и не легко мне, потому именно, что все переживаемое тут в воспоминаниях пробуждает такое стремление к самосознанию, которое

как-то болезненно волнует душу, до того, что иногда даже сильно замедляет труд рассказа, все заставляя, с не отстающей печалью, с не рассеивающимся страхом, оглядываться на все промелькнувшее в жизни и кое-где уже задерживаемое каким-то странным туманом, заставляя притом больше и больше углубляться в самого себя, дабы поверять, беспощадно поверять свои чувства, мнения, действия — все, чем жил когда-то, и даже то, с чем остался при недолгом конце жизни. Да! Трудно, очень трудно передавать эту тяжкую работу мысли, постоянно обращенной к такой поверке... Но хоть и трудно,— я должен же буду касаться и своих действий, а чаще и своих впечатлений, какой бы посторонней поверке ни подверглись они, даже при моей жизни. Впрочем, я буду рассказывать о действительных фактах общественной жизни, ни в чем сам не оправдываясь и других не оправдывая, но говоря лишь одну чистую правду, насколько уяснена она для меня самого теперешним моим самосознанием.

I

В детстве моем я жил (до начала учения в рязанской гимназии) в родовом имении моей матери, состоявшем в Егорьевском уезде, в том именно углу его, близко граничащем с Зарайским и Коломенским уездами, где земля гораздо лучше, чем в прочих частях этого уезда. Меня окружала истинно патриархальная обстановка небогатого помещичьего быта, среди которой, как у себя дома, так и нигде по соседству, ничто не обличало перед моей слишком рано развившейся детской наблюдательностью печальных, мрачных сторон иного быта, крестьянского. Между нашими, да и соседними крестьянами я никогда не видал нищеты, бедствия, особенно же всего этого — вследствие какого-либо помещичьего стеснения или произвола. Наши крестьяне издавна были все на оброке, оброчными же и вышли они из-под крепостной зависимости. Окрестные имения тоже почти все были оброчные; только в трех заведена была барщина, да и то небольшая, отнюдь не требовавшая работы всех та-

мошних крестьян и существовавшая, должно быть, собственно ради домашнего развлечения помещичьего. В то время я ровно ничего не слышал про крестьянские бунты не только вокруг нас, но и во всем Егорьевском уезде; даже никаких преданий о чем-либо подобном не довелось мне слышать. Об одном лишь факте толковалось между нашими соседями-помещиками,— что вот крестьяне огромного села Деднова (семь верст от нашего родового имения) плохо повинуются своему помещику, генералу Измайлову, «судятся» с ним, «бунтуют», как иногда называли их тогдашние отношения к помещику. Но и про все это говорилось очень мало. Дело дедновцев с их барином тянулось все по присутственным местам, на бумаге, и особенных мер к «усмирению» дедновских крестьян ни с какой стороны тогда не принималось.

Полное неведение мое о крестьянских волнениях, о расплатах с помещиками за злоупотребления крепостным правом, даже о возможности всего этого продолжалось до самого 1847 года, когда я вдруг увидал и узнал досконально, что такое у нас крестьянские бунты, из-за чего они случаются, как может относиться к ним губернская администрация, как их усмиряют и что вообще из того происходит. Конечно, все это имело для меня поразительную новость и не могло не врезаться в моей памяти с особенной живостью.

В начале лета 1847 года рязанский гражданский губернатор Павел Сергеевич Кожин, к которому незадолго перед тем я поступил чиновником особых поручений, призвав меня, объявил, что я буду сопровождать его в Данковский уезд, куда он должен отправиться для усмирения крестьян имения князя Голицына, не повинующихся помещичьей власти. Тут же я увидал и этого помещика. То был человек еще молодой, должно быть, лет тридцати или немного того более; наружность его была очень представительна; приемы в обхождении утонченно вежливые, изящно простые; одним словом, по всему наружному он казался истым европейцем и нисколько не походил на простого нашего помещика, хотя бы и очень богатого. Живо помню об этом, потому что живо же помню тот вопрос, который внезапно встал мне

тогда на ум: «Как же могло случиться, что против такого человека, утонченно образованного, ласкового, мягкого в обращении, взбунтовались его крестьяне?..» Но я считаю нужным, даже совершенно справедливым, говорить об отношениях князя Голицына к крестьянам данковского его имения только на основании самых достоверных о том сведений, которые и будут ниже изложены в должной подробности, но без всякого комментария собственно о характере самого этого помещика.

О причинах неповиновения крестьян голицынского имения я собрал тогда же довольно много сказаний, которые, полагаю, вполне достоверны, потому что они достались мне, во-первых, от данковских уездных чиновников, видевших все с самого начала, а во-вторых, от губернских чиновников, производивших следствие об этом несчастном происшествии. Может быть, доставшиеся мне таким образом сведения и не совсем сходятся с изложением фактов в следственном деле, ручаюсь однако, что передаю верно все, что слышал о причинах бунта в голицынском имении.

Имение это перед владельцем, при котором произошли в нем описываемые мною волнения, принадлежало генералу от инфантерии¹⁰ графу А. И. Остерман-Толстому¹¹, герою знаменитой Кульмской битвы¹². Все, рассказывавшие мне о графе Остерман-Толстом как о помещике, отзывались единогласно, что это был истинно добрый помещик: все его крестьяне, состоявшие в разных губерниях,— а их было что-то много: сколько помнится, тысяч от десяти до двенадцати душ,— жили зажиточно, покойно и даже свободно. В таком же положении находились крестьяне и данковского его имения. Вся земля при имении, весьма хлебородная, была представлена помещиком в полное их пользование; за это платили они оброк весьма необременительный и всегда в постоянно определенном размере; никаких побочных поборов с них не было; а при всем этом и управлялись они сельскими начальниками из простых людей, из своих же односельцев. И вдруг такое прекрасное положение, к которому, кстати сказать, эти крестьяне сильно попривыкли, ибо оно продолжалось много лет сряду, во

всю долговременную жизнь графа Остерман-Толстого, изменилось разом, без всякой постепенности, и самым коренным образом.

Граф Остерман-Толстой скончался, кажется, в 1842 или в 1843 году¹³. По наследству после него данковское его имение поступило в полном своем составе к внуку его, князю Леониду Михайловичу Голицыну¹⁴.

Новый помещик этот скорехонько нашел, что доставшееся ему данковское имение как оброчное дает слишком мало доходу, а затем уже должно было идти соображение, что если обратить оброчное имение на барщину, то это непременно поведет к значительному увеличению его доходности. Говорят, что крестьяне, довольно рано спроведавшие о таком предположении помещика, предлагали увеличить оброк свой и платить в гораздо большем, чуть ли не вдвое против прежнего, размере; но князь остался непреклонен в своем намерении и нимало не медля принялся за введение барщины. И вот лучшая часть земли при имении, — а надо заметить, что оно вовсе не было из многоземельных, — поступила на помещичью запашку, в соответственном запашке размере отобрана была от крестьян часть луговой и пастбищной земли, сами же крестьяне, все вообще, обращены на издельную повинность. Вдобавок к этому, почти все сельское начальство было переменено и на место его посажено начальство, не удобное «миру». Наконец, по распоряжению барскому, для постоянного заведования барщинными работами прислан был приказчик, совсем чужой «миру» человек, а для управления вообще имением назначен еще особый управляющий. Один из этих распорядителей по имени назывался Ююкин, но кто это был, приказчик или управляющий — того уже не помню.

Крестьяне довольно спокойно покорились всем этим распоряжениям помещика, как ни существенно и, конечно, к худшему изменяли они их положение. Впрочем, они были очень недовольны и неудовольствия своего не скрывали. Слышно было, что они несколько раз обращались чрез ходоков своих с просьбами к помещику, то, сначала, все об отмене барщины и об обращении их опять

на оброк, то, наконец, о смене одного из вышеупомянутых распорядителей по имению, именно Ююкина, но все такие хлопоты крестьян остались решительно безуспешными. Затем, по-видимому, окончательно все уладилось в имении князя Голицына, и новые барщинные порядки пошли всем своим ходом, уже без всякого противоречия со стороны крестьян. И так тянулись дела в этом имении года с два, а может, несколько и более.

Весною же 1847 года князь Л. М. Голицын перед поездкой за границу почему-то (может статься, по причине продолжавших все-таки доходить к нему крестьянских жалоб на Ююкина) надумался посетить свое данковское имение. По правде сказать, то была несчастная мысль, даже для самого князя Голицына.

Он провел в своем имении трое суток и в продолжение всего этого времени, даже по ночам, как мне рассказывали, флигель, в котором он остановился, был постоянно окружен крестьянами. Неотступно просили они отменить барщину, которая, по словам их, дотла их разоряет, неотступно тоже домогались и смены столь ненавистного им Ююкина, который, как определительно заявляли они, мало того, что замучил их непосильными барщинными работами, но и подвергает чуть не непрерывно наказаниям всех и каждого, не щадя даже беременных женщин. На все это князь многократно объявлял жалующимся, что барщину ни в каком случае он не может отменить, именно потому, что по причине ее имение стало приносить ему гораздо большие против прежнего доходы, а затем наотрез сказал и насчет Ююкина, что так как человек этот служит ему со всем усердием и таким образом способствует увеличению доходности имения, то, конечно, он, князь Голицын, и не подумает сменить столь полезного ему человека.

В смысле чисто помещичьем князь Голицын мог считать такие ответы свои вполне логичными и основательными. Но и у крестьян его были твердые основания — не отступать от своих домогательств. Выслушав решительный отказ барина, они все-таки не потеряли надежды, что он может еще смиловаться, а поэтому не разошлись

и продолжали, как только покажется он у окна, молить и молить его все о том же, о чем прежде молили.

Наконец все это чрезвычайно надоело помещику, — и вот, на причитанья мужицкие: «умилосердись ты над нами, батюшка, ваше сиятельство, мы ведь ровно дети ваши, а вас завсегда почитаем как за отца родного!..» — он, не вытерпев, вышел опять на крыльцо для самого решительного ответа, да и обмолвился гневным, неосторожным словом, которое обошлось и ему не дешево.

«Вздумали еще родством со мной считаться!.. — сказал он. — Какие вы мне дети! Что я за отец ваш!.. Я просто — помещик ваш, власть имею над вами по закону, а вы — крепостные мои и обязаны мне повиноваться. Вы же не повинуетесь, все хотите по-своему... Да вы так мне надоели теперь, так надоели, что я бы даже готов от вас отказаться...»

Раздражение князя на ту пору было так велико, что он высказал еще и несколько угроз, общий смысл которых в том состоял, что надоевшие ему крестьяне уже никакого добра не должны от него ожидать. Но крестьяне в эти угрозы не особенно вслушались. Их особенно поразили слова: «Вы мне так надоели теперь, что я бы даже готов от вас отказаться».

Они тотчас же перестали надоедать барину своими упрашиваниями и быстро разошлись от его флигеля, — разошлись при своеобразном, твердо составленном и как-то разом всеми усвоенном умозаключении.

«Нечего теперь упрашивать и умаливать, — твердили они промеж себя. — Коли князь так от нас отказывается, ну, и нам не миновать-стать, тоже надо от него отказаться».

И тут же, до отъезда князя из имения, крестьяне объявили своим сельским начальникам и Ююкину, что, по причине отказа помещика от них, и они от него отказываются — и, по назначению на барщинные работы, повиноваться уже не будут.

Так начался этот странный крестьянский бунт, на который местная губернская администрация обратила особенно строгое внимание, на который она и должна была, по тогдашним административным понятиям и со-

ображениям, взглянуть очень опасно, потому что в мысли, руководившей решением голицынских крестьян на неповиновение помещичьей власти, было действительно нечто такое, что, по самой оригинальности этой мысли, слишком уже свободно и быстро выведенной из простой обмолвки помещика, могло заразительно сообщиться и другим крестьянам соседних крупных имений.

II

Первые мои впечатления во время поездки вместе с губернатором в «бунтующее» имение отнюдь не походили на все то, что впоследствии так поразило меня.

Погода стояла тогда прекрасная. Во всей красе своей только начиналось лето, после весны, вполне благодатной для озимей и весенних посевов. Мы ехали весело. Весел был и начальник мой, губернатор, хотя, казалось, он очень озабочивался предстоявшим ему делом усмирения бунта*.

Впрочем, и естественна была эта сильная, напряженная озабоченность, а пожалуй, естественно и все, что из нее вышло: то был еще первый крестьянский бунт, который приходилось П. С. Кожину усмирять за все три первые года управления своего Рязанскою губерниею. Оттого, должно быть, и меры, принятые им для усмирения, были особенно значительны. Так, он потребовал на место, в бунтующее имение три роты Рязанского батальона внутренней стражи¹⁵, что, по тогдашнему полному составу этих рот, представляло немалую военную силу (по крайней мере человек семьсот нижних чинов). Дорогою, говоря, по молодой привычке моей, несдержанно, я высказал, что такие меры в отношении голицынского имения, в котором было всего до 1400 ревизских душ, кажутся мне чрезвычайными, что тут, для полного ус-

* П. С. Кожин был замечательный, типичный того времени губернатор. В моих отрывочных воспоминаниях я буду говорить о нем часто. Впрочем, мне уже довелось кое-что рассказать о его характере и о губернаторской его деятельности в статье «Пожары и поджоги в провинции», напечатанной в 1862 г., сначала в газете Н. Ф. Павлова «Наше время», а потом отдельной брошюрою.

мирения, по всей вероятности, очень достаточно было бы и одной роты, даже и меньше того. На это замечание мое, которое, при другом расположении духа в моем начальнике, наверное, навлекло бы мне суровый выговор, губернатор снисходительно объяснил, что хотя голицынское имение и не очень большое, но, во-первых, народ в нем чересчур перебалованный прежним, слишком слабым управлением, вследствие чего от такого народа можно ожидать крайне упорного, дерзкого сопротивления; тем более что тамошние крестьяне не только отказались от повиновения помещику, но и не вняли никаким увещаниям со стороны разных чиновников; что, во-вторых, население бунтующего имения расположено в шести деревнях, находящихся в неблизких одна от другой расстояниях и по обе стороны реки Дона, где действовать с одной ротой было бы неудобно и даже не совсем безопасно; и что наконец,— и это было, кажется, главное соображение губернатора,— быстрое и сильное усмирение крестьян голицынских, и такое усмирение, при котором эти крестьяне, все вообще, испытали бы сразу, что нельзя бунтоваться безнаказанно, долженствовало быть разительным уроком для всего крепостного населения в Данковском уезде, где помещичьи имения по большей части все крупные, так что их там не больше восьмидесяти*.

Но эти разъяснения моего начальника, указывавшие на всю серьезность предстоявшего нам «похода», в котором, как таинственно, полушутливо и полусерьезно замечал губернатор, и мне предстояло играть деятельную роль, мало действовали на меня и нисколько не ослабляли тогдашнего моего веселого расположения,— говорю об этом с чувством невольной и тяжелой совестливости. Помню и теперь, как позабавил меня тогда один маленький комический случай, про который считаю нелишним рассказать, потому что он, показывая, до какой степени тревожились уездные чиновники, если П. С. Кожин хоть

* Действительно ли это так в отношении численности помещичьих имений в Данковском уезде, я положительно не знаю; что же касается до второго губернаторского соображения, то смысл его уяснился для меня уже впоследствии, на месте.

малейше выражал им свое неудовольствие, обрисовывает тоже несколько характер главного деятеля при усмирении бунта в голицынском имении.

Подъезжая к Пронску¹⁶, мимо заставы¹⁷ которого приходилось спускаться с длинной горы к почтовой станции¹⁸, находившейся в подгородней слободе, верстах в трех от города, губернатор пожелал справиться, уехали уже из Пронска командир отправленного на «эзекуцию» батальона, полковник Чернов. Справиться же об этом оказалось возможным у самой заставы: там торчал на виду квартальный надзиратель¹⁹, предусмотрительно поставленный городничим²⁰.

— Что, полковник Чернов в городе еще или уже уехал? — спросил губернатор.

— В городе, ваше превосходительство, — ответил контрольный.

— Пошел в город!

Мы въехали — и подкатили прямо к «губернаторской квартире», к дому какого-то купца, хвастливо выстроившего в родном своем городишке (самом ничтожном из всех городов Рязанской губернии) довольно большой каменный дом, который, вместо всякой прибыли, приносил своему хозяину ту лишь честь, что раз в год, дня на два, на три тут останавливался губернатор, приезжавший на ревизию пронских присутственных мест.

Губернатор тотчас принялся за дело. Приказав достать из своего походного портфеля огромную карту Рязанской губернии, он углубился в рассматривание местностей Данковского уезда; как видно, он был крепко занят на ту минуту стратегическими соображениями, должно быть, мгновенно возникшими в нем при известии, что командир эзекуционного отряда опять находится у него под рукою и опять можно с ним рассуждать, делать разные предположения насчет предстоящего похода, а главное — отдавать ему, на всякий случай, приказания.

Тем временем губернаторский камердинер стал хлопотать о приготовлении завтрака. Тогда же доставившие нас в Пронск почтовые лошади были отпряжены, и ям-

щики, получив от камердинера прогоны²¹ и на водку, уже отъехали на станцию.

Конечно, квартальный надзиратель во всю прыть поспешил сообщить городничему о неожиданном нашествии начальника губернии. Однако городничий не скоро к нам явился: он недавно пообедал и предался было обычному послеобеденному отдохновению.

— Дали вы знать полковнику Чернову о моем приезде? — спросил губернатор у городничего (кстати: то был отставной штабс-ротмистр²² Масальский, старый поляк, высокий и толстый, толщина которого выставлялась из-под уланского мундира²³ стародавней формы очень резко и неуклюже).

— Смею доложить, — отвечал городничий с видимым недоумением, — полковник Чернов уже уехал, еще рано утром... Полковник очень спешил.

— Да как же ваш квартальный сказал мне, что Чернов еще в городе?

— Ваше превосходительство, я ему не приказывал, это уж он от себя... Всенижайше прошу извинения...

— Э, старый вы служака, — заметил довольно сердито губернатор, — не могли вы поставить кого-нибудь поумнее на вашей там единственной заставе. Ну, как-таки не видал ваш квартальный: ведь не птица же полковник Чернов, не перелетел же он через вашу заставу. Вот по милости вашей и вашего разини квартального я опоздаю на несколько часов... Извольте сейчас распорядиться насчет лошадей, да и не заставляйте меня ждать!

С юношеской живостью кинулся тучный старик исполнять начальническое приказание, а мы стали завтракать.

После завтрака наскоро — так уже у нас велось — мы всегда торопились, — я вышел к карете достать себе папирос — и вот что увидел:

В своем высоком уланском кивере городничий стоял, прислонившись лбом к верее ворот. Лицо у него было багровое, и кровь шибко текла носом.

— Что это с вами? — спросил я.



Батоги.

С литографии неизвестного художника

— А вот же, слово-гонору,— отвечал он унылым голосом,— вот же то от сильного душевного волнения... Начальник губернии изволил так прогневаться на меня!..

Я принялся усердно его успокаивать. Но старик был неподатлив на успокоения и в самом деле крепко приуныл. И тяжело мне вспомнить: меня очень забавляла тогда не столько фигура городничего и жалобный тон его речи, сколько причина его переполоха. Теперь же хорошо вижу, что не смеху были достойны все эти маленькие причины чиновничьих тревожений.

И снова мы тронулись в путь.

Тринадцативерстное расстояние между Пронском и Скопиным мы проехали очень скоро: менее чем в два часа. Губернатор торопился чрезвычайно. Его так и подмывало распорядиться. В Скопине же и удобно было для распоряжений. Во-первых, там непременно должен был дожидаться губернатора полковник Чернов, и, стало

быть, с ним можно было вдоволь позаняться стратегическими соображениями; а кроме того, там же должны были встретить начальника губернии данковские исправник и становые пристава, которые имели быть нагружены огромным грузом разных начальнических приказаний.

Мы въехали в Скопин к вечеру, и тотчас же губернатор распорядился в отношении меня. Престранное поручение возлагалось на меня, как теперь вижу.

Я должен был, догнав непременно роту, шедшую на одну из деревень бунтующего имения, состоять при ней все время, «пока нужно будет», словом — «впредь до особого распоряжения». Но это «состоять при роте» означало, по разъяснениям моего начальника, нечто особенное, нечто, внушавшее мне невольный страх.

Вот, приблизительно, в каких выражениях разъяснена была мне сущность моего поручения:

— Я вам даю,— сказал губернатор,— важное, даже трудное поручение... Вы должны догнать роту, направленную на деревню Колодези, еще до рассвета и непременно до прихода роты на место. Ротному командиру приказано окружить деревню, так чтобы тамошние крестьяне, покуда я к ним приеду, не имели сообщения ни с крестьянами прочих селений имения, да и ни с кем. Для содействия у вас будут становой и понятые. Из понятых можно составить конный отряд... Прошу не улыбаться,— я вам очень серьезно говорю,— а вы... Понятых велено собрать с подводами; посадив понятых на лошадей, можно скорее оцепить деревню. Помните: надо, чтобы колодезенцы не разбежались, а то они примкнут к тем, к которым я сам отправляюсь... Впрочем, если не будет исполнено в точности,— все это на вашей ответственности. Теперь вникните как можно лучше в самую важную часть поручения... В настоящем случае ни за что нельзя поручиться,— эти бунтовщики могут оказать сопротивление, в то ли время, как будет оцепляема их деревня, или же надумаются они на то несколько позднее. Мало ль что может случиться! Нападение должно быть отражено,— и как бы не пришлось тут стрелять!.. Но выстрел может быть сделан только

в самом крайнем случае... Это-то и может повести к строжайшей ответственности!.. Будьте же осторожны, благоразумны... Будьте хладнокровны, не допускайте и ротного командира горячиться... Если со стороны мужиков и последует вызов какой-нибудь наглостью, но не дерзкими ответами, не криком, даже не бранью, на что вовсе не надо обращать внимания,— все-таки отнюдь не следует горячиться!.. Повторяю: выстрел — только в самом крайнем случае!

— Стало быть, ваше превосходительство,— позволил я себе прямой вопрос,— я именно должен дозволить выстрел в крайнем случае? А именно должен приказать стрелять?

— «Стало быть!» «Стало быть!»— сказал сердито губернатор,— никакого тут «стало быть» нету... Я ничего вам не приказывал насчет «дозволения», а пуще — «приказания» с вашей стороны о выстреле. Я сказал только, что неумение распорядиться осторожно и благоразумно, неумение избежать крайности выстрела может повести вас к строжайшей ответственности... Затем вам уже достаточно разъяснено: как вы сами должны поступать, как должны наблюдать, чтобы и другие поступали... Ну и довольно! Я уже предупредил, что письменного предписания не будет. Можно ли предвидеть все на бумаге?.. Все эти домогательства получить разъяснения, предписания на бумаге,— я их терпеть не могу! Недаром я взял вас с собою: надеялся, что вы сумеете распорядиться... Прошу не пускаться со мною в переговоры. Сейчас извольте отправляться!

Главное расположение, которому начальник мой, при всех своих достоинствах, так легко поддавался, начинало разыгрываться: большие черные глаза, столь выразительные, что я уже и не видывал подобных, заблистали, заискрились: маленький, почти женский рот стало передегивать; то были признаки приближающегося порыва. Я поспешил исполнить последнее приказание П. С. Кожина, уже не раздражая его более никакими вопросами.

Я пустился в путь со становым приставом Добродеевым. То был молодой человек, добродушный и веселый. Он имел маленькое имение в Зарайском уезде, неподале-

ку от моего имения, и еще недавно поступил из военной службы в становые. С ним легко было бы разговориться. Да и хорошо было ехать тогда: прекрасная, светлая и теплая ночь, гладкая дорога промеж полей, суливших отличный урожай, покойный тарантас²⁴ — все это должно было бы поддерживать настроение, так оживлявшее меня до самого Скопина, но поручение, данное губернатором, не выходило из головы, смущало, даже пугало меня. Воображение разыгралось сильно. Мне представлялось, что неминуемо придется стрелять в крестьян, которых я привык считать самыми смирными людьми на свете. Почему казалась мне тогда неизбежною эта страшная стрельба в смирных людей — уж, право, не знаю. Но это мучило меня чрезвычайно и до такой степени, что на веселые речи Добродеева, на все его рассказы, а иногда вопросы, я или молчал, или же отвечал отрывисто и невпопад.

Наконец настроение мое, видно, уж очень надоело моему спутнику.

— Вы что-то расстроены,— сказал он.— Позвольте откровенно спросить: отчего так?

Я решился сообщить ему про все те ужасы, которые мне вообразились. И весь разговор мой с губернатором я тоже передал из слова в слово.

Выслушав, Добродеев засмеялся.

— Ведь вот как издали-то придумывается! — отвечал он.— Да я чем угодно поручусь, что все обойдется благополучно, не только что без выстрелов, но и без малейшей тревоги. Я здесь недавно становым, я знаю здешних крестьян хорошо: самые смиренные. Какое там сопротивление, да и кому стали б они сопротивляться! И с чем бы они вышли против целой-то роты? Да и много ли их?.. Нет! А вот подойдут к ихней деревне солдаты, понятые тоже подъедут, ну, и оцепят деревню: на все такое и высыпят мужики, бабы, ребятенки поглазеть только, а поглазеют, может, поахают и поохают, да и попрячутся по дворам...

— А как же они с таким упорством не повинуются помещику, отказались и от всякого послушания?

— Это как будто и так. Только тут совсем иное. Вольно же было его сиятельству... Можно бы и поласковее, можно бы кое-что и по-ихнему сделать... Хоть бы, например, насчет Ююкина: ведь точно, нехорошо поступает. А князь и неловко обмолвился: как-таки сказать, что он не хочет быть им отцом, а будет для них... Как-таки тоже,— что он готов от них отказаться. Вот они и сами отказываются — не от помещичьей власти, а лишь от князя: думают, что могут явиться другие наследники после графа Остерман-Толстого, благо, князь сам изволил от них отказаться. Просто-напросто одно ихнее недосмыслие, мужичья их простота. Особенно эти колодезенцы; пресмирные крестьяне, как есть; только, глядя на других, и они как будто тоже... А впрочем, уж за них-то ручаюсь. Насчет же тех, что в селе Стрешневе или в деревне Павловке, не совсем можно поручиться: там, точно, народ бойчее, и, может, между ними и есть такие, что хотят мутить воду, да и то ведь сдуру, спьяну или из-за того, что уж очень злы на Ююкина... Всему этому, пожалуйста, поверьте!

Я и поверил. И разъяснения добродушного моего спутника разом меня успокоили.

III

Однако вышло не совсем так, как говорил становой пристав: встреча «экзекуционного отряда» оказалась со стороны крестьян деревни Колодези как будто и немирная; по крайней мере с самого начала, да и потом, получилось еще обстоятельство, перетревожившее нас довольно.

С последнего привала, верстах в двадцати с чем-нибудь от деревни Колодези, рота, туда направленная, была пущена в поход ночью, с тем расчетом, чтобы могла прибыть к месту своего назначения как раз перед рассветом. Но почему-то она несколько запоздала, и я догнал ее еще верстах в пяти от деревни Колодези, когда уже было очень близко к рассвету. То было в каком-то большом селении, названия которого теперь не помню. Тут присоединились к нам понятые, человек до двухсот,

наперед еще собранные. Становой тотчас же образовал из них кавалерию, т. е. приказал им распрячь пароконные их подводы, а затем верхами следовать за ротой. Таким образом составила у нас довольно значительная сила, всего человек, должно быть, до пятисот.

Сзади роты ехал в тележке ротный командир Дорошкевич со своим офицером, прапорщиком Никитиным. Мы пригласили к себе в тарантас г-на Дорошкевича — и тут же, едучи шажком за всем нашим отрядом, составили нечто вроде военного совета.

Оказалось с первых же слов, что г-н Дорошкевич насчет отражения «вооруженной рукой» ожидаемых нападений со стороны крестьян получил от своего непосредственного начальника, полковника Чернова, самые строгие и грозные приказания; впрочем, ему внушено было, но как-то очень неясно, — и это породило в нем большое недоумение, — что в крайнем случае, т. е. при нападении на отряд, крайние меры могут быть приняты им не иначе как по соглашению с командированным от губернатора чиновником, в какой же именно форме должно было выразиться это соглашение, предварительно принятия крайних мер, полковник Чернов ничуть не разъяснил своему ротному командиру. Обменявшись своими инструкциями, мы решительно не знали, что и сказать о «крайних мерах»; но повторенные становым приставом уверения, что все обойдется благополучно и ни к чему страшному вовсе не придется прибегать, опять меня успокоили; да и ротного командира вывели из недоумения. Затем мы уже весело совещались насчет оцепления деревни. Мы решили, согласно всего более мнению станowego, произвести это оцепление посредством нашей кавалерии, усилив, однако, ее чисто военным элементом: человек двадцать из солдат положено было посадить на лошадей понятых, и они-то должны были руководить всеми движениями нашей кавалерии при предстоявшем маневре. Главным же предводителем отряда хотел быть сам становой пристав. Он уверял нас, что, зная хорошо местность, он, от известного ему пункта, в несколько минут окружит всю деревню, а затем расставит правильную цепь и вообще поступит

относительно всяких военных предосторожностей самым военным образом. И нам нельзя было не поверить ему во всем этом, потому что он в самом деле был военный человек.

Впрочем, мы не очень-то спешили предварительными мерами по оцеплению. Солнце уже взошло, когда мы очутились в виду деревни Колодези.

И вот, в расстоянии не более версты от места, становой пристав вступил в свою роль командующего кавалерией. Указав нескольким унтер-офицерам, сделавшимся на тот час кавалеристами, на какие именно пункты местности надо двигаться, дабы одновременно оцепить деревню, он приказал идти сначала на рысях, а потом, при въезде на деревенский выгон, уже во весь мах пуститься вправо и влево и таким образом совершить предположенный маневр.

И в самом деле, все это сделалось довольно ловко и удачно, хотя нельзя сказать, что успех этот обошелся без жертв: немало-таки наших кавалеристов, и понятых, и даже солдат попадало с шибко разбежавшихся лошадемок. Но деревня была окружена очень быстро, прежде еще чем подошел к ней вплоть главный экзекуционный отряд.

Наконец и мы дошли до места нашего назначения — вступили на широкий выгон, расстилавшийся как раз за деревенскими гумнами.

Тут мы остановились в некотором недоумении.

Недоумевал, впрочем, ротный командир насчет того именно: вступать или не вступать в самое селение? Впрочем, он был больше за то, что надо бы вступить; а я был совсем противоположного мнения, — и оттого именно, что хоть в деревне не замечалось ничего подозрительного, прежние опасения какой-то лихорадочной дрожью охватывали меня. Поспешно и тревожно я стал доказывать ротному командиру, что гораздо лучше остаться на выгоне, благо нашей стоянке здесь все благоприятствует: и ясная, теплая погода, и простор местности, и удобство отсюда наблюдать и за деревней, и за цепью вокруг нее, не говоря уже о том, самом важном обстоятельстве, что таким образом мы всего легче могли избежать всякого

столкновения с крестьянами. На ту пору ротный командир был стоворчив,— без всякого препирательства он согласился с моим мнением. И вот мы расположились окончательно на выгоне.

И расположиться тут было так хорошо. Помню живо всю тогдашнюю обстановку нашу,— да и нельзя, кажется, ее забыть. Начать с того, что раннее утро было истинно великолепно: солнце, не высоко еще поднявшееся, ярко светило, но не жгло; на сине-прозрачном небе не было ни облачка. И так тихо было; можно бы сказать — утро совсем безветренное, если б по ту сторону деревни, где поля расстилались по холмистой поверхности несколько в гору, не перекачивался туман волнами: там, можно было догадываться, находилось какое-нибудь пространство воды — река, озеро или пруд, а то — болото. На привале нашем, на этом широком, длинном и ровном выгоне, трава еще не была выбита во многих местах,— должно быть, пастбище для деревенского скота находилось собственно не тут. Кроме того, для довершения наших удобств, неподалеку от огороженных кой-чем гуменников, и все на том же выгоне, раскиданы были кучами в разных местах большие, широковетвистые деревья — все вязы, липы да дубы. Под одним из таких деревьев устроили мы себе хорошее помещение, а неподалеку от нас, под широкой купой деревьев, составлявших тут даже целую рощицу, расположились наши солдаты.

Ничто и не мешало устройству нашего привала. Правда, вокруг селения, как явственно к нам доносилось, было очень шумно, и шум то замолкал там местами, то вдруг прорывался в неладных криках; но это нисколько нас не тревожило: мы хорошо знали, что то происходило от нашей конницы, занимавшей местность и располагавшейся цепью. В самой же деревне было так тихо, что если б не ожесточенный лай собак да не звонкие переклики петухов,— можно было бы подумать, что то вымершая или покинутая жителями деревня. Оно и должно было быть так: эта кавалерия из понятых и из солдат, эти движения многих чужих людей по оцеплению деревни, эти крики обскакивавших деревню и располагавшихся цепью,— конечно, поразили мирных жителей, если не

ужасом, то изумлением, на первых порах подсекавшим всякую живую речь.

Но вот услышали мы, что и на деревне загомонил-таки народ. Помню весьма ясно: сначала странный гул глухо пронесся, и невольно мне теперь представляется, что этот гул походил на стон какой-то отдаленный; потом прорвались резко и нестройно крики многих голосов, столь напряженные, что ими совершенно покрылся всякий другой шум вокруг деревни. На другом от нас конце ее, в самой ее глубине, кричали, вопили, — как будто все спорили и спорили. И казалось, что весь тот шум передвигался, — и быстро передвигался, — то по направлению к нам, как будто близясь и грозя чем-то, то вдруг в отдалении, слабым ропотом замирая. Видно было, что там большая толпа в сильном раздражении шумит и волнуется... С чрезвычайным смятением я прислушивался к тому, как внезапно пробудилась жизнь в селении, — и, может быть, смятение это невольно и теперь отражается во мне.

И не на меня одного так подействовало это пробуждение жизни в деревне Колодезях. Ротный командир тоже встревожился.

— Как шумят там, на деревне! — заговорил он. — Знаете ли что, уж не затевают ли чего?.. А неужто так и останемся мы тут ждать? По-моему, надо туда отправиться сейчас же да и разогнать горланов... Вы как думаете?

Но я думал совсем не так. Мне нетрудно сознаться: впечатление от разыгравшегося на деревне движения слишком сильно на меня подействовало, — я находил движение толпы, очевидно волнующейся в чрезвычайном раздражении, в высшей степени грозным... И я стал просить, умолять ротного командира — отнюдь не входить в деревню.

— Да что вы так струсили? — спросил он меня удивленно.

Вопрос этот, который в другое время, по всей вероятности, раздражил бы меня своим чересчур резким выражением, я нашел тогда совершенно естественным. Я точно струсил, и даже очень струсил: я помнил тогда

только одно, что неподалеку от нас совершается что-то грозное, от чего надо непременно уклониться.

Передаю про все тогдашние впечатления потому собственно, что они чрезвычайно ярко представляются мне и даже волнуют меня. Впоследствии, при дальнейшем ходе усмирения голицынских крестьян, были события гораздо более поразительные, чем те, о которых теперь рассказываю подробно, но события эти налегали тогда на мою душу страшно тяжким гнетом, и из-под него не встает перед моим воображением отдельно ярких картин, а все как-то сливается в одно общее воспоминание... А в происшествиях, сопровождавших собственно оцепление деревни Колодези и в которых я участвовал в качестве лица довольно самостоятельного, могшего даже распорядиться в каком-то крайнем случае (о чем ни на минуту не выходило у меня из памяти), не было ничего подавляющего общим страшным впечатлением,— и вот почему так памятно мне во всех подробностях все, что я видел и слышал в то утро, все, что сам я делал и что другие делали.

Никак не пересиливая своего волнения, я продолжал упрашивать ротного командира, чтобы не вступал он в деревню — и не знаю: удалось ли бы мне убедить его. Он видимо начинал горячиться, возражал уже с досадой, говорил, что нельзя же ему оставаться спокойным зрителем волнения крестьян, которые и бог весть что затевают, что во всяком случае гораздо лучше предупредить нападение, чем дожидаться его; что, наконец, на нем самом лежит ответственность, которая потому-то именно и может стать тяжелой, что он без всякой достаточной причины не примет вовремя должных мер к предупреждению опасности.— Так разгорался наш спор, но, к счастью, скоро явился начальник нашей кавалерии, становой пристав.

Он был в отличнейшем расположении духа.

— А не говорил ли я,— начал он, еще подъезжая к нам верхом на своей пристяжной,— не говорил ли, что все обделается преблагополучно? Вот деревня вся оцеплена и везде в нужных местах под начальством унтер-офицеров караулы расставлены. Одним словом,

отменнейшим образом дело обработано,— о чем и имею честь донести высшему начальству.

— Нет, извините,— возразил ротный командир,— не так-то все тут благополучно... Послушайте-ка — шум-то какой на деревне... Как бы тут чего дурного не вышло!

— И ровно-таки ничего не выйдет. Ну, что за беда, коли громко галдят: это у них такой разговор, иначе разговаривать не умеют. Да и есть им о чем подумать и порассудить: видели же они — кто с гумна, кто из-за задних ворот,— как я с понятыми и солдатами окружил ихнюю деревню, как и вы располагались на выгоне; знают они тоже, что все такое не даром. Помилуйте, всякий бы на их месте порастревожился! Ну, и пусть их потолкуют, пошумят. Вот скоро опять из разных щелей своих станут выглядывать. Смею уверить, что как шумом своим нас не оглушат, так и глазеньем тоже — не сглазят.

— Смотрите, господин становой пристав,— опять возразил ротный командир,— смотрите, как бы беды не нажить. Бог вас знает,— шутите вы, что ли, или уж так слишком просто... А я думаю, что для предупреждения беды надо с ротой отправиться туда, т. е. в самую деревню, да и разогнать толпу, пугнув ее хорошенько.

Становой, прежде ответа, пристально поглядел на меня. Он заметил, должно быть, мое крайнее смущение и заговорил уже без малейшей шутливости (что успокоило меня всего более).

— Господа,— сказал он,— я очень понимаю ваше положение, знаю, что тут нельзя не опасаться ответственности... Но я уже объяснял, что могу вполне поручиться за здешних крестьян. Это говорилось мною не в шутку же,— готов в том всякую подписку дать, и именно на счет того, что от здешних крестьян не будет оказано ни малейшего сопротивления. Конечно, и они держатся за павловских и стрешневских, но лишь из-за того, что ждут какого-нибудь решения. «Как там порешат нас, так мы и будем»,— не раз поговаривали мне колодезенцы.— А коли теперь они гомонят, так, поверьте же, оттого, что ничего такого отродясь не видывали, и гомон-то ихний в том состоит: «что, дескать, малый, из этого выйдет?..» Ну, хотите, я один к ним схожу, и так как толковня

ихняя вам неприятна, то я велю им разойтись, и они, наверное, послушаются?.. Да, постойте! Я уже говорил, что они и сами разойдутся, чтобы из-за углов поглазеть на нас, и вот, кажись, и начинается... вон, из-за ворот кто-то выглядывает....

И точно, из-за ворот двора, находившегося прямо против нашего помещения, выставлялась рука, должно быть, мужичья: она держала косу, которая на солнце ярко блестела.

Вид этой руки как будто наэлектризовал меня; я быстро решил пуститься на рекогносцировку, о чем и объявил моим собеседникам. Ротный командир ничего мне не сказал, а становой, одоббив мое намерение, хотел было тоже пойти со мной, но я отказал ему наотрез: все опасения мои окончательно рассеялись, и я хотел показать это именно тем, что один отправлялся к крестьянину из «бунтовщиков», да притом еще вооруженному.

Как только подошел я к изгороди гумна, рука спряталась за ворота, но конец косы еще был виден.

— Эй, дядя!—закричал я.— Выглянь, пожалуйста. Ты ничего не бойся: видишь, я как есть один.

«Дядя» выглянул, сначала на одно лишь мгновение, но, уверившись, должно быть, что я точно один, выставился из-за ворот совсем. Впрочем, косу свою он все-таки держал в руке.

— Послушай,— продолжал я,— отставил бы ты свою косу к сторонке да сходил бы к себе в избу и принес бы мне водицы. Смерть пить хочется. Спасибо скажу.

Не говоря в ответ ни слова, он сразу послушался, хотя и не вполне: косу не отставил к стороне, а взял ее с собою. Скорехонько вернулся с ведром воды в одной руке и с ковшом в другой; он не пошел, однако, ко мне, а остановился у самых ворот.

— Недавнышко принесена...— сказал он мне издали, похваливая свежесть своей воды.

Я был уже так уверен в полнейшей безопасности моих отношений не только с этим крестьянином, но даже с целой деревней, даром что в ней тогда стон стоял от толпы, громко кричавшей и спорившей, что, уже нисколько не задумываясь, подошел к воротам. «Дядя» тотчас пона-



Канцелярия.
С литографии неизвестного художника

гнул мне ведро, чтобы ловчее было зачерпнуть воды ковшом, и я принялся пить неспешно, утоляя жажду, меня томившую, да и наблюдая притом. И вот я заметил, что, пока я пил, «дядя» тоже смотрел на меня пристально, но даже и без подозрительности.

— Теперь,— сказал я моему «мирному» мужичку,— теперь, пожалуйста, тоже послушайся ты меня и вот что сделай: отнеси-ка это ведро воды к солдатам на выгон; прошли они немало, устали-таки, да и солнышко начинает печь; стало быть, будут рады свежей водице. А попоишь солдатиков вдоволь — за каждое ведро по гривеннику тебе на водку.

— Вода чего стоит,— я и так...— промолвил он, тихо улыбнувшись.

И тотчас же он понес воду к солдатам. По всему было видно, что «дядя» вполне стал мирным. Впрочем, в мирном его характере я довольно скоро убедил себя уже тем соображением, что он был дома, а не участвовал со своими односельцами в уличном обсуждении про нагрянувшее к ним нашествие.

Должно быть, мирный вид моего «дяди», несколько раз принесшего воды и для солдат, и для самовара нашего, произвел доброе впечатление на ротного командира: он подошел ко мне со своим офицером Никитиным, весело посмеиваясь; резкий шум толпы на деревне, все еще неослабно продолжавшийся и отсюда явственнее слышный, чем с выгону, уже не беспокоил его. Скоро присоединился к нам и становой пристав, и нам еще веселее стало.

Когда «дядя» окончил носить воду, я расплатился с ним за труд его, как обещал; но он взял деньги только вследствие моей усиленной настойчивости. Мне пришло в голову — не ограничивать свою благодарность одними деньгами.

— Слушай-ка, дядя,—сказал я ему, как-то невольно его жалея, хотя мне еще не была ясна эта жалость,— на прощанье я дам тебе совет, который, должно быть, очень тебе пригодится: сиди ты у себя дома, даже и на двор гораздо пореже показывайся... Так-то будь и тогда, как приедет сюда губернатор... А как станут всех со-

бирать к губернатору, я уж попрошу кого надо, чтобы тебя не тревожили и дома оставили... Да послушайся ты меня и вот насчет чего: коли желаешь добра своим односельцам,— сходи к ним теперь же и посоветуй, чтобы перестали там кричать и шуметь,— ну что в этом путного?— пускай разойдутся по домам да и ждут спокойно приезда губернатора... Губернатор разберет дело, ну, и выйдет решение... Стало быть, надо его ждать, а не то чтобы шуметь без толку... Говорю это по совести и от чистого сердца.

Когда я говорил о спокойном ожидании приезда губернаторского, тяжелое какое-то предчувствие невольно смущало, даже печалило меня...

Однако прощальная речь моя не осталась без действия. «Дядя», как видно, хорошо понял и добросовестно исполнил мое поручение к колодезенскому «миру». Скорехонько после того, как он ушел от нас, разом угомонился шум от толпы на улице. И тишина, внезапно там наставшая, была истинно поразительна.

— Как будто кто гаркнул там во всю мочь, чтоб замолчали... Ну, этот мужик — голова: даже удивительно, как скоро и вдруг послушались,— заметил становой.

А я был в восхищении. Мне уже казалось, что окончательно благополучно и все мое дело — это странное поручение, которое и начальник мой признавал столь важным и трудным.

IV

Вечер наставал светлый и прекрасный, суливший светлую, прекрасную ночь. До ночи и оставалось недалеко. А мы, успокоенные постоянно продолжавшейся тишиной на деревне, предовольные всем нашим положением, под открытым, ясным небом, на просторе зеленого выгона посреди спокойно копошившихся за своим делом солдат, нисколько и не озабочивались насчет каких-либо предосторожностей в ночную пору. Не только мне, да и никому из офицеров не приходило даже в голову об этом. (Кстати, я уже оставался тогда один с офицерами: ста-

новой пристав после обеда уехал «полюбопытствовать», что делается в «главной квартире», в селе Стрешневе.)

Но вдруг мы были встревожены чрезвычайно. С цепи прискакал унтер-офицер с известием, что к деревне подходит, с шумом и криками, большая толпа мужиков.

Мы тотчас же бегом пустились к тому месту, откуда грозила какая-то новая, неожиданная-негаданная опасность. Наскоро ротный командир приказал и роте, чтобы — кроме человек тридцати — все остальные солдаты бежали туда же.

Добежав до того пункта нашей цепи, где она пересекала проселочную дорогу из деревни Колодези в деревню Павловку и в село Стрешнево, мы почти столкнулись с толпой мужиков, которая только что привалила по этой дороге.

Толпа была, точно, большая, человек до пятисот, по-видимому. Но или унтер-офицер, известивший нас о нашествии, солгал, или же на ту минуту, перед самой целью своего пути, мужики были в особенно сосредоточенном настроении, — во всем их сборище не было слышно ни криков, ни отрывочных перемолвок. Напротив того, они подвигались к нашей цепи медленно, как будто с рассчитанной осторожностью, и очень тихо. Зато невольно бросалось в глаза, что немало мужиков вооружены толстыми палками или, лучше сказать, дубинами самого внушительного свойства.

На ту пору тревоги, было шевельнувшейся при первом известии о толпе, во мне уже не было; я как-то вовсе не трусил — и тотчас же подошел к мужикам без всякого опасения: должно быть, влияние благополучно миновавших происшествий утра действовало тогда сполна на бодрость моего духа. Ротный же командир остался с солдатами: по всей вероятности, он считал необходимым быть настороже и наготове для особенных распоряжений.

— Вы это откуда? — спросил я.

— Да из разных-ста деревень хрестьяне, — отвечали из середины толпы.

— То есть из каких же деревень? Все голицынские, что ли?

Ответа на этот вопрос не последовало. Я догадался, отчего не отвечают. Вдруг подумалось мне, что в разговоре с этими мужиками отнюдь не надо поминать фамилию теперешнего их помещика.

— Чужих, полагаю, между вами нет,— продолжал я,— а, должно быть, все крестьяне, принадлежавшие покойному графу Остерман-Толстому.

— Это точно,— отвечали скорехонько несколько голосов,— все бывшие графские, а теперича чьи — неизвестно... И чужих с нами нету. Зачем тут чужим?

— Из Павловки да из Стрешнева?

— Есть и оттоль...—отвечал уже один голос, из задних рядов.

— Ну, а зачем же сюда?

— Как зачем?.. Знамо зачем!.. Дело есть!..— вдруг закричали в толпе со всех сторон.

Кричали же все разом, очень спешно, друг перед другом, один другого перебивая. Сквозь неладный гул голосов, конечно, мало что, кроме первых и самых резких возгласов, можно было разобрать; да и показалось мне (как вижу теперь, показалось вовсе неосновательно), что весь шум этот был затеян нарочно, с той именно целью, чтобы уклониться от настоящего объяснения.

Я дал им выкричатся несколько, и вдруг сам крикнул во весь голос:

— Да вы что ж так-то орете?.. Подожди, что я скажу. Толпа разом умолкла.

— Станете кричать,— ничего и не разберешь,— сказал я.— А, впрочем, вы, может, и бьете на то, чтобы от вашего шума ни словечка я не мог разобрать? (Я помолчал, ожидая ответа, но никто не ответил.) — Ну, так скажи мне кто-нибудь один или там двое-трое, что ли, скажи ото всех, ясно, прямо и толково: зачем вы сюда пришли?

— Да мы-то пришли... знамо, набыть...— начал было протяжно, заминаясь и путаясь, стоявший в передних рядах высокий ражий мужик, с черной окладистой бородой. Но его порывисто остановил вдруг пробравшийся к нему из середины толпы мужичонок, небольшого роста,

со светло-русою бородкой, с ярко блестящими из-под сдвинутых бровей глазами.

— Мы к колодезенцам пришли: потому дело у нас с ними сообща. Затем и пришли, чтобы вместе теперича быть,— вымолвил он громким, крикливым голосом.

— Вот это начистоту, коротко и ясно сказано, а хорошую речь хорошо и слушать,—отвечал я.— Так слушай же ты, дядя с светленькой бородкой, да и вы все слушайте: я тоже скажу вам начистоту. От губернатора мне строго-настрого приказано, чтобы отнюдь не допускать к колодезенцам никого: ни чужих, ни своих, т. е. из всех прочих деревень вашего имения. Приказание начальника я обязан исполнить по всей точности: на то служба. Вот и не допущу я вас к колодезенцам ни за что! На своем же поставить вы не сможете усильством: вишь, тут-таки довольно у нас не только что понятых, но и солдат.

Слова мои были выслушаны в глубочайшем молчании. Минуты с две и после в толпе все молчали. Но вот стал проноситься ропот, и, как слышалось, ропот сильно недовольных речей. Да мужичонок со светленькой бородкой скорехонько унял его.

— Стой, ребята!— крикнул он повелительно.— Не замай, я еще спрошу.

— Мы никак не усильством,— заговорил он все тем же крикливым, но бодрым голосом,— а мы хотели было спроста,— ведь дело-то наше, как хошь, общественное для всех деревень... Ну, а нас, видать, хотят попринудить... Так как же нам быть теперича, ваше благородие?

— А попроще быть, будет гораздо лучше,— отвечал я.— Да хоть бы, например, насчет того, чтобы заявить начальству, что у нас, у всех, дело общее: для чего ж бы в кучу-то всем собираться? Ведь про то может объяснить и всякая деревня порознь... Итак, по-моему, лучше бы всего разойтись всем по своим деревням... А впрочем, и то еще не знаю...

Но, к счастью, они перебили меня. А то, может статься, я проговорился бы неладно. Я хотел добавить к своему совету, что не знаю, мол, как и выпустить вас от-

сюда домой: одних ли или же в сопровождении военного караула.

— Как же так разойтись?..— закричали в толпе, и закричали очень шумно.— Мы не для того сюда шли... А мы все сговорились сообща... Дело у нас такое!

— Мало ли что сговорились!..— возразил я, когда поунялся шум.— Теперь к вам начальство приехало, ну, и нужно послушаться, как оно велит.

— А оно еще ничего нам не приказывало,— заметил весьма резонно светлородый мужичонок.— Нет, уже вы-то нас не невольте. Как-таки разойтись, ничего-то не видя!

Я подумал, что светлородый прав, что и в самом деле мне не следует настаивать, чтоб они непременно разошлись по деревням. И внезапно пришло мне в голову — съездить к губернатору, дабы узнать: как он на этот счет прикажет. Но мне казалось необходимым сообщить и крестьянам об этом своем намерении, что я и сделал.

— Ну, вы и посудите теперь, как сами о том думаете,— добавил я.— Мне хотелось бы до ночи кончить... Я не стану вам мешать. Толкуйте, толкуйте себе, а я отойду к сторонке.

И я отошел: самого меня так и подмывало, чтобы хоть несколько подумать. Я чувствовал, что слишком увлекаюсь мгновенными впечатлениями и под влиянием их говорю и готов поступать вовсе необдуманно, а стало быть, неосторожно и, пожалуй, дурно по могущим выйти последствиям. Оттого беспокойно было тогда у меня на душе. А притом я замечал неудовольствие ротного командира по поводу моих переговоров с крестьянами. Повидимому, ему хотелось приступить тотчас же к каким-то иным мерам: недаром он что-то все перешептывался, сторонясь от меня, со своим офицером.

Предложение мое, казалось, застало крестьян врасплох, привело их в большое недоумение: на первых порах только изредка и кой-где они шушукали; впрочем, скоро пошли разговоры очень бойкие. Говорили многие, чуть не все. Не слышно было мне, о чем говорят (я отошел от толпы шагов на сто, да и сама она, перед тем

как начать свои переговоры, отодвинулась несколько от дороги); однако можно было заметить, что рассуждают с недовольством: иногда переговаривавшиеся и спорившие чересчур размашисто действовали руками, словно в драку вступить собирались, иногда прорывались возгласы очень резкие, которые уж никак нельзя было истолковать в смысле согласия на мое предложение: «Как же вот!.. Поди-кося!.. Жди тут добра!..» — слышалось все больше в этом роде. Но наконец шум поугомонился, отдельные жаркие споры прекратились, и стало заметно, что кто-то в середине толпы овладел общим вниманием, что его только и слушают, и даже все соглашаются с ним.

И выдвинулся наперед все тот же мужичонок со светленькой бородкой — и не один: рядом с ним очутился и коренастый чернобородый мужик, который так неудачно начал было переговариваться со мною.

Я тотчас подошел к ним.

— Вот что, ваше благородие, — сказал мужичонок, — «мир» так мекает, что это набить и все равно: коли вашей милости угодно, и съездить можно к губернатору... надо быть, он слово свое скажет... «мир»-то непрочь и поранее про то узнать. Только все крестьяне просят, уж сделайте божескую милость, вымолвите как есть ото всех, что затем, мол, и пришли из всех деревень сообща, так как дело-то «мирское», общественное... стало быть, а надоть нам беспрерывно быть вместе... Да ведь, чай, губернатор-то не к одной же какой ни на есть деревне приехал, а ко всем вместе. Так-то!

Строгая логичность, строгий тон этой речи подействовали на меня в высшей степени сильно. С полной искренностью я обещал передать, как крестьяне смотрят на свое дело и о чем они просят... Затем тотчас же я отправился в «главную квартиру», в село Стрешнево, до которого от деревни Колодези, помнится, было верст семь или восемь.

Я выехал в возбужденном, но все-таки довольно спокойном расположении духа; наступившая светлая прекрасная ночь, с ее свежестью и тишиной в полях, должна бы была еще больше успокоить возбужденные нервы; но чем ближе я подвигался к цели моего путешествия, тем

больше начинала одолевать меня сильнейшая душевная тревога. Сначала я никак не мог справиться с мыслями: что я скажу, когда губернатор спросит (а он, должно быть, непременно спросит) об этой толпе, о настроении ее, о том — расположена ли она покориться своему помещику (о чем я, как теперь лишь вспомнил, к большому моему смущению, и не подумал даже переговорить с крестьянами); как, наконец, передам, по обещанию, про все то, что высказано было мне при моем отъезде от лица «мира»? На эти вопросы не находил я решительно никаких ответов... А затем стали волновать смутные, неотвязчивые представления, воображалась все та же толпа, в какой-то шумно-беспорядочной, мрачной и даже грозной массе... И голова моя горела, сознание совсем мутилось.

И так расстроен был я тогда, что воспоминания об этой поездке, кроме лишь одного, остались у меня самые смутные. Я почти ничего не помню о том, в каком виде нашел «главную квартиру», кто там был при этом, что я тогда видел.

Но, может быть, оттого-то и живее я помню свидание мое с губернатором. Он был как будто задумчив и крепко не в духе; глаза сильно горели, лицо — тусклого, земляного цвета. Встретил он меня сурово, хотя на первых же порах изъявил мне свою благодарность за хорошую распорядительность при оцеплении деревни Колодези (а, по правде сказать, я тут ровно ничем не распоряжался): как видно было, он уже подробно знал, — должно быть, от исправника Веревкина, а тот знал от станового Добродеева, — что оцепление совершилось благополучно, без всяких препятствий и беспорядков со стороны колодезенских крестьян. Но он знал даже и о том, что к нам, в Колодези, подошли крестьяне из прочих деревень голицынского имения: он прямо объявил мне, что я затем, наверно, и приехал, чтобы доложить об этом нашествии. Про все это он высказал раздражительно и очень торопливо, так что мне самому решительно нельзя было разговориться, тем более что я ни о чем и не спрашивал. Затем мне было изъявлено и неудовольствие за то, что я приехал: вовсе, дескать, незачем было и приезжать,

ни на минуту и ни в каком случае, дескать, не следовало покидать своего места... Наконец я был отпущен, с приказанием елико возможно поспешнее возвращаться в Колодези и опять-таки с крайне неопределенным наказом — соблюдать величайшую во всем осторожность, быть постоянно осмотрительным; впрочем, было объявлено тоже, что завтра с утра будут сделаны надлежащие распоряжения насчет крестьян, «самовольно разбежавшихся из своих деревень и не иначе как злоумышленно собравшихся в оцепленной деревне Колодези»...

Я уехал скорехонько из села Стрешнева, и ночь ли, тогда уже совсем вошедшая во всю свою силу, охватила меня своей светлой, доброй тишиной, освещало ли мне всю мою обстановку, ясно и вразумительно, сознание, что я сделал со своей стороны все, что можно и надо было сделать,— я воротился в деревню Колодези бодрым и даже веселым.

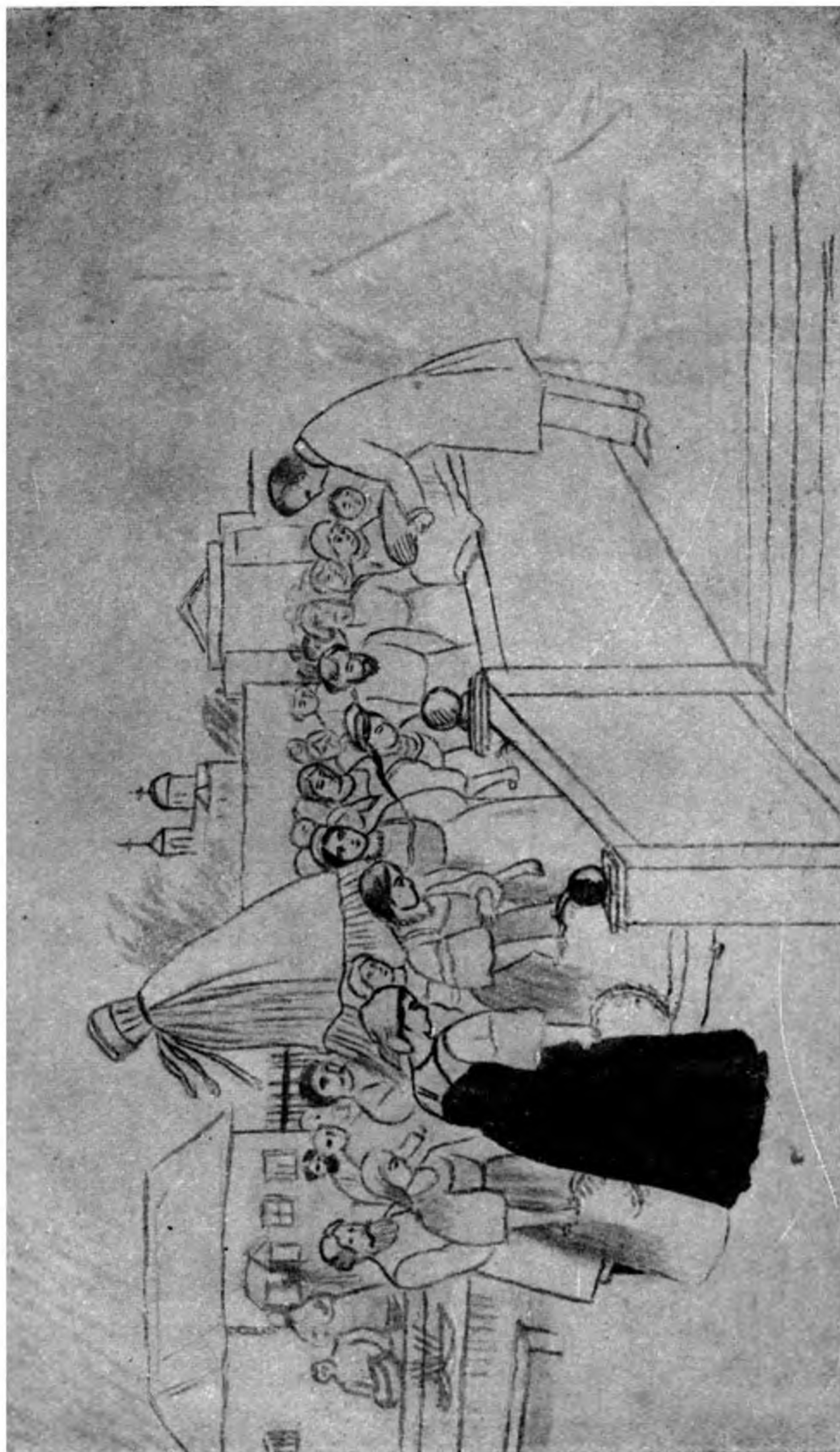
Я подошел к толпе стрешневцев, павловцев и других «бунтовщиков» и объявил им, что завтра губернатор распорядится насчет них, что, должно быть, еще ранехонько утром придут от него приказания; а что теперь, как уже поздняя ночь, то, стало быть, надо спать ложиться.

— Спать-то лечь дело немудреное,— кто-то ответил мне из толпы,— да, как же-таки, ваше благородие, никаких то ись приказаний оттоль не привезли?

— На ночь-то что ж было и приказывать?— отвечал я.— Известно, утро вечера мудренее. Ждать придется недолго.

— Недолго-то недолго... и пословица известная... Да все, вишь, дело не порешенное...

И больше никто ничего не промолвил. Теперь даже странным кажется мне спокойствие, с которым выслушала толпа мое, крайне неопределенное, заявление. Но, может быть, и на нее действовала властительно светлая ночь добрым своим покоем, действовала, даже несмотря на то, что ротный командир, еще в отсутствие мое, распорядился такими мерами, которые в иную пору могли бы показаться крестьянам очень тревожными: вокруг толпы, теперь тесно сжавшейся, расположена была довольно густая цепь из одних солдат.



Последний сноп.
С рисунка неизвестного художника

Меры эти очень одобрял становой пристав (еще до меня воротившийся в Колодези). Он болтливо пустился объяснять мне и даже доказывать всю необходимость того, чтобы пришедшие к нам крестьяне были непременно оцеплены, особенно же в ночное время. Я слушал его мало, а под конец и вовсе перестал слушать.

Все внимание мое было устремлено на то пространство, окруженное цепью солдат, где уже лежали крестьяне вповалку, тесно сжатыми кучами. Беловатый, тусклый свет безлунной уже тогда ночи не позволял различать там ни цветов, ни сколько-нибудь ясно отделенных фигур, а все сливал в какую-то темную странную массу. Но не различаемые порознь очертания этой массы, иной раз заметно было, шевелились, вдруг начинали шевелиться, — как будто лежавшее там и наполнявшее все то пространство чье-то огромное тело вдруг содрогалось... Я знал, что все те крестьяне не спят; их темные головы то здесь, то там приподнимались и что-то шептали с тяжкими вздохами; но то были не разговоры, а, должно быть, отрывочные молитвы.

Почему-то думалось мне, что эти люди всю ночь проведут без сна и беспокойно... И чрезвычайно жаль было их...

Но вот становой пристав взял меня под руку и шепнул мне на ухо:

— Да полно же вам смотреть на них... Вы лучше вон туда посмотрите.

Я оглянулся — и поразила меня внезапным, сильным впечатлением новая картина, прекрасная и величавая. Начиная от того места, где мы были, и далеко-далеко, теряясь из виду, должно быть, за деревней, тянулся ряд костров, обхватывавший через весь выгон правильным полукругом целую половину деревни. Костры горели ярко, и тем ярче, что ночь с закатом месяца была уже не светлая, глубь неба, хотя и безоблачного, усеянного звездами, казалась такой высокой и темной, глубина же полевого пространства тоже очень потемнела. Вокруг некоторых костров, даром что уже было поздно, заметно было движение: ходили люди, слышались голоса.

— Это как вы ездили в Стрешнево, ротный командир и распорядился насчет костров. И, разумеется, еще так и следовало по бивуачному нашему положению,— пояснил мне становой.

Я совершенно увлекся пленительной картиной и, почти не замечая, пошел туда, куда направился мой добродушный собеседник. Скоро мы дошли до того места, где была наша главная квартира. А затем на каких-то коврах да войлоках, разостланных по голой земле, под открытым небом, посреди все еще продолжавшегося вокруг костров движения, я заснул как убитый.

V

Долго меня будили,— так крепок был мой сон после разнообразных вчерашних впечатлений. Я тяжело проснулся, хотя красный день уже сильно бил в глаза. Пока я одевался медленно, мне растолковали, что по дороге от Стрешнева едут к нам и верхами, и в экипажах — должно быть, все чиновники, а пожалуй, и сам губернатор.

Когда я добрался до того места, где оцеплена была толпа, поезд новых наших гостей уже подъехал. Но тут не было «самого губернатора». То приехали в одном экипаже — полковник Чернов и какой-то красивый барин, кажется, родной брат князя Л. М. Голицына; в другом — данковский исправник Веревкин и тоже еще барин, кажется, главноуправляющий Голицына или же его поверенный, и наконец верхами — чиновник губернаторской канцелярии Кашинцев и еще две, совсем мне неизвестные личности.

Все эти господа тотчас же подошли к оцепленной толпе, и исправник объявил крестьянам, что губернатор строжайше приказал им тут же разделиться по деревням; а затем они будут отправлены, под конвоем солдат и понятых: стрешневцы — в село Стрешнево, павловцы — в деревню Павловку и так далее.

Но крестьяне не очень-то были расположены сделать по-приказанному. Из середины их опять выступили те же вожаки, которых я вчера видел во главе толпы. Они и теперь завели прежние свои речи (кстати замечу: на

тот раз и чернобородый, ражий вожак оказался очень речистым, что, дескать, дело ихнее — «мирское», «общественное»; что, коли забирать их хотят отсюда, то пускай забирают всех вместе, да и с колодезенцами тоже; а что разделяться по деревням они не желают и не могут, опять-таки потому, что у них у всех дело «мирское», «общественное». К этим речам, заведенным двумя теми вожаками, разом пристали шумные голоса и целой толпы.

— Э! Да они у вас не на шутку бунтовщики... Как же это? А уверяли, что нет ничего особенного... — сказал полковник Чернов, обратясь как бы с упреком к ротному командиру и ко мне.

Между тем исправник (я забыл сказать о нем, что это был человек весьма хороший, добрый и честный) сильными окриками успел восстановить некоторое спокойствие в толпе и продолжал все уговаривать крестьян, представляя им решительную необходимость подчиниться приказаниям начальства.

— Вы сумасшедшие, что ли? — прибавлял он несколько раз к своим уговариваниям, — ведь теперь дело-то идет уже о покорности самому начальству... Еще б вы ему-то, начальству-то, не стали повиноваться!

— Да мы-ста супротив начальства не можем идти... А дело у нас, — сказывают, — «мирское», мы и хотим из-за него сообща, вместе быть, — отвечали из толпы, то, слышалось мне, в два голоса, то в несколько голосов, и опять, за такими ответами, подымался страшный шум, кричали все разом, и в этом общем крике, как ни был он неразборчив, отзывалась все та же «мирская» мысль: «что, дескать, дело-то наше общее, ну, и как же нам порознь быть...»

Меня подмывало тоже подойти к толпе и уговорить этих бедняков, чтобы послушались, но становой пристав как-то понял мое намерение и удержал меня.

— Не ходите, ради бога, тут никакими уговариваниями ничего не поделаешь. Теперь уж наше, полицейское дело... Вот сейчас увидите — мы и справимся, надо быть... — шепнул он мне на ухо и быстро отошел, а

затем переговорил наскоро кой с кем из приехавших и под конец уже — с исправником.

И все пошло чрезвычайно быстро, как будто промелькнуло перед глазами, и совершилось все как-то очень странно и кое в чем очень безобразно...

Сначала я увидал, что в толпу протиснулся Кашинцев, верхом, произведя промеж крестьян страшную сумятицу, и вслед за тем оказалось внезапно, что двое вожаков — чернобородый ражий мужик и мужичонок со светленькой бородкой — отделены от всех своих товарищей и уже стоят в сторонке, под караулом солдат. А там распорядились становой и исправник: необыкновенно скоро отделили они еще две небольшие кучки вожаков, человек в тридцать-сорок; должно быть, то были крестьяне из самых малых деревень голицынского имения. А там вместе с исправником и становым и другие приехавшие господа стали разбирать остальных мужиков, спрашивая каждого, из какой он деревни... Но остальные мужики, — как после оказалось, все стрешневцы и павловцы, — тесно жались в одну кучу и не отвечали на вопросы; а хоть и не отвечали, говор и крики между ними были чрезвычайно шумны, и уже нельзя было разобрать, о чем перекидываются отрывочными речами, из-за чего так кричат.

Там, около толпы, все распоряжались, и преусердно, по крайней мере очень шумно; для них, этих распорядителей, должно быть, все было ясно и понятно. А я держался в стороне, один-одинешенек. Мне было тяжело, жутко, тоскливо. Всю эту сумятицу я видел как будто в болезненном сне и никак не мог распознать, что же мне самому надобно тут делать.

Но вот и я заметил: в толпе собственно стрешневцев и павловцев произошло разделение: она разорвалась отчего-то на две почти равные части. Между этими частями стояли уже солдаты.

— Теперь можно будет отправить по партиям, — слышался громкий голос полковника Чернова. — Прежде всего следует отправить стрешневцев, да одновременно, но за отдельным, надежным караулом, запевал-то этих

(должно быть, это говорил он про вожаков толпы). Потом вот эти две кучки!.. А павловцев — уже после всех...

Полковник Чернов отдавал эти приказания ротному командиру Дорошкевичу. Между тем становой и сам исправник что-то суетились около понятых.

Скорехонько затем я увидал: солдаты, окружавшие одну часть большой толпы (должно быть, тут были все стрешневцы), зашевелились сильно, приготавливаясь к походу. Но встретилось препятствие: крестьяне не двигались: по-видимому, они не хотели идти.

— А коли нейдут, так подгони... пожалуй, кой-кого и прикладами!.. — слышалась опять громкая команда.

И тогда произошло такое смятение, какого больше уже никогда не случалось мне видеть. Отчего именно произошло это смятение: от действия ли солдат прикладами, от иных ли каких-нибудь сильных понуждений крестьянам, чтобы они тронулись в путь, от отчаянной ли попытки самих крестьян прорвать ряды солдат, их окружавших, и опять соединиться в одну толпу, — я не заметил или, лучше сказать, я не мог того разобрать от тогдашнего своего волнения. Помню только, хотя в самом смутном, хаотическом виде, что все крестьяне, разбитые на четыре отдельные отряда, — все, а не одни лишь стрешневцы, — внезапно, со страшным воплем шарахнулись и стали бросаться на солдат, конечно, для того, чтобы прорваться... Но вряд ли кто-нибудь из них прорвался. И я опять услышал громкий и грозный возглас: «Прикладами их!.. Прикладами!..» — И точно: на этот раз я уже видел явственно, как подымались и опускались, — надо быть, недаром опускались, — ружейные приклады... Раздались еще страшнейшие вопли, но не только вопли — и стоны... И уже не видать было крестьян на ногах: какой-то громадной, безобразно копошащейся, дико голосающею кучей лежали они посреди махавших прикладами солдат, — и кто их свалил так в эту кучу: ужас ли, внезапно их объявший, или же тяжкие, страшные удары, — уж, право, не знаю...

В величайшем волнении, не помня, что и почему делаю, я кинулся к той кучке солдат, которая одна лишь стояла спокойно, не действуя прикладами, именно к

кучке, окружавшей двух вожаков, которые не были повержены на землю и стояли твердо, и закричал во весь голос:

— Ведите их!.. Скорей, сейчас же ведите!.. А вы, братцы!.. (Я говорил это, обращаясь уже к двум вожакам.) А вы, ради самого Христа, идите, идите!.. Пожалейте же вы своих!..

Угрюмо взглянули вожаки на меня, на одно лишь мгновение оглянулись и на своих, все еще барахтавшихся на земле, все еще вопивших что-то, и, не отвечая мне, оба разом промолвили солдатам: «Что же!.. Ведите нас...» — Потом кто-то из них прибавил: «Знать, теперича, уже все равно!..»

И солдаты послушались, повели их.

Теперь меня даже удивляет, что солдаты без приказа от своего начальства послушались. Но, видно, и на них подействовала сцена...

А вслед за тем все стало как-то вдруг успокаиваться. Тотчас же я увидел, что и еще две небольшие крестьянские кучки двинулись под конвоем солдат за отрядом, который мне удалось выпроводить. А там и лежавших крестьян стали растаскивать и приподнимать...

Тронулись наконец и они, эти приподнятые, тронулись — и пошли двумя отрядами, под конвоем солдат и понятых, по той же дороге, по которой отправились первые три малых отряда. И пока видны были мне эти два последних отряда, — я слышал, или так казалось мне, что протяжные стоны вырываются из их медленнодвигающихся рядов...

И наконец все эти толпы, все это смятение, так поразившее и взволновавшее меня, разом исчезли. Даже незаметно для меня исчезли и все наши гости, с приездом которых разыгралось смятение. Исчез, должно быть, с ними и становой. Вокруг меня вдруг образовалась какая-то странная пустота, тяжело меня давившая. И долго-долго голова моя мутилась под представлениями этой сцены, которая, как ни быстро, как ни смутно промелькнула передо мною, навсегда осталась в моей памяти.

После того довольно долго, с лишком два дня у нас, на стоянке в деревне Колодези, все было спокойно и мирно.

И как я рад был этому «домашнему нашему» спокойствию! При нем я мог отдохнуть от впечатлений, подавивших было меня. Мне нужен был этот отдых, а то вряд ли бы обошлось без тяжелой болезни.

К счастью, в тот день, как выпровожена была от нас толпа, никто уже не посетил нас из «главной квартиры». Около полудня только воротились оттуда солдаты и понятые, бывшие в конвое, но они не принесли нам никаких особенных известий.

И так ладно все шло у нас: ротный командир весьма ласково старался разговориться со мною, как будто хотел что-то загладить таким обращением. Его товарищ, офицер, добрый и простой малый, тоже был ласков. Но сам я не скоро разговорился — и лишь тогда совсем успокоился, когда опять настала прекрасная, светлая ночь.

Но на другой день, уже к ночи, мы проведали досконально, что происходило тем временем в селе Стрешневе. Приехал становой — и рассказал нам много, очень много.

По его рассказам, оказывалось прежде всего, что вожаки толпы, у нас погостившей, были «действительно вожаками и всего бунта в голицынском имении». Когда их привели в Стрешнево, они «поговорили с губернатором так, что даже дух занимался от страха» (так пояснил становой про впечатление, произведенное на него смелостью речей вожаков). Они напрямик объявили, что князя Голицына помещиком своим решительно не признают и ни за что признавать не будут.

Тогда-то я узнал прозвища этих вожаков: чернобородый ражий мужик прозывался Морозовым, мужичонок со светленькой бородкой — Киселевым (по имени и по отчеству, сколько помнится, Киселева звали Николай Никитин). Кстати: кажется, собственно за дерзкие речи с губернатором Морозов и Киселев были высечены на первых же порах (и то было, так сказать, введением к тому наказанию, которому они были подвергнуты потом в деревне Колодези); но, впрочем, не выдаю этого за вполне достоверный факт.

Затем, по рассказам же станового, пошла своим обыкновенным ходом «экзекуция», т. е. крестьяне, приведенные от нас, большей частью уже были наказаны.— Наказание было сильное, даже очень жестокое...

— Ну, и как с ними иначе? Иначе никак их не проберешь,— пояснял становой,— ведь уж сколько их уговаривали, уж как им растолковывали, что князь и не думал от них отказываться, что слова его об отказе просто вырвались с досады на их докучливость; а они-то и теперь самому губернатору в глаза все то же и то же: «князь от нас отказался; ну, и как же нам считать его за своего барина?.. Не минуемся (т. е. не повинуюемся), да и только!..» — Вот и пришлось их драть беспощадно. А все же оказалось покуда с десятков таких упорных, что и не добились от них повиновения... Из двух небольших деревень все оказались очень жидкими на расправу; а стрешневцы — народ преупрямый до чрезвычайности... Завтра очередь будет за павловцами. Эти, полагаю, чуть ли еще не поупрямей стрешневцев окажутся...

Рассказав нам все это, становой пристав объявил наконец, что на этот раз он приехал к нам не по собственной своей охоте, а по приказанию губернатора, который озабочен положением дел в деревне Колодези, где, «по всей вероятности, находится, дескать, главное гнездо бунта, так как недаром же пожаловали туда все бунтовщики».

Меня изумило это предположение. Ввиду того, что у нас все было так тихо и благополучно, оно казалось в высшей степени странным и нелепым. И сам ротный командир был удивлен: он даже пустился было доказывать становому приставу, что настроение колодезенцев наших самое мирное, какого лучше и быть не может. Но станового и нечего было убеждать в этом.

— Да ведь я сам это знаю и даже обнадеживал вас в том при самом начале,— сказал он.— А кстати припомню, про что вы не говорите, а что непременно следует взять в расчет: вот, во все время, покуда здесь были те бунтовщики, колодезенцы и не пошевелились, словно все вымерли,— просто подивиться тому можно... (И в самом деле это так было; но замечательно, что нам о том при-

шло на память лишь тогда, как сказал становой.) Но что ж делать-то станешь, когда там, в «главной квартире», иначе смотрят. Уж, конечно, его превосходительству наговорили много лишнего про нашу смирную деревню, оттого, должно быть, и озабочены так, и думают, что здесь — главное гнездо... Впрочем, и минута теперь такая горячая.

Затем он стал прощаться с нами: он уезжал опять в Стрешнево. Я было хотел отправиться с ним туда же, чтобы лично засвидетельствовать моему начальнику о совершенно мирном настроении колодезенцев, но становой решительно отсоветовал мне.

— Послушайте, ну зачем вы туда поедете?— возразил он.— Как вы ни уверяйте теперь, что здесь благополучно, вам не поверят, и если поверят, так скажут: это оттого, дескать, у вас смирно и благополучно, что решительные меры с толпой бунтовщиков да и слухи, уже далеко распространившиеся, о наказаниях в Стрешневе, поуняли-таки ваше главное гнездо.— А притом, там теперь сумятица, все в таком раздражении, и без вас хлопот и забот много... Видите ли: к ночи всегда принимаются там особенные меры предосторожности, пожалуй, как бы еще не досталось за то, что покинете ваш пост в ночное время.

Я вспомнил про мою поездку в Стрешнево и внутренне согласился со становым, что мне, точно, может достаться за оставление «моего поста» в ночное время. Я не поехал в Стрешнево, но, кажется, я нехорошо тут поступил.

VI

И еще целый день прошел спокойно. Под ясным, летним небом, на этом зеленом выгоне, где было так просторно и привольно, деревенская тишина, нас окружавшая, имела даже что-то усыпляющее. Но не в урочный час, именно поздней ночью, нас разбудило внезапное известие, которое, право, показалось грозным.

Опять приехал становой и уведомил нас, что завтра, часов в 10—11 утра, приедет губернатор в нашу деревню.

К этому времени надо было приготовить все: крестьяне колодезенские должны были быть выведены на выгон; затем надо было сделать приготовления и к экзекуции. Я уже хорошо знал, что это значит, и невольно замерло у меня сердце.

Становой, должно быть, заметил мое волнение.

— Не беспокойтесь,— добавил он,— все эти распоряжения до завтрашнего утра можно отложить.

Как будто дело шло только о времени,— когда именно приступить к тем приготовлениям.

— А как там с павловцами? — спросил ротный командир.

— Да как я говорил, так и вышло,— отвечал становой,— павловцы оказались самыми упорными бунтовщиками, так что и меня разобрало зло на них... Теперь из стрешневцев почти все покорились и разве только человека три-четыре не «минуются», ну, а павловцы... Представьте: как их ни драли, а человек около двадцати не изъявили повиновения.

Он стал было рассказывать в подробности про показание павловцев, но я попросил его не продолжать рассказа.

И долго сон меня не брал. Только к утру я разоспался, и так, что меня даже разбудили: «Пора, дескать, одеваться, натягивать мундир» (становой привез известие, что при экзекуциях в Стрешневце и Павловке все были в мундирах).

Часам к десяти утра приехали: исправник и уездные — стряпчий, врач и еще кто-то из чиновников.

Приготовления к экзекуции были сделаны еще спозаранку: крестьяне были выведены и поставлены на выгоне, у дороги, ведущей в самую деревню. По-видимому, их было тут человек восемьдесят-девять, не больше: малая и жалкая кучка то была... И особенно жалким казался мне вид этой кучки, может быть, потому, что неподалеку от нее, у крайней избы деревни, стояла — и очень смиренхонько — толпа баб.

— Уж я им строго-настрого наказывал,— сказал мне становой,— чтобы отнюдь не смели голосить, а иначе, мол, немедленно велю прогнать отсюда. А насчет маль-

чишек и девчонок,— так тем и вовсе велено попрятаться по избам.

Кстати: добрый становой сам вспомнил про моего «дядю» и не приказал выводить его на выгон, про что и сообщил мне потихоньку.

В стороне от толпы колодезенцев стояло несколько возов... Я увидал, что на них было, и всячески старался не глядеть туда, где стояли эти возы...

Между тем исправник рассказывал ротному командиру про один эпизод экзекуции, случившийся уж не помню где: в Стрешневе ли, в Павловке ли.

В самый разгар экзекуции кто-то из чиновников заметил, что посторонний, простого звания человек подъехал верхом к цепи солдат и понятых и, не слезая с лошади, смотрит на то, что делается среди цепи. То был молодеватый, красиво одетый, в красной рубахе, в полубархатной безрукавной поддевке, кучер соседней богатой помещицы Ш-вой, человек очень избалованный помещицей, по словам исправника. Скоро и другие чиновники заметили кучера, заметили то, что он держится на лошади, подбоченясь, да и шляпы своей не снимает, да притом и поспрашивает то у того, то у другого из понятых, за что, мол, так секут-терзают мужичков... И не прошло это даром молодеватому кучеру. Про него втихомолку доложили губернатору, конечно, не скрыли и того, как он держал себя небрежно и невежливо, какие замечания про экзекуцию позволяет себе вслух высказывать. Немедленно велено было окружить его так, чтобы он не заметил, и снять с лошади; затем он введен был в круг, где шла экзекуция, и высечен нещадно... Во время наказания он взывал громогласно к своей баловнице-помещице, как будто та могла услышать его: «Матушка! Софья Ивановна! Заступись ты за меня, горького!» По наказании он был отправлен к помещице с кем-то из чиновников уездной полиции, которому приказано было передать г-же Ш-вой, что кучер ее наказан за дерзкое свое поведение, что в обязанность ей вменяется иметь за этим кучером особенно строгое наблюдение и что вообще не годится ей так баловать своих дворовых людей. Но случаем этим (как он ни возмутителен сам по себе)

понятые, особенно же из имения г-жи Ш-вой, остались, по заверению исправника, очень довольны.

Незадолго до приезда губернатора подошла к нам старая баба и, уж не знаю почему так вышло, обратилась прямо ко мне.

— Батюшка,— сказала она,— ты вот насчет моего Петрея-то умилосоердись... Неравно и его станут, а он как есть ни к чему непричастен... Больно молоденький.

— А кто такой твой Петрей?

— Да сыночек мой. Един в семье остался, и хозяином теперича, недавнышко тягло наложили... Ты подойди-ко туда. Он вон там стоит, с заправскими мужиками.

Я тотчас же пошел с ней.

И в самом деле, Петрей был больной, молоденький мужичонок, малорослый, тщедушный и, должно быть, никак не больше двадцати годов от роду. Кроме того, по виду своему,— я старался всмотреться в него, чтобы безошибочно указать его губернатору,— по виду он был совсем простоват. Я и не подумал разговориться с ним, порасспросить его, а посоветовал только: отнюдь не оказывать упорства, а прямо изъявить покорность.

Наставления мои я успел кончить, но не успел спросить бедного малого: понял ли он хорошо все то, что я говорил ему. Как раз в это время слышались крики: «Едет! Едет!»

Экипаж губернаторский остановился как раз перед нашим чиновничьим сборищем, стоявшим возле роты, которая была выстроена в полном своем составе (вокруг колодезенцев цепь держали тогда уже одни понятые). Прежде всего губернатор поздоровался с ротою. Как водится, чин-чином возданы были ему все должные почести.

Затем он быстро обратился ко мне и отошел со мною несколько в сторону.

Живо помню физиономию его в это время. Он казался мне гораздо мрачнее, тревожнее, чем был в Стрешневе, когда я ездил к нему. Он был даже страшен. Лицо — уже не тусклого цвета, а какого-то коричневого; белки глаз — желтые, прорезанные кровавыми жилками, и глаза — не блестящие, как я привык видеть, а

тусклые, темные, и оттого взгляд их был невыносимо тяжел. Болезнь печени, от которой Павел Сергеевич Кожин скончался через три года после того, уже и тогда терзала его чрезвычайно.

— Ну, что у вас тут? — спросил он глухим голосом.

Я отвечал, что у нас, слава богу, все благополучно, что колодезенцы — народ самого мирного свойства.

— Пустые слова! — возразил он. — Как вижу, вы ничего тут не поняли. Хороши ваши мирные! А даром, что ли, подходили к ним на соединение все прочие?.. Я спрашиваю вас: говорили ли вы с ними насчет неповиновения помещику и что они отвечали! Заметили ли вы между ними вожаков, подстрекателей к неповиновению?

Я признался, что с крестьянами колодезенскими не разговаривал, что никаких вожаков и подстрекателей не заметил. Я хотел было высказать свою полную уверенность, что вожаков и подстрекателей даже нет между колодезенцами, но губернатор не дал мне разговориться.

— Я так и знал! — вскричал он. — Да вы тут ничего не делали! Вы лишь почивать тут изволили! Хорошего чиновника особых поручений я в вас имею!..

И я получил жестокий выговор за мою недеятельность, беспечность, несообразительность. Мало того: он погрозил мне, что если, дескать, при экзекуции, окажется особое упорство в колодезенских крестьянах, то это поведет меня к строжайшей ответственности.

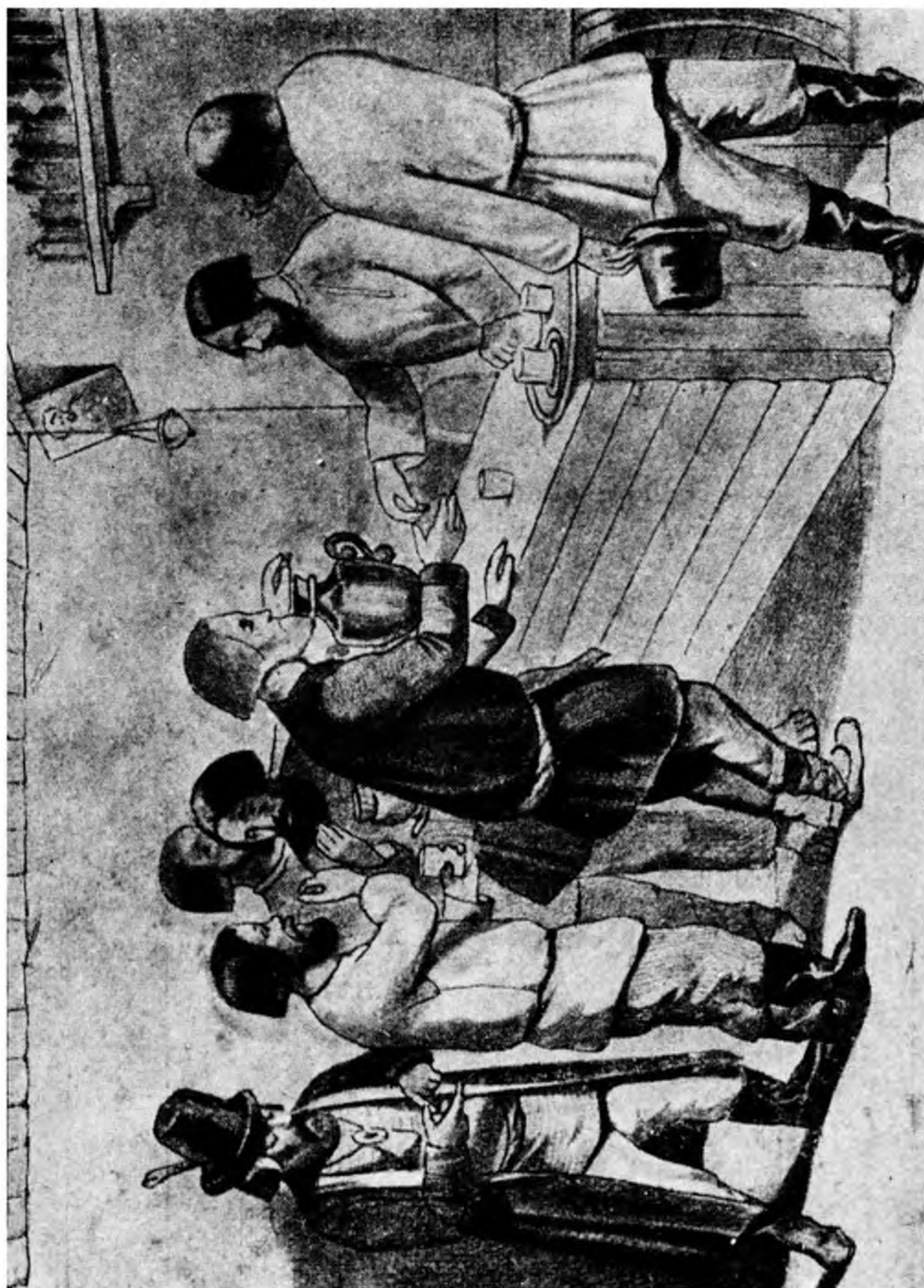
— Вот я увижу, каковы эти ваши смиренные и покорные! — повторил он несколько раз и вдруг крикнул во весь голос: — Исправник Веревкин! Крестьян сюда! Полковник Чернов! Прикажите расположить роту, чтобы оцеплено было место для экзекуции.

Все кинулись стремглав исполнять приказания эти. А я, как ни был ошеломлен выговором и угрозами, при виде подводимых крестьян решился — на беду — доложить про Петрея.

— Вот увижу, — проговорил губернатор на нескладный мой доклад.

И он подошел к толпе крестьян.

— Я приехал к вам, — сказал он колодезенцам, — не уговаривать вас, не растолковывать вам. Было для то-



В кабаке.
С литографии неизвестного художника

го время — и прошло. Вы не послушались, когда вас уговаривали. Но до меня дошли тоже слухи, что у вас чуть ли не главное гнездо бунта, вот это мы сейчас и узнаем. Вы все, голицынские крестьяне, хотели видеть губернатора. Но это не обходится даром. За то, что меня потревожили, оторвали от дела вашим непослушанием, вы будете наказаны, как уже наказаны за это и прочие. Веревкин! Розог сюда!..

— А где тот, за кого вы просили меня? — вдруг спросил он у меня.

Я указал. Жалкий вид Петрея произвел видимо впечатление на губернатора. Он довольно тихо спросил его: — Будешь ли повиноваться беспрекословно своему помещику, князю Леониду Михайловичу Голицыну?

— Как «мир», так и я!.. — чуть внятно отвечал Петрей.

— А!.. Вот как!.. Его первого!.. Двадцать пять розог — и горячих!..

Бедного малого стали сечь. Он вопил благим матом... Но когда подняли его, и губернатор повторил свой вопрос о повиновении помещику, Петрей повторил — даже тверже прежнего — ответ свой: «Как «мир», так и я!»

И еще два раза его секли, и опять спрашивали о том же, и все тот же был ответ от него, а в последний раз он выговорил этот ответ, хотя и слабым голосом, но с видимым ожесточением... Словом, он оказался или, лучше сказать, его сочли чуть ли не самым упорным в неповиновении помещику.

Мне опять был дан жестокий выговор, и уже не с глазу на глаз, а при всех, — за крайнюю неосновательность моего заверения о мирном характере Петрея. Но этот день был особенно счастлив для меня на выговоры.

Началась экзекуция. На беду, из первых, спрошенных о том, будут ли повиноваться своему помещику, князю Л. М. Голицыну, нашлось довольно таких, которые или отвечали подобно Петрею, или совсем ничего не отвечали.

Но особенно страшно было наказание Киселева (которого как и когда привели, я и не заметил в общей сумятице). Помню и никогда не забуду: когда положили его, он широко раскрытым ртом схватил землю, — уж не

знаю, для чего: для того ли, чтобы легче было не кричать (и точно: он не кричал во все время наказания), или же потому, что этим как бы хотел выразить, что страдает за мать-землю родную... Могло быть и то и другое...

К довершению моего ужаса, который, как ни старался я крепиться, одолел-таки меня, я услышал, как исправник Веревкин докладывал губернатору, что колодезенские бабы бросились в пруд.

— Ничего...— отвечал губернатор,— они купаться хотят. (И в самом деле, как я после узнал достоверно, никто из баб не утонул,— пруд был очень неглубок.)

У меня закружилась голова. Я чуть было не упал... Но тут разразился надо мной самый жестокий, из всех полученных в этот день, выговор. Губернатор за мое «бабье слабодушие» хотел было отправить меня прямым ходом под арест.

Но я не стану описывать дальше экзекуцию в деревне Колодези... Одно скажу: кроме Петрея, Киселева и Морозова*, было наказано довольно колодезенцев, но далеко не все, и, как говорили мне после уездные чиновники, наказание здесь было гораздо легче, чем в Стрешневе и Павловке. Конечно, это зависело от того, что колодезенцы, в самом деле, не оказались упорными в неповиновении помещику: многие из них, после первых же ударов, изъявили полную покорность, а было довольно таких, что прямо покорялись, чем и избегали вовсе наказания. Впрочем, помнится, человека три, в том числе и несчастный Петрей, так-таки и не покорились.

Затем признано было начальством, что «бунт» в имении князя Голицына уже окончательно усмирён. Но так как крестьяне этого имения не все поголовно изъявили полную покорность помещику, то на некоторое время для наблюдения за порядком и за исправным отбыванием крестьянами крепостных своих обязанностей оставлена была в имении целая рота солдат. Признанные зачинщиками бунта, а также не изъявившие покорности (всего таких, сколько помнится, было более двадцати

* Кстати: почему именно Киселев и Морозов были приведены для наказания в деревню Колодези, так и осталось для меня неразъяснимой загадкой.

человек) были отправлены в данковский острог; о причине же бунта назначено формальное следствие (следователем был советник губернского правления²⁵ Щипунин).

Впрочем, тем дело не кончилось в голицынском имении. В следующем году, весной, бунт повторился, о чем и расскажу я ниже. Теперь же, в заключение этой части моего рассказа, считаю необходимым сделать несколько общих замечаний о характере действий тогдашней администрации в случаях, подобных описанному.

Конечно, ныне редко кто не осудит, и с крайней строгостью, всех этих тогдашних чиновников, обыкновенно посредством розог приводивших крестьян в повиновение помещикам; должно быть, станут осуждать и губернатора Кожина за жестокое наказание голицынских крестьян. И в самом деле, как не осудить, например, за это наказание? Хоть бы и действительно голицынские крестьяне волновались довольно опасно в том именно отношении, что их решительное неисполнение обязанностей к помещику и странный их отказ от помещика могли быть вредным примером для соседних крупных имений,— все же можно было бы поступить с ними совсем иначе: наверное, при более терпеливом, вразумительном обращении с ними, они сами поняли бы наконец, что уж чересчур далеко заходят в своих домогательствах, в своем упорстве. И разве нельзя было тоже еще при самом начале дела обратить внимание на коренную причину недовольства крестьян? Тогда установилась бы правильная точка зрения на дело, а при ней не один бунт был бы в виду. Затем устранить причину недовольства крестьянского, устранить непременно при содействии самого помещика, конечно, было весьма возможно, и это было бы вполне справедливо, а с таким устранением никакого и бунта не было бы... Теперь все это кажется именно так, и иначе думать нельзя. Но в суждениях о тогдашнем времени, когда крепостное право считалось у нас,—по крайней мере в губерниях наших,— таким учреждением, что все сколько-нибудь нарушающее спокойное его состояние признавалось в высшей степени преступным, опасным, подрывающим весь общественный порядок, приходится судить о действиях по охране-

нию крепостного права, о лицах, действовавших в этом смысле, до некоторой степени применяясь к тогдашним понятиям; судя же так, неминуемо выходит, что вышеуказанные действия, хоть и далеко не безупречны, все же как будто извинительны.

Охранение крепостного права, признаваемое особенно необходимым при охранении всего общественного порядка, было тогда одной из главнейших забот губернской администрации. Эта забота была на виду у всех, чуть ли не стояла даже во главе всего, и шла она издавека, имела свои крепкие предания, сложившиеся, думается мне, не без влияния воспоминаний о страшном Пугачевском бунте. Но как бы там ни было, а то уж вполне несомненно, что при всяком волнении в помещичьих имениях всегда администрация крепко озабочивалась насчет размеров движения, а при такой озабоченности трудно было сохранить терпение, рассудительность, самообладание, столь необходимые во всякой сумятице.

Притом охранение, а пуще всего восстановление порядка совершалось тогда очень просто: иного образа действия не знали или, лучше сказать, не признавали, кроме устрашения. Система же эта была так легка для применения, так понятна всем и каждому. Разумеется, при ней допускалось и всяческое превышение власти, к которому вообще у нас очень склонны. Да и то сказать: при системе устрашения, которая тогда в отношении крепостного права особенно требовалась, как было и избежать превышения власти?

Я бы очень желал, чтобы на действия губернатора Кожина, при усмирении бунта в голицынском имении, взглянули вполне беспристрастно.

Я хорошо знал его и как человека вообще и как губернатора. Как человек он имел высокие качества. Он был безупречно честен, правдив, истинно благороден; при всей своей пылкости и болезненной склонности к порывам гнева, — вовсе не зол, вовсе не жесток; он даже сознательно и постоянно стремился к добру. Административные его способности тоже были замечательны, хотя к деятельности административной он был подготовлен весьма мало (он получил образование, подготовившее его

только к военной службе или же, лучше сказать,— просто к светской жизни). Нельзя было не подивиться его неутомимости в труде, его твердому и всегда серьезному отношению к делу, его быстрой и светлой сообразительности,— когда он был хоть сколько-нибудь спокоен духом,— насчет чистой правды в каждом деле, попадавшем к нему на рассмотрение. Словом, он был губернатор, каких тогда было чрезвычайно немного, и поэтому-то его так не любили в Рязанской губернии чиновники и балованные, привередливые члены губернского так называемого общества...

Судя о таких людях, каков был П. С. Кожин, надо судить не по одному какому-либо их действию, но сколько возможно шире и беспристрастнее оценивая характер всей вообще их деятельности, оценивая непременно и те условия, при которых приходилось им действовать, помня, наконец, особенно то, что быть на самом деле вполне гуманным, безотносительно справедливым чрезвычайно трудно, ибо тут является целая масса посторонних влияний, и она-то, эта масса, чуть ли не всегда властительно направляет дело каждого деятеля или не туда, куда бы он сам желал его направить, или же вовсе не тем путем, который наиболее по душе ему...

VII

Во второй раз крестьяне того же голицынского имения взволновались так, что дело действительно походило на настоящий бунт. Замечательно: причина бунта заключалась уже не в каком-нибудь стеснительном действии помещика или его управляющих, а чисто в случайном влиянии. Тут опять является недоразумение этих несчастных крестьян, хоть и не такое, какое было возбуждено в них неосторожными словами князя Голицына. Да! Новое это недоразумение уже нисколько не отзывалось каким-то странным капризом, а имело в основании своем нечто особенное.

Но надо рассказывать по порядку.

Рота, оставленная в имении, простояла там, кажется, около полугода. Разумеется, при ней обстояло все

благополучно: ни малейших беспорядков, ни малейшего слушания со стороны крестьян не было. Поэтому рота и была выведена из имения. Но и за выводом ее несколько месяцев прошло тоже благополучно. И надо же случиться, что, на грех, местный священник сказал проповедь в какой-то праздничный после Св[ятой] недели день, именно в храмовой села Стрешнева праздник. По крайней мере так объяснили мне причину второго бунта в голицынском имении.

Священник упомянул будто бы в своей проповеди, что вот, дескать, в этот торжественный день бывало отрадно ему видеть в храме божьем всех своих православных и благочестивых прихожан, а ныне, дескать, многих из них нет здесь, и не потому, что их уже нет на свете. «Где же они? — задался неосторожным вопросом оратор — и ответил еще более неосторожным ответом: Они — в узах, в темницах... они теперь, может быть, страдают от тех истязаний, какие довелось им вынести...»

К рассказу об этой проповеди, собственно о ней самой, мне ничего больше не добавили. Но я полагаю, что рассказ собственно о содержании проповеди далеко неполон, а потому и вовсе неверен. Очень может быть, что священник, увлеченный при богослужении в храмовой праздник чувством сильно шевельнувшегося тогда в нем сострадания к отсутствующим по несчастной причине прихожанам своим, и не утерпел, чтобы вслух не вспомнить о них, чтобы не упомянуть тоже и о причине их отсутствия; но я твердо уверен, что он не ограничился одним этим, а вывел и заключение в том смысле, что для спокойной, безмятежной жизни необходимо покоряться установленным властям; не сделать же этого заключения священник, конечно, не мог, хотя бы потому собственно, что нельзя же было ему не сообразить, какая тяжкая ответственность могла пасть на него за возбуждение в крестьянах чрезвычайно тяжких и горестных воспоминаний. Это предположение подтверждается и тем еще, что священник, насколько мне известно, не подвергся никаким неприятностям за свою проповедь.

Но, впрочем, кажется, несомненно то, что проповедь с вышеизложенными вопросом и ответом, действительно, была сказана, и, конечно, следует признать ее крайне неосторожною, даже и в таком случае, если в ней и было предполагаемое мною заключение. Мне говорили, что действие проповеди было поразительно: в церкви все навзрыд плакали. Оно и понятно... Последствия эффектного впечатления вышли чрезвычайно печальные.

В тот же день крестьяне сменили всех своих сельских начальников, а на другой день за усердную службу этих начальников помещику жесточайшим образом наказали их розгами и палками. Затем, само собою разумеется, все барщинные работы были прекращены,— крестьяне решительно вышли из повиновения помещичьей власти.

Это было весной 1848 года, столь несчастного для всей России, ибо везде тогда свирепствовала холера, вырвавшая из народонаселения, сколько помнится, более миллиона жертв. Рязанская губерния была в числе наиболее пострадавших. И не от одной холеры она пострадала: урожай в этот год был самый скудный; а к тому пожары обошли чуть ли не всю губернию; особенно опустошительны они были в средней полосе губернии и в южных украинских уездах; горели же по большей части селения, и горели все как будто от поджогов; пожаров было так много, что к середине лета уже насчитывалось до пятисот случаев.

О втором бунте в голицынском имении я могу рассказать не в большой подробности: я был свидетелем только некоторых эпизодов, про все же остальное знаю — и то немногое — по отрывочным рассказам. Вообще при усмирении этого бунта мне не выпало никакой самостоятельной роли; я почти все время находился, так сказать, при штабе, чему тогда я был чрезвычайно рад, за что и теперь очень благодарен судьбе моей.

Так, я не знаю ровно ничего о предварительно принятых губернатором мерах к усмирению бунта. Конечно, дело не обошлось без солдат Рязанского батальона внутренней стражи, но в прежнем ли составе был двинут в имение «экзекуционный отряд», — про то мне неизвестно; думаю, впрочем, что если б губернатор имел еще

в Рязани то известие, о котором я скажу ниже, то, по всей вероятности, он опять двинул бы на место бунта не менее трех рот.

Где-то, уже на дороге, губернатор получил донесение, что почти все голицынские крестьяне, по крайней мере все взрослые, домохозяева и рабочие в семьях, в предвидении новой экзекуции, разбежались из своих деревень и укрылись в окольных селениях государственных крестьян²⁶, куда перетасили всякое ценное свое имущество, куда даже перегнали свой рогатый скот, своих лошадей, овец и свиней. Известие это очень озаботило моего начальника. И в самом деле, оно было довольно тревожного свойства, ибо указывало на явную солидарность бунтующих крестьян со сторонними крестьянами, да притом, — что было особенно замечательно, — с крестьянами ведомства государственных имуществ.

Вероятно, губернатор желал осмотреться прежде всего при этих новых обстоятельствах; потому он и не отправился прямо в голицынское имение, а остановился в имении помещика Медведецкого (или же Медведовского, — хорошо не помню). Там мы пробыли дня два или три, и оттуда последовали прежде всего распоряжения относительно государственных крестьян, укрывших у себя своих бунтующих соседей.

Помню странную сцену.

На двор помещичьей усадьбы были собраны волостные головы и старшины сельских обществ²⁷ всех вышеупомянутых государственных крестьян. Выйдя к ним, губернатор разбранил их жестоко, пригрозил им всяческими угрозами за слабый их надзор за подчиненными им крестьянами, которые вследствие такого-то надзора и дозволили себе укрывательство бунтовщиков, а затем приказал их втиснуть, именно втиснуть, в какие-то будки, стоявшие на дворе у садовой ограды; будки же эти, с втиснутыми в них волостными и сельскими начальниками, обернуть лицевой стороной к самой ограде, так что втиснутым приходилось смотреть только в упор в одну садовую ограду. После того, как я слышал, — но сам я того не видал, по причине, которая будет объяснена ниже, все эти волостные и сельские начальники

будто бы были высечены сильно за административные свои прегрешения... Рассказывали мне тоже, что это распоряжение губернатора не прошло-таки ему даром: тогдашний министр государственных имуществ, граф Киселев, будто бы весьма сурово заметил, что волостные и сельские начальники государственных крестьян, по закону избавленные на время своей службы от телесного наказания, отнюдь не могли быть ему подвергнуты. Но случай этот, если он действительно был, про что я никак не могу сказать утвердительно, так и остался без дальнейших последствий для губернатора.

Вслед за посажением волостных голов и сельских старшин в будки, губернатор приказал мне объехать все деревни голицынского имения и удостовериться, действительно ли крестьяне все поголовно разбежались, и вообще присмотреться внимательно ко всему, что там происходит.

Поручение это, пожалуй, было и легкое, потому что не представило при исполнении ничего такого, что могло бы привести к недоразумениям, но оно, конечно, было и небезопасно. Мало ли что могло приключиться при объезде этих деревень, в которых все-таки должны же были находиться люди, и люди ожесточенные! Но я поехал в совершенно бодром расположении духа: очень манило меня взглянуть опять на деревню Колодези, взглянуть и на все прочие деревни, где совершаются события, несколько не похожие на те, какие я привык видеть в жизни простой, деревенской,— события, по смыслу своему все еще для меня неясные, но чрезвычайно интересные, сильно затрагивавшие и разум, и чувство. Если б губернатор не приказал мне объехать деревни, я бы сам попросился в объезд.

Я выехал в сопровождении солдата. Он был из стоявших прошлым годом на экзекуции в здешних местах и поэтому знал хорошо все дороги из деревни в деревню. На первых же порах он оказался проводником преотличным. Заметив, что я очень плохо правлю лошадью, запряженною в беговые дрожки, он передал мне свое ружье, с которым я и поместился кое-как на задней части дрожек; затем, усевшись на передке, он стал ловко

править и повез меня, как только можно было наилучше проехать, для объезда всех деревень.

Погода была прекрасная, ехали мы местами живописными, иногда по-над Доном; но тогдашнее путешествие оставило во мне самые печальные воспоминания.

Во-первых, все деревни голицынского имения были пустехоньки, даже не помню, чтобы я видел там кого-нибудь из людей. Несомненно было, что все мужики разбежались; а бабы и ребятишки, если и были дома, должно быть, прятались в избах, на дворах или по задворкам, как только замечали меня издали. Далее, я заметил в какой-то деревне пустырь, образовавшийся от недавнего пожара, и пожар этот произошел, как после мне сказали, от неосторожности солдат, стоявших на экзекуции. Наконец, в хорошо мне знакомой деревне Колодези сильно бросилось в глаза, что гумна крестьянские уже не переполнены, как прежде было, одоньями²⁸ разного хлеба, а, напротив того, пустехоньки; но то же я видел и в прочих деревнях...

На возвратном пути, опять проезжая где-то по-над Доном, я увидел наконец живого человека, явно из имения голицынского. То была молодая, высокая и красивая баба, шедшая откуда-то навстречу мне. Но мы поехали над самым Доном, узкой полосой берега, а она шла по нагорью, так что между нами, когда мы и поравнялись, было порядочное расстояние.

Поравнявшись, я спросил ее, откуда она и куда идет.

— А тебе на что? — отвечала она и смело остановилась, должно быть, потому именно, что между нами было это расстояние, вполне нас разделявшее.

— Да я так это спрашиваю.

— А незачем тебе знать про то... Ты из тех, что ли, что с губернатором приехали?

— Ты вот мне не ответила, надо бы и мне не отвечать. Ну, да, пожалуй: точно, я — из губернаторских. А скажи-ка, пожалуйста: зачем это мужики-то ваши разбежались? Ведь это...

— Как же вот! — перервала она меня, уже не говоря, а крича. — Так вот и дожидаться им, как опять станут их мучить.

И, промолвив какое-то бранное слово, она быстро сбежала в сторону и скорехонько скрылась из виду...

Суровые меры с волостными и сельскими начальниками государственных крестьян сильно подействовали. Начальники эти очень помогли уездной полиции, и она успела-таки пособратить несколько, но далеко не всех, крестьян голицынского имения (большинство бунтовщиков нашли возможность разбежаться и из тех селений, где укрывались).

Губернатор, спеша усмирением бунта, решился применить его к собранным крестьянам. Опять произошла экзекуция... Но описывать ее я вовсе не стану...

Впрочем, не могу не упомянуть про один особый эпизод экзекуции, закончивший ее и произведший поразительное впечатление не только на население, но и на всех.

По приказанию губернатора дома пятерых главных бунтовщиков были разметаны тут же по бревну, а семейства хозяев разметанных домов были посажены на телеги для отправления куда-то. Были ли же отправлены эти семейства в какое-нибудь другое, по всей вероятности, имение князя Голицына,— я не знаю. Может быть, то была мера особого устрашения...

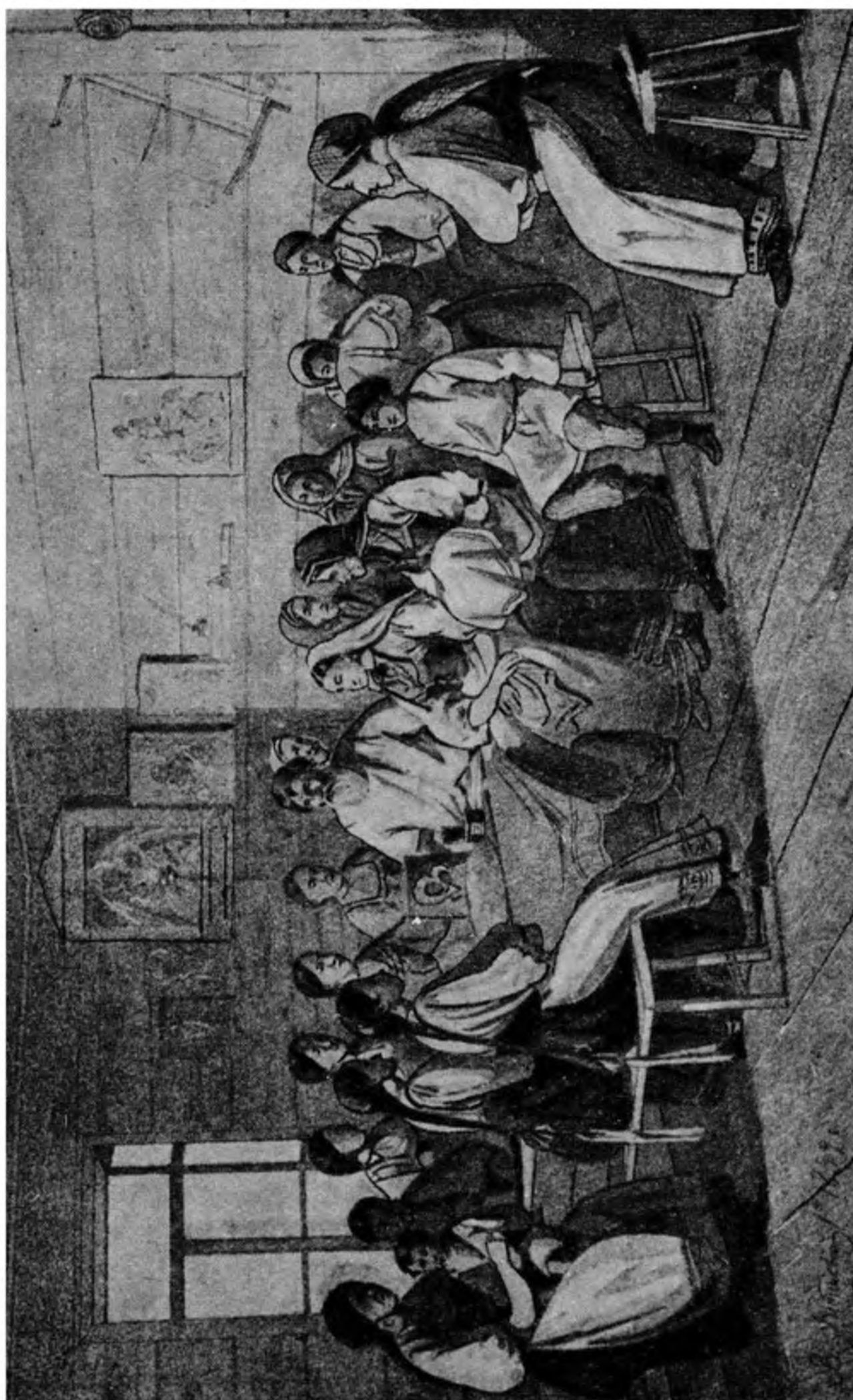
Помню чрезвычайно живо: бабы, обратившись лицом к церкви, сшибали* руками и с таким отчаянием бросались на землю, что невольно ужас охватывал...

Затем губернатор уехал. В имении опять была оставлена рота солдат на экзекуции. Само собою разумеется, произведено было следствие о причинах нового бунта.

Слышал я потом, что беглецы из имения недолго странствовали и все воротились в свои деревни. Конечно, эти несчастные хорошо знали, что дома их ждет наказание (которым уже распоряжалась тогда уездная полиция), но подходили полевые работы: пахота на осенний посев, сенокос, а там и уборка хлебов,— где уж тут было бегать!

И замер окончательно бунт в голицынском имении. Все пошло там, надо быть, обыкновенным порядком. Но изменены ли, смягчены ли были хоть несколько уста-

* Всплескивали (Ред.)



Невесту откупают к венцу.
С литографии П. Рыбинского

новленные помещиком барщинные порядки,— про то я ничего не знаю. Неизвестно мне тоже, что случилось с главными бунтовщиками: с Морозовым, с Киселевым, например, а также и с несчастным Петреем.

Каюсь в том, что про все это не знаю. Каюсь оттого, что вполне сознаю: хотя и во многом воспитало меня дело о бунтах в голицынском имении, однако все-таки долго-долго мысли, порожденные этим делом, затемнялись во мне иными впечатлениями, той «злостью дня», которая так властительно опутывает человека среди нашего губернского общества.

Крестьянские волнения в Рязанской губернии (с 1847 г. по 1858 г.)

I

Настоящий отрывок из моих воспоминаний имеет связь с другим отрывком, в котором я рассказал о крестьянском «бунте» в донском имении князя Л. М. Голицына и который уже напечатан в 9-й и 10-й книжках «Древней и Новой России» за нынешний год. Но по своему содержанию каждый из этих отрывков представляет отдельное целое: так, в теперешнем отрывке рассказывается уже не один случай, а приводится целый ряд фактов из жизни крестьянства Рязанской губернии за последнее десятилетие перед началом Крестьянской реформы, — тех именно фактов, в которых выражалась — и стала выражаться в указываемый мною период времени особенно часто — активная реакция со стороны крестьян против крепостного права. С самого начала Крестьянской реформы, всего же более по объявлении высочайшего Манифеста 19 февраля 1861 года, о крестьянском деле писали у нас очень много, только все это были или довольно общие рассуждения о разных предметах, касавшихся до поднятого правительством великого вопроса, или же рассказы и замечания о том, как приводится в исполнение на месте осуществившаяся уже в правительственных сферах реформа; но, сколько мне известно, мало обращено было внимания на фактическую сторону дела — незадолго перед освобождени-

ем крестьян, т. е. на положение их посреди всяческой крепостной тесноты, на то именно, как всматривались крестьяне в эту тесноту, как выносили ее и что у них делалось, когда решались они как-нибудь избавиться от нее; всего же менее говорилось в литературе как о тогдашней жизни помещиков в имениях, насколько она влияла на быт крестьянский, так и о приемах местной администрации при подавлении волнений в имениях, при усмирении крестьянских так называемых «бунтов». Вот обо всем этом, по отношению собственно к Рязанской губернии, я и хочу рассказать.

Мне приходится начать именно с приемов местной администрации, с описания обыкновенного тогдашнего порядка, в каком начинались, продолжались и оканчивались чрезвычайно печальные дела о крестьянских бунтах. Сжатый очерк этого порядка необходим прежде всего для большей ясности моего рассказа.

Как только оказывалось неповиновение крестьян в каком-нибудь имении, помещик его (или управляющий) спешил тотчас же довести об этом до сведения станового пристава или исправника, а иногда — если то был крупный помещик — отправлялся прямо в губернский город для жалобы губернатору и вообще для возможного наперед направления взглядов администрации на такое происшествие в имении, которое считалось всегда очень щекотливым для самого помещика. Но во всяком случае дело все-таки не обходилось без земской полиции. Ей первой выпадало на долю «вразумлять» крестьян, восстанавливать порядок в волнуемом имении. Для таких поручений полиция, по-видимому, обладала сверх официальных своих атрибутов и всеми нужными нравственными, так сказать, качествами. В самом деле, тогдашняя земская полиция, надо отдать ей в том справедливость, умела говорить с народом гораздо лучше полиции теперешней. Это зависело от того, что исправники, непереманные заседатели, даже становые приставы были тогда из помещиков и уже поэтому хорошо знали крестьянский быт, всяческие крепостные отношения, а также обычаи, нравы, характеры местных помещиков, да и все вообще причины, из-за которых могли воз-

никать неудовольствия крестьян против своих господ: стало быть, они отлично понимали, как и о чем именно следовало говорить в каждом случае с волнующимися крестьянами. Но тут же была и другая сторона. Эти тогдашние чиновники земской полиции, все зависевшие очень много от помещичьего сословия в уезде, конечно, не отличались беспристрастием при разборе дел между помещиками и крестьянами и слишком наклонны были поддерживать всякие помещичьи порядки в имениях. Про все это хорошо знали и крепостные крестьяне. Стало быть, никак нельзя было бы ожидать, чтобы уговаривание и вразумление земской полиции в волнующихся имениях могли быть очень действительны. Приходилось разве рассчитывать на влияние особых полицейских мер, так сказать, существенных вразумлений; но меры эти могли быть применимы только в самых незначительных имениях, где приезд исправника или даже станового с рассыльными да с сотскими и десятскими должен был казаться для всего тамошнего люда великой грозой, или же в тех случаях, когда не повинующихся крестьян по какой-либо причине, лично до них касающейся, было немного, а притом они не были поддерживаемы целым «миром». Итак, первые меры для восстановления порядка в волнующемся каком-либо имении, меры власти, всего ближе стоявшей к народу и знавшей народ, оказывались почти всегда недействительными нисколько. Затем отправлялся уговаривать и вразумлять не повинующихся помещичьей власти уездный предводитель дворянства, но такое участие в деле оказывалось решительно бесплодным, по той простой причине, что крестьяне отнюдь не доверяли беспристрастию этого представителя помещичьего сословия и считали его вообще неспособным заступиться за них. После того «командировался» от губернского начальства советник губернского правления; тут же, в этой командировке, участвовал непременно жандармский штаб-офицер²⁹; а иногда, особенно в том случае, когда имелось в виду или же предвиделось какое-либо щекотливое обстоятельство в отношениях помещика к крестьянам волнующегося имения, присоединялся,— впрочем, как бы неофици-

ально, к вышеупомянутым лицам губернский предводитель дворянства; однако и их уговаривания, вразумления, угрозы беспощадным наказанием за дальнейшее упорство в неповиновении оставались обыкновенно тоже бесплодными, и уже не по недоверию крестьян, а, думаю, потому, что предварительные бесплодные переговоры с полицейскими властями и с уездным предводителем дворянства только укрепляли не повинующихся в упорном преследовании тех целей, которые являлись у них при самом начале дела, и, надо при том заметить, являлись всегда в самом простом, несложном и крайне определенном виде. Наконец, когда дело осложнялось не однажды выразившимся ослушанием крестьян против уже начальства, отправлялся в «бунтующее» имение сам губернатор с предводителями дворянства, губернским и уездным, с жандармским штаб-офицером, со многими губернскими и уездными чиновниками, а главное, с воинской командою, и тогда начиналось уже настоящее усмирение. За усмирением, всегда оканчивавшимся восстановлением порядка в бунтовавшем имении, назначалось следствие о причинах бунта.

Так шли эти дела, и нельзя сказать, чтобы такая процедура была целесообразна даже в видах усмирения, во что бы то ни стало, крестьянских бунтов. Дело ясное: во-первых, из-за предварительных переговоров с крестьянами, всегда клонившихся единственно к тому, чтобы заставить их обратиться безусловно к прежнему повиновению, существенные причины неудовольствий крестьянских оставались совершенно в тени; во-вторых, после каждого отъезда чиновников из волнующегося имения волнение там все больше усиливалось, осложняясь постепенно возрастающими подозрениями крестьян против всех этих вразумителей, наезжавших к ним не для разбора, а только с речами о необходимости безусловного повиновения помещику да с разными еще угрозами. И вот дело доводилось до того, что начальнику губернии, ввиду нескольких отказов со стороны волнующихся крестьян внять чиновничьим уговариваньям, как будто и в самом деле уже поневоле надо было прибегнуть к суровым мерам усмирения. А казалось бы, не

трудно было сообразить, что в открытии прежде всего существенной причины неудовольствия крестьян против помещика и должно заключаться главнейшее основание всех дальнейших мер к усмирению волнения. Но тогда не так думали. Тогда находили, что наперед всего надо было восстанавливать нарушенный порядок, и восстанавливать непременно карательными мерами, а потом уже — принимались за исследование причин усмирённого волнения. Одним словом, тут как-то выходило по пословице: снявши голову, начинали думать о волосах.

Теперь я могу приступить к фактам. Кроме бунта в голицынском имении, я видел и еще немало крестьянских волнений или, лучше сказать, усмирений не повинующихся крестьян. Про подобные происшествия я слышал много рассказов, но сообщу о них только то, что считаю за вполне достоверное.

II

В 1849 году я был при усмирении трех крестьянских бунтов: в имении помещика Рязанского уезда (и на ту пору рязанского исправника) Головина, в имении помещика Михайловского уезда Селезнева и наконец в имении касимовского помещика И-ва. По правде сказать, все эти бунты казались мне какими-то странными. Общая причина, от которой могли они зависеть, была еще тогда для меня не совсем-то ясною.

Из-за чего именно стало дело в имении Головина, я решительно не знаю. Мне известно только следующее: имение это, весьма небольшое, с шестьюдесятью или семьюдесятью ревизскими душами, куплено было Головиным (а может быть, и получено по духовному завещанию от старухи помещицы Дубовицкой, у которой Головин смолоду долго служил управляющим) незадолго перед бунтом. Должно предполагать, что и не действия самого Головина были существенной причиною неповиновения крестьян. Не произошел ли этот бунт оттого именно, что с приобретением имения новым помещиком пропали у крестьян надежды на получение свободы из крепостного состояния, а эти надежды очень могли возникнуть

у них при старой помещице? А может быть, надежды крестьянские на желанную свободу были основаны еще и на том, что тогда как-то уже распространились в народе слухи о праве крестьян помещичьих, по силе Указа 8 ноября 1847 года, выкупаться при продаже их с публичного торга. Если последнее предположение до некоторой степени верно, что весьма могло стать, несмотря даже и на то, что Головин приобрел имение и не с публичного торга,— в таком случае весьма сожалею, что по тогдашней моей небрежности не собрал я об этом точных и положительных сведений.

В чем именно выразилось со стороны головинских крестьян неповиновение помещичьей власти и как это сам Головин, будучи исправником, не унял неповинующих находившимися у него под рукою полицейскими мерами,— про все это я тоже ничего не знаю. Стало быть, мне приходится рассказать немного,— только об усмирении бунта.

Оно совершилось очень просто.

Имение Головина, сколько помнится, лежит от Рязани не более как в 12—15 верстах. По приказанию губернатора я должен был отправиться туда ранее его приезда; я и отправился вместе с исправлявшим тогда должность рязанского уездного предводителя дворянства, товарищем моим по воспитанию, Константином Михайловичем Сазоновым (пользуюсь случаем хоть мельком вспомнить здесь о покойном моем друге и промолвить о нем доброе слово: это был истинно благородный, просвещенный человек, по высоким нравственным качествам своим одним из самых лучших людей того времени. Помню, с большим огорчением говорил он о бедных крестьянах, которым предстояло непременно вытерпеть тяжкое наказание,— и очень неохотно он ехал на него).

То было в первой половине мая. Но весна тогдашняя была превосходная, и весь день, который мы провели в «бунтующем» имении, был так холоден, что нам пришлось довольно помучиться, пока шла эта отвратительная экзекуция, при которой мы должны были парадировать в одних мундирах, по примеру нашего строгого на все начальника.

И в самом деле, то была отвратительная экзекуция. Правда, наказание крестьян розгами было не жестокое, оно отнюдь не походило на то, что я видел в голицынском имении, и тем не менее сердце страшно сжималось при этом сечении несчастных крестьян, которых вытаскивали одного за другим из жалкой кучки человек в двадцать или много-много в тридцать... Впрочем, все это продолжалось недолго. Упорствующим в дальнейшем неповиновении вовсе не оказалось. Но и тогда я долго не мог отбиться от мысли: да полно, и были ли тут повинующиеся в действительности?

Притом я постичь не мог, как против этих несчастных, с испытанными, бледными, перепуганными лицами, как против этой ничтожной кучки «бунтовщиков», не смевших и словечка вымолвить в свою защиту, понадобилось такое «усмирение», да еще чрез губернатора и при немалой воинской команде. Чем больше я рассуждал сам с собою об этом деле, тем яснее представлялось мне величайшим унижением власти — это усмирение «бунта» в имении г-на Головина, усмирение, которое, конечно, могло бы быть произведено гораздо легчайшими и простейшими способами и уж никак не прибегая к экзекуции. Но я уже был проучен — и, стало быть, не решился делать вслух замечаний насчет способа, употребленного для усмирения.

Вскоре затем понадобилось усмирять михайловское имение помещика Селезнева. Но наперед — о самом г-не Селезневe.

Это был помещик собственно Тульской губернии, где числилось за ним до двух тысяч душ. Рассказывали, что Селезнев был примерный помещик-хозяин по умению извлекать огромные доходы из своих имений, состоявших у него на барщине; что притом он отличался особенно рьяной склонностью к увеличению своего состояния; так, начавши будто бы хозяйничать с самых молодых лет и в весьма незначительном имении, он почти каждогодно приобретал земли, целые имения, сделался наконец «многодушным» помещиком и все не уставал покупать и покупать земли, крестьянские души. Эта-то страсть к приобретению новых имений побудила г-на Селезнева

распространиться своими владениями и в другой губернии. Незадолго перед тем случаем, о котором теперь рассказываю, купил он и в Михайловском уезде Рязанской губернии имение душ в триста с чем-то.

Кажется, что покупка этого имения совершилась на аукционных торгах в Московском опекуном совете³⁰. В таком случае очень вероятно, что новокупленные г-ном Селезневым крестьяне могли взволноваться против помещичьей власти — и под влиянием надежд на предоставляемое вышеупомянутым Указом 8 ноября 1847 года право выкупиться. Но, впрочем, были слухи, что неповиновение г-ну Селезневу новокупленных крестьян возникло из-за того, собственно, что он тотчас же по покупке имения ввел в него всю свою барщинную систему, круто рассчитанную и еще круче приводимую в действие. Само собою разумеется, что при этом могла еще тоже сильно влиять очень далекая известность г-на Селезнева как помещика чрезвычайно тяжелого по его способности ко всяческому выжиманию из крестьян наивозможно больших себе доходов.

Однако я должен присовокупить насчет характера г-на Селезнева как помещика, что вовсе не слышно было, чтобы он особенно злоупотреблял помещичьей властью, чтобы он люто или как-нибудь безобразно обращался со своими крепостными людьми. Человек семейный, простой, весь преданный хозяйственному делу и скопидомству, он, как говорили, любил поддерживать строжайший порядок не только в своем собственном хозяйстве, но и в хозяйстве своих мужиков, и в этом отношении он всегда и во всем сам наблюдал. Но известно было тоже, что уже слишком неупустительно требовал он от крестьян своих напряженного труда, которым, конечно, пользовался преимущественно в свою пользу. В смысле чисто помещичьем такие качества могли, пожалуй, выставлять г-на Селезнева помещиком примерным, но вряд ли они были по душе его крестьянам, особенно же тем из них, которые не были еще приучены долговременной практикою к пассивному перенесению всяческих селезневских порядков.

Как бы там ни было, а новокупленное имение г-на Селезнева взбунтовалось, т. е., собственно говоря, крестьяне стали оказывать неповиновение своему помещику насчет каких-то барщинных работ. Как и чрез кого их уговаривали и вразумляли, чтобы они прекратили свое неповиновение,— я не знаю; впрочем, порядок предварительных перед окончательным усмирением мер показан уже достаточно, и, конечно, в настоящем случае он был соблюден в точности. Думаю однако, что крестьян селезневских уговаривали и вразумляли крайне плохо.

Думаю так потому, что когда по приказанию губернатора я и товарищ мой, чиновник особых поручений И. К. М-с, приехали в бунтующее имение,— то было перед прибытием туда губернатора почти за сутки,— М-су в особенности, да и мне отчасти, удалось уговорить крестьян, что им должно слушаться своего помещика и решительно прекратить всякое ему неповиновение. И нам удалось это даже без особенного труда, даже очень легко, хотя, может быть, успешному действию наших уговариваний существенно поспособствовало и то обстоятельство, что одновременно с нашим приездом вступила в имение целая рота солдат.

Затем мы переночевали в имении преспокойно и уж заранее радовались, что дело обойдется без экзекуции.

С утра были сделаны все употреблявшиеся при подобных случаях приготовления к приему губернатора: рота солдат дожидалась на выгоне, у деревни; тут же стояли крестьяне. Кто-то из членов земской полиции, бывшей тоже на ту пору в имении, распорядился и на случай экзекуции... Но мы были твердо убеждены, что все обойдется благополучно,— и чуть было не приказали убрать полицейские приготовления. В этом же убеждении мы от всей души посоветовали крестьянам принять губернатора с хлебом-солью. Они весьма охотно согласились. И вот на большом крестьянском столе, покрытом толстой, но белой скатертью, была приготовлена хлеб-соль от крестьян.

Живо помню: прекрасный летний день сиял всей своей красою. То был день тихий, безветренный, что редко бывает летом, в деревне, и особенно в пору крестьянских

обедов. И тишина эта так хорошо, так отрадно гармонировала с мирным нашим настроением!

Наконец приехал и губернатор.

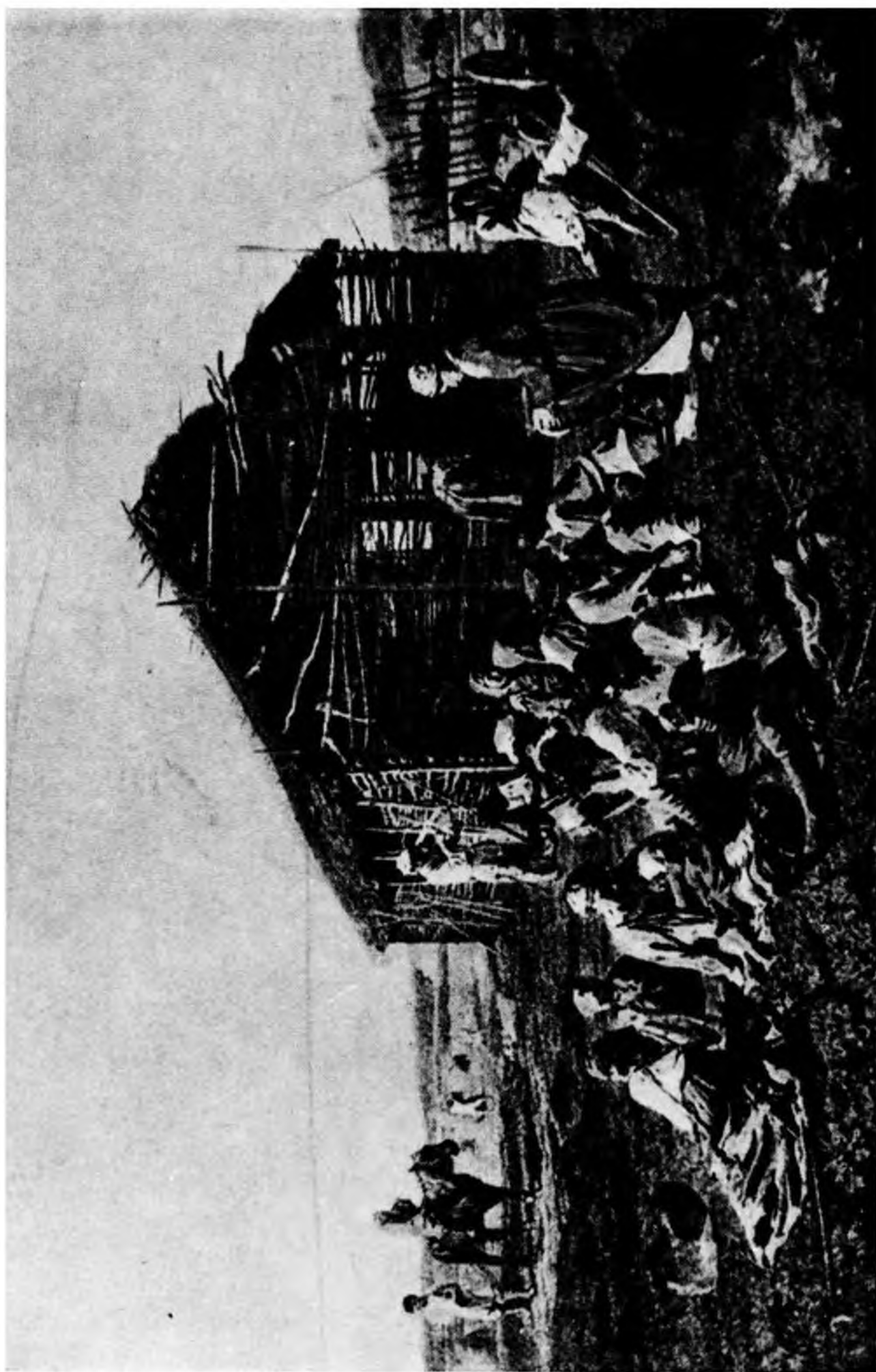
В то время он страдал от своей хронической болезни уже гораздо более, чем прежде. Как только он вышел из кареты, я заметил по его чрезвычайно темному лицу, что он крайне беспокоен и гневен.

И точно, быстро подойдя к толпе крестьян, при виде его тотчас же ставших на колени, он первым делом приказал опрокинуть стол, на котором была поставлена хлеб-соль. Затем обыкновенным глухим своим голосом проговорил он, что не для того приехал, чтобы хлеб-соль принимать от бунтовщиков, а для того, чтобы строго наказать их, как дерзнувших оказать неповиновение законной помещичьей власти и тем заставить его самого покинуть дело управления по губернии. Речь была короткая, но сильная и, как видно, наперед затверженная (недаром же я слышал ее во второй раз). Тут уже не приходилось докладывать, что вот, мол, эти несчастные «бунтовщики» еще вчера заявили полную свою готовность и для того-то хлеб-соль от них была приготовлена. Да и не успеть бы таким докладом: тотчас же началась экзекуция.

Впрочем, хлеб-соль, хоть и непринятая, несомненно, повлияла на ход и на размеры экзекуции. Наказаны были немногие, и наказание было довольно легкое. Да и чудовищно было бы истязать людей, с первого же удара громко каявшихся в своем неповиновении, изъявивших полнейшую покорность.

Усмирение селезневского имения окончено было быстро, и вообще дело сошло довольно благополучно. По правде сказать, эта экзекуция из всех, что я видел, была наименее возмутительная. Но все-таки и тут была особенность, про которую и теперь тяжело вспомнить: это — опрокинутие стола с хлебом-солью, с этим символом доброго, радушного привета русско-христианского мирного общения!..

И опять вскоре затем, уже под осень, — осень же стояла прекрасная, невольно приходит мне на память, — было еще усмирение крестьянского бунта в Касимовском



Отдых на сенокосе.
С картины маслом А. И. Морозова

уезде, в том уезде, где подобного случая вообще трудно было бы и ожидать, по причинам, изложенным мною в предисловии к этой части моих воспоминаний.

Имение, в котором пришлось усмирять крестьян, принадлежало помещику И-ву, отставному штабс-ротмистру какого-то гусарского полка. Оно было из имений, что называется, средней руки; в нем числилось душ двести или двести пятьдесят, не более.

Ближайшая причина бунта заключалась, по-видимому, в том, что г-н И-в в имении своем, состоявшем до его непосредственного в нем хозяйствования довольно долго на оброке, завел барщину, хотя и не полную, т. е. у него была устроена так называемая смешанная повинность³¹. Впрочем, кажется, много повлиял на возникновение этого бунта и самый характер помещика, — именно характер, а не столько порядки, введенные в имении.

Г-н И-в был, несомненно, человек добрый и вообще говоря хороший; притом же он получил высшее университетское образование. Но характер-то у него был, кажется, чересчур рьяный и подвижной до полнейшей опрометчивости; по крайней мере так можно было судить о нем по двум фактам: во-первых, по столкновению его с касимовским же помещиком Б-ным, причем г-н И-в этому скандальному случаю постарался придать сколь возможно большую гласность, как великому какому-то подвигу своему; во-вторых, рассказывали тоже о нем, что будто бы во время своей службы касимовским уездным судьей он однажды из-за пари о дюжине бутылок шампанского перебежал взад и вперед по Оке, под самым Касимовым, где река эта имеет ширины до четырехсот сажень, когда уже ломался лед и двигались льдины. К первому факту, пожалуй, можно было отнестись довольно снисходительно, потому что помещик Б-н сам вызвал грубейшею обидою на словах оскорбление действием со стороны г-на И-ва, и затем г-н И-в мог сделать странно широкое разглашение о своем поступке под влиянием слишком яркого для него впечатления от всей этой истории, тем более скандальной, что она была в пору дворянских выборов; но подвиг на Оке — совсем иное дело. Если и признать, что в нем проявилась

большая, замечательная смелость, то все-таки этот риск жизнью из-за сущих пустяков, риск человека семейного, уже средних лет, а главное, занимающего почтенное и степенное место судьи, не указывает ли на некоторую, так сказать, безалаберность в характере? Вот она-то, эта безалаберность, может статься, и была тоже причиною сначала безурядицы в помещичьем хозяйстве г-на И-ва, а потом и возникшего из-за этой безурядицы недовольствия его крестьян, которое выразилось наконец открытым неповиновением их помещику. Но сам г-н И-в во время усмирения бунта очень старался доказать, что он находился в довольно хороших отношениях со своими крестьянами. Конечно, тут выходило пристрастное противоречие с самым фактом, приведшим к «усмирению», но г-н И-в объяснял, что если его крестьяне и решились выказать неповиновение ему, то это произошло лишь вследствие подстрекательства одного дворового человека, преисполненного всяческими пороками и злобствующего на него, г-на И-ва, по какой-то неизвестной ему причине.

Впрочем, считаю обязанностью оговориться, что вывод мой относительно происхождения бунта в имении г-на И-ва вследствие некоторых сторон в характере этого помещика — не более как мое предположение, и я нисколько не настаиваю на его вероятности. Я хотел только кстати указать, что не одна жестокость, не одно обременение крестьян произвольностью действий, разными тяготами, но и беспорядочность в распоряжениях по хозяйству и по управлению имением, особенно же если к ней примешивались мелочная придирчивость из-за пустяков, неумение посмотреть снисходительно и простить вовремя, скаредная скупость, так направленная, что из-за нее не заметно было желания помещика улучшить положение крестьян,— все это очень нередко вело к крестьянским волнениям, даже к очень враждебным действиям против помещиков. Обращаясь затем опять к причинам бунта в имении г-на И-ва, я должен сказать, что вообще о них я ничего положительного не знаю: я не был отправляем на предварительное уговаривание крестьян г-на И-ва, не производил и следствия

о причине возникшего у них неповиновения помещику (кстати, губернатор Кожин почему-то не поручал мне таких следствий); я находился опять-таки только на усмирении бунта.

Усмирение это произошло обыкновенным порядком, т. е. посредством розог. Но из крестьян высечены были немногие, и я должен отдать полную справедливость г-ну И-ву: он просил убедительно губернатора пощадить многих из крестьян. Да и крестьяне оказались вовсе не упорными и очень скоро изъявили покорность. Но несчастный дворовый (имя которого я теперь не помню), как подстрекатель крестьян к неповиновению, в чем он как будто и уличался упорным отказом своим покориться и служить барину, был наказан жестоко, подобно другому такому же несчастному, крестьянину Киселеву, в голицынском имении. Подобно же Киселеву и он, несмотря на чрезвычайное истязание, окончательно не изъявил покорности — и был отправлен в острог. Дальнейшая участь этого человека мне неизвестна, как неизвестно и то, почему именно он оказался таким упорным, ожесточенным «бунтовщиком».

III

До самой Восточной войны 1853—1856 гг. воспоминания мои о самостоятельной реакции в крестьянском населении Рязанской губернии против крепостного права могут идти последовательно, год за годом, по той причине, что со времени бунта в голицынском имении уже каждогодно проявлялась эта реакция. Так, и в 1850 году было два подобных случая. Но о них мне придется рассказать очень мало, хотя один из этих случаев, именно второй, особенно интересен.

В первом случае дело не дошло до открытого неповиновения помещичьей власти — и, полагаю, потому собственно, что административные меры на этот раз коснулись уже прямо существенной причины недовольствия крестьян на помещика, а также и потому, может быть, что имение было чисто оброчное.

Случай был самого простого свойства.

Егорьевский помещик Н-в, человек нрава веселого и даже простодушного, но при известных обстоятельствах не совсем-таки спокойного, навеселившись, должно быть, слишком в городах, удалился в свое маленькое (с 50 или 60 душами) имение, лежавшее в самой лесной и глухой части Егорьевского уезда. Там ему было скучновато, и он начал было задевать крестьян своих не в хозяйственном их быту, не по распределению между ними каких-либо работ и повинностей, а в их семейной жизни. Но на ту пору в Егорьевском уезде был предводителем дворянства человек в высшей степени благородный и правдивый, Василий Васильевич Рославлев. Когда крестьяне г-на Н-ва обратились к губернскому начальству с жалобами на своего помещика, егорьевский предводитель дворянства написал о нем всю правду. Назначено было следствие уже собственно о поступках помещика. Следствие это кончилось для него лично, как вышло по суду, довольно благополучно, а все-таки имение было взято в опекуновское заведование, и таким образом дело не осложнилось, не дошло до бунта.

О втором случае, как ни интересен он — повторяю — по всей своей сущности, мои сведения, даже по слухам, настолько недостаточны, что мне приходится лишь мельком о нем упомянуть. Впрочем, тут прежде чем дойти до крестьянского дела, о котором мне всего менее известно, я должен начать несколько издалека.

В сороковых годах отставной ротмистр Ипполит Петрович П-ский купил у старухи-помещицы С-ной большое, прекрасное имение в Рязском уезде, село С-но*. Некоторое время он владел им совершенно спокойно. Но замечательно: носились слухи впоследствии, что спокойствие это как-то зависело от местного, села С-на, дьячка, который почему-то участвовал тогда в управлении имением. Впрочем, это участие дьячково продолжалось недолго; он был устранен окончательно от всякого вмешательства в дела по имению, и вскоре затем один из крестьян села С-на начал подавать прошения в Рязани,

* В этом имении было до полуторы тысячи душ. Но П-ский, говорят, имел всего семь тысяч душ. Все ли эти семь тысяч душ приобрел он, как и рязское имение, от старухи С-ной, — мне неизвестно.

и даже в Петербурге, доказывая, что будто бы П-ский — сын кучера, сданного в военную службу еще прежним помещиком С-ным, родным братом той старухи, у которой куплено имение теперешним помещиком, и что, по такому своему происхождению, П-ский, как записанный в ревизские сказки по селу С-ну, не имеет права владеть им. Однако доносителю этому почему-то не удалось даже хоть сколько-нибудь достигнуть предположенной им ли самим или же, что вероятнее, внушенной ему цели; прошения его имели то одно последствие, что он был выслан наконец из Петербурга для водворения в имении. Там он скоро и умер. И вот, в начале 1850 года, или еще в конце 1849 года, племянник умершего доносителя стал подавать новые прошения, в которых, сверх того, что доказывалось его дядею относительно происхождения помещика П-ского, много говорилось и о насильственной будто бы смерти прежнего доносителя.

Новый доноситель этот явился весьма беспокойным мстителем за погибшего дядю. Он был гораздо удачливее в отношении своих целей. Уж не знаю как: по личной ли инициативе губернатора Кожина, или же по какому-нибудь отзыву к нему из Петербурга, назначено было следствие по всем указаниям в прошениях нового доносителя. И, как видно, следствию этому придавалось особенное значение: при производстве его должен был находиться жандармский офицер, что в тогдaшнее время допускалось только в делах весьма важных.

Следователи (советник губернского правления Щипунин и адъютант рязанского жандармского штаб-офицера Апостол-Кегич) довольно энергично повели дело с самого же начала; по крайней мере они настоятельно стали требовать, чтобы помещик П-ский явился к следствию. Но П-ский находился не под рукою, а далеко, и оказалось, что его очень трудно вызвать. Прежде всего получены были официальные сведения, что он проживает постоянно в Петербурге, — только Петербургская управа благочиния³² на требование о высылке П-ского ответила следователям, что он выехал в Москву; затем и Московская управа благочиния уведомила, в свою очередь, что

П-ский выехал в Петербург. Так и пошло это на несколько месяцев.

Между тем губернатор Кожин по усилившейся болезни своей уехал в Карлсбад. Без него дело и вовсе затянулось. Однако говорили (слухом земля полнится), что следователи успели-таки тем временем раздобыться интересными и важными фактами о происхождении П-ского и о смерти первого доносителя. В первом отношении оказывалось будто бы, что по метрическим книгам церкви села С-на, действительно, записан в числе родившихся в таком-то году сын дворового человека (кучера) Варлаама Ипполит; а кроме того, что будто бы П-ский поступил в военную службу вольноопределяющимся³³, по письму помещика С-на к дежурному генералу армии³⁴ (кажется, Закревскому); в письме же этом говорилось, что П-ский — польский дворянин и что документы его о дворянском происхождении будут доставлены впоследствии, но были ли они доставлены, то было неизвестно. Во втором отношении, где предмет исследования был еще важнее, оказывалось, что первый доноситель, по присылке его из Петербурга в имение, содержался на помещичьей усадьбе, в каком-то тесном и мрачном помещении, а когда он найден был мертвым, то при выносе тела из той тюрьмы, и даже в церкви при отпевании, лицо покойника будто бы было покрыто тряпкою... Но и того еще мало: следователи собрали будто бы и еще какие-то факты, наводившие подозрение на самое приобретение П-ским имения от девяностолетней старухи С-ной.

Само собою разумеется, что следователи отнюдь не разглашали о добытых ими по следствию фактах, хотя, может быть, и проговаривались кой о чем в кругу самых близких своих знакомых. Вообще же нельзя ручаться: были ли основательны хоть сколько-нибудь вышеизложенные мною слухи. Но впрочем, что ход следствия был направлен тогда далеко не в пользу П-ского, что в то время действительно в виду следователей были такие факты, которые до опровержения или до разъяснения их самим П-ским могли сильно подтверждать все обвинения против него, это обнаруживается уже из тех

мер, какие были приняты наконец для истребования его к следствию.

Губернатор Кожин воротился из-за границы осенью того же, 1850 года. Карлсбадские могучие воды помогли ему несколько, и он с прежней энергией принялся за управление губернией. Его чрезвычайно заинтересовало дело П-ского, но крайне раздражили эти странные ответы управ благочиния о переездах П-ского из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург. А тут как раз подспело обстоятельство, которое еще более понудило губернатора к энергичному вмешательству в дело: в конце осени имение П-ского, село С-но, взбунтовалось.

Конечно, этот бунт зависел наиболее от вышеупомянутого следственного дела, и, мне кажется, нет ни малейшего основания предполагать, что тут влияли тоже какие-нибудь помещичьи порядки, слишком тяжелые и до крайности надоевшие крестьянам. Впрочем, мне неизвестно ничего положительного не только о причине крестьянских волнений в имении г-на П-ского, но и о том, как и чем выразился этот бунт и как его усмиряли. На ту пору тяжело и долго я был болен, и поэтому до меня не доходило никаких слухов. Только впоследствии узнал я одно: болезнь помешала губернатору лично и на месте распоряжаться по усмирению крестьян П-ского, их усмирял вице-губернатор³⁵ Веселовский. И не слышно было, чтобы это усмирение ознаменовалось какими-нибудь особенностями. Кажется, крестьяне легко и скоро покорились; должно быть, и покорность их была [настолько] прочная, так можно заключить из того именно, что в скором времени село С-но было куплено у П-ского помещиком И-ским, который навряд ли бы решился на покупку, если бы имел малейшее подозрение, что в имении еще поддерживается хоть сколько-нибудь дух неповиновения. Полагают вообще, что усмирение произошло очень тихо: вице-губернатор Веселовский был человек весьма добрый.

Но губернатор Кожин, несмотря на тяжкую свою болезнь, все-таки с напряженным вниманием относился к делу о П-ском. Донося о бунте в имении этого помещика, он, как рассказывали мне, подробно изложил, зачем

останавливается следственное дело, подавшее повод к волнению крестьян. Тогда П-скому вдруг сделалось уже несподручно уклоняться от следствия: он был выслан из Петербурга в Рязань в сопровождении полицейского (или жандармского) офицера.

Стало быть, и не в одной Рязани смотрели тогда на дело о П-ском очень серьезно. Так понял по крайней мере губернатор Кожин. Это еще больше побудило его к энергичному наблюдению за ходом следствия, и, думается, он тут очень пересолил.

П-ский, хоть и высланный к следствию для дачи ответов, однако вовсе не спешил отвечать. Он постоянно отзывался болезнью. По настоянию губернатора несколько раз свидетельствовали его в положении здоровья, и наконец Рязанская врачебная управа выразила решительное мнение, что он находится в некотором нервном раздражении, ответы же давать может. Но и тогда упрямый помещик не соблаговолил отвечать.

Это чрезвычайно раздражило губернатора. Он еще более стал вмешиваться в ход следствия, и уже не из-за одного наблюдения, а в смысле прямого его направления. Он был человек умный, в делах опытный, и, конечно, в таком вмешательстве его в следствие сказывалось только болезненное настроение духа. И, говорят, до того доходило, что он хотел собственною властью посадить П-ского в острог. Однако он не успел распорядиться таким образом: знал ли, не знал ли П-ский о том, что для него готовится за уклонение от ответов по взведенным на него обвинениям,— он вовремя принял свои меры. Совершенно неожиданно для губернского начальства, от которого, как я слышал, никаких предварительных объяснений не было истребовано, в Рязань явился для окончательного производства следствия о П-ском чиновник Министерства внутренних дел.

Этому чиновнику г-н П-ский тотчас же дал свои ответы. Надо полагать, что они были вполне удовлетворительны, опровергали все обвинения и существенно разъяснили все дело: П-ский, освобожденный от всяких задержек по следственному делу, уехал в Петербург, а затем скоро же и продал село С-но помещику И-скому.

Через несколько времени потом, как я слышал, дело о помещике П-ском прислано было из Министерства внутренних дел в Рязанское губернское правление для сдачи его, по истечении установленного срока, в архив...

Кстати, замечательное дело это не осталось без последствий для самого губернатора Кожина. Министерский чиновник, доканчивавший следствие о П-ском, открыл следующую важную ошибку в одном губернаторском распоряжении: откуда-то и почему-то последовало требование о взятии *имущества* покойной помещицы С-ной в опекуновское заведование, в губернаторской же канцелярии рассудили, что тут дело идет, должно быть, об *имении* С-ной, которое, как было известно, перешло во владение П-ского, почему имение это и было взято в опеку. Распоряжение это, действительно крайне ошибочное, легко могло быть истолковано не только в смысле какого-то особенного притязательного стеснения для помещика П-ского, но и в гораздо более важном смысле,— что именно оно-то и дало повод к неповиновению крестьян.

Говорили, что губернатор Кожин был чрезвычайно встревожен указанием министерского чиновника на эту роковую ошибку и что это много подействовало на крайнее усиление его болезни... Вскоре затем он и скончался (в июле 1851 года).

IV

Кроме вышеописанного случая в имении помещика П-ского в 1851 году, не было уже другого крестьянского бунта в Рязанской губернии. Но с того времени прерываются волнения помещичьих крестьян в этой губернии даже на несколько лет,— на все время продолжения Восточной войны. И то было поистине замечательно: как будто в крепостных отношениях у нас все изменилось тогда самым наилучшим образом,— и помещики поголовно сделались рассудительными, нисколько не склонными к произволу, вполне гуманными и справедливыми, и крестьяне, тоже поголовно, потеряли всякую охоту высвободиться из-под крепостной неволи. При сравнении

этой вдруг наставшей тишины с тем, что из года в год шибко бросалось в глаза, можно было иной раз подумать: «Вот же и при крепостном праве бывают счастливые периоды полного спокойствия».

Но это спокойствие, сдается мне, было случайное затишье, как-то в добрый час ниспущившееся на Рязанскую губернию. Оно настало тогда везде в России, где только существовало крепостное право на чисто русскую статью. Чуткий народ наш не мог же не почувствовать в то время, что для России настала эпоха тяжкого испытания, что при испытании этом следует оставить пока в стороне все домашние счета.

Вывод этот — отнюдь не предположение. Он может быть доказан и фактами, и цифрами. И разве это не твердо доказательный факт, что с начала Восточной войны разом прекращаются крестьянские волнения в той самой губернии, где они стали проявляться ежегодно, из-за причин самых разнообразных, иногда, по видимому, маловажных, но в действительности основанных на страстном желании высвободиться как-нибудь из-под крепостной неволи? Да и во всей России тогда, если не совсем исчезла, то значительно ослабела реакция со стороны крестьян против крепостного права: так, из «Истории Министерства внутренних дел» г-на Варадинова видно, что случаи неповиновения помещичьей власти за время Восточной войны шли, все сокращаясь в числе год от году*, а притом тогда же ни один помещик не был убит, даже не было покушений на такие преступления, да и побоев помещикам от крестьян или дворовых людей нигде не наносилось. Но что всего более доказывает вышеприведенный факт, так это быстрое возобновление крестьянских бунтов, как только окончилась Восточная война.

Итак, я должен пропустить ровно четыре года и продолжать мой рассказ именно с этого возобновления крестьянских бунтов по окончании войны.

* Сочинение г-на Варадинова указывает, что в 1853 г. было по всей России 33 случая неповиновения, затем в 1854 г. — уже 26 случаев, а в 1855 г. — только 19.

В 1856 году в одной Рязанской губернии было два крестьянских бунта и, мало того — в нескольких еще случаях, о которых я упомяну (впрочем, мельком) в конце моего рассказа, реакция помещичьих крестьян против крепостного права выразилась с какой-то особенной оригинальностью.

Про эти бунты 1856 года мне известны уже многие факты; о причинах, по которым они возникли, я производил формальные следствия. Но при самых усмирениях крестьян я не был и знаю только, что все это совершалось при воинской команде, в присутствии губернатора — и, конечно, дело не обошлось-таки без розог. Впрочем, уже ничего подобного усмирению бунта в голицынском имении тут не было. Я решаюсь объяснять это не тем, что при усмирениях этих действовали иные люди, более гуманные, а пожалуй, и более здоровые телом, более спокойные духом, чем был губернатор Кожин, а именно тем, что тогда уже прочно устанавливалось иное время, отнюдь с недавним временем не сходное по взглядам на крестьянские дела, что тогда, при необычайно быстро совершившемся с окончанием Восточной войны перевороте в понятиях обо всем нашем строе общественном, делалось уже невозможным восстановление помещичьей власти в волнующихся имениях теми именно мерами, какие считались прежде совершенно необходимыми.

Перехожу теперь к описанию причин, по которым «взбунтовались» — сначала в Скопинском уезде имение отставного гусарского полковника Тарасенко-Отрешкова, а потом в Ряжском уезде — генерал-майора Заварицкого.

Имение помещика Тарасенко-Отрешкова, сельцо Арцыбашево (около 250 ревизских душ), «взбунтовалось» по двум причинам: во-первых, потому, что крестьяне арцыбашевские, надеявшиеся было получить свободу из крепостного состояния после смерти их прежних владельцев Смирновых*, были проданы г-ну Тарасенко-

* Я не помню, кому именно из Смирновых, мужу или жене, принадлежало сельцо Арцыбашево; может быть, оно принадлежало и обоим им, в каких-нибудь частях.

Отрешкову, а, во-вторых, вследствие крайне жестокого обращения со стороны приказчика, присланного новым помещиком для управления имением.

Обе эти причины оказались вполне действительными.

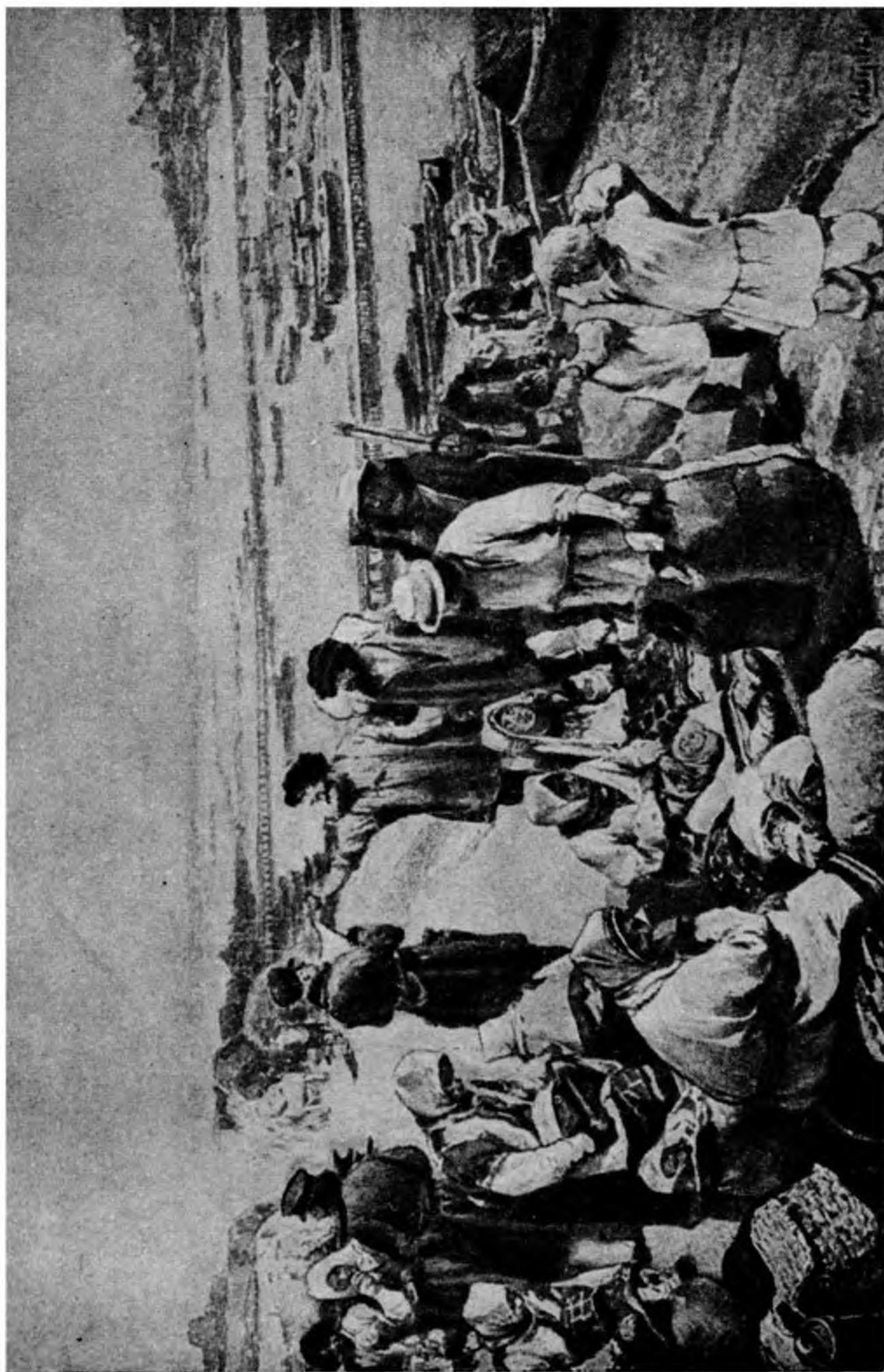
Владельцы сельца Арцыбашева Смирновы не имели наследников ни в близких, ни в дальних степенях родства, и после кончины их имение это считалось выморочным; стало быть, как выморочное, оно должно было поступить в казенное ведомство, по истечении установленного законом десятилетнего срока на явку еще откуда-нибудь наследников. Крестьяне арцыбашевские не могли не знать, что они принадлежат к имению выморочному, уже потому, что после смерти Смирновых оно поступило в опекуновское заведование. Но опека-то и сделала, что имение было продано, несмотря на то, что оно было выморочным. Все это устроилось просто, но и так своеобразно, что о том стоит рассказать в некоторой подробности.

У помещика Смирнова был побочный сын или племянник (доподлинно того не знаю), некто Александровский, получивший университетское образование, которое давало ему право поступить на государственную службу, затем дослужившийся до чина титулярного советника³⁶ и бывший довольно долго окружным начальником над скопинскими, коннозаводского ведомства, волостями. Смирновы, говорят, очень желали передать, под видом продажи, скопинское свое имение этому Александровскому, но сделать так было нельзя, потому что Александровский все-таки не приобрел прав дворянства. Поэтому желание Смирновых обеспечить своего «воспитанника» ограничилось следующими мерами: во-первых, они предоставили ему управлять сельцом Арцыбашевым, и он еще при жизни их распоряжался в их имении так самостоятельно, что крестьяне арцыбашевские, должно быть, знавшие тоже об отношениях его по родству к Смирновым, привыкли было смотреть на него как на настоящего своего барина; а, во-вторых, выдали ему долговой на себя документ суммою в тридцать тысяч рублей серебром. Но Александровский умер прежде еще Смирновых, и долговой документ («заемное письмо») был

переписан Смирновыми на имя жены его, оставшейся после мужа с малолетней дочерью. Вскоре же после того умерли и оба Смирновы — муж и жена.

Сельцо Арцыбашево и затем оставалось на некоторое время в распоряжении вдовы Александровской. Сначала, до истечения срока публикации о вызове наследников, она заведовала имением Смирновых, что называется, по старой памяти; потом к имению этому, уже считавшемуся выморочным за неявкою в первоначальный срок наследников, назначен был опекуном саратовский помещик, отставной полковник Ершов, родной брат г-жи Александровской (она была тоже побочная дочь генерала Ершова), и, разумеется, опекаемое им имение состояло собственно в заведовании сестры его; наконец г-жа Александровская вышла замуж за скопинского городского врача Чистосердова, и тогда г-н Ершов немедленно отказался от опекуинства, опекуном же вместо него сделался Чистосердов.

Крестьяне арцыбашевские несколько не терпели от всех этих перемен. Опекуны Ершов и Чистосердов, да и сама г-жа Чистосердова (бывшая Александровская), не стесняли их решительно ни в чем, напротив того, даже послабили кой-какие прежде введенные в имении хозяйственные порядки. Но тем не менее, как только крестьяне эти спроведали откуда-то, что имение их — выморочное и что по истечении известного срока должно оно поступить в казенное ведомство, стали не очень-то охотно выносить неопределенную свою зависимость от г-жи Чистосердовой и кое в чем дали понять, что уже не считают ее настоящей своей помещицей. По всей вероятности, вследствие этой-то причины, а также и ввиду неустранимого свойства имения, по которому оно должно быть продано за долг Смирновых не раньше десяти лет, да и то лишь в том случае, когда казна откажется оставить его за собою с принятием на себя уплаты долга прежних владельцев, г-жа Чистосердова, уже искавшая только того, как бы поскорее получить удовлетворение по своему долговому документу, решила продать его, даже с немалой уступкою из полной суммы взыскания. Это удалось ей довольно скоро. Долговой документ от



Продажа крепостных на Нижегородской ярмарке.

С картины маслом К. В. Лебедева

Смирновых купил помещик (кажется, Смоленской губернии) Николай Васильевич Левенец. А как только сделалось это дело, врач Чистосердов тотчас же отказался от опекунства над сельцом Арцыбашевом, и опекуном назначен был родной брат г-на Николая Левенеца, Константин Васильевич Левенец. Как видно из последствий, назначение было подготовлено издалека и с особой, наперед определенной целью.

Впрочем, крестьяне арцыбашевские и эту перемену в заведовании ими приняли вполне равнодушно. Может быть, она была даже приятна им, ибо с устранением от имения г-жи Чистосердовой, на которую по старой привычке они все-таки посматривали как на помещицу свою, надежды их сделаться казенными еще более усилились. К тому же и новый опекун нисколько не стеснял их, так что при его управлении им было еще легче жить. Но он-то собственно и довел их до продажи с аукционного торга.

Довольно скоро после покупки долгового документа Смирновых г-ну Николаю Левенецу вздумалось расстаться с ним,— он и продал его дяде своему, г-ну Тарасенко-Отрешкову. Тогда намерение заинтересованных в деле лиц непременно довести сельцо Арцыбашево до продажи было приведено в исполнение очень быстро. Г-н Константин Левенец, оставшийся опекуном и по переходе вышеупомянутого документа к г-ну Тарасенко-Отрешкову, нашел для этого удобное средство: он перестал платить в Московский опекунский совет проценты по займу под залог сельца Арцыбашева, сделанному еще Смирновыми. Тогда опекунский совет, по порядкам своим, сообщил в Рязанское губернское правление об описи имения Смирновых за неисправный платеж процентов. И замечательно: при исполнении этого требования в надлежащих административных и судебных местах, как я слышал, и, должно быть, что это было так, как-то не присмотрелись к тому важному обстоятельству, что имение умерших Смирновых числится покуда выморочным, а затем, разумеется, уж никак не догадались о необходимости справиться: почему это допущена опекуном неуплата процентов, сумма которых,

сколько теперь помню, немного превышала тысячу рублей в год, тогда как ежегодный доход с заложенного имения исчислен, при поступлении имения в опеку, в размере гораздо большем, чуть ли не вдвое. Но уж так все это сделалось: ни к чему не присмотрелись, ни о чем не догадались и не справились. Опись сельца Арцыбашева была произведена и отослана в опекунский совет, и в установленный срок имение было продано с аукционного торга. Купил его г-н Тарасенко-Отрешков, которому легко было торговаться, имея у себя в руках вышеупомянутый долговой документ.

Так было продано сельцо Арцыбашево. Но арцыбашевские крестьяне отнеслись на первых порах к этому обстоятельству, совершенно уничтожившему все их надежды на свободу, без всяких волнений. Да, может быть, они не взволновались бы и вовсе, если б, на беду, не был прислан к ним новым помещиком чересчур усердный к интересам барским, чересчур лихой нравом приказчик.

Г-н Тарасенко-Отрешков выбрал этого человека для управления новокупленным имением как будто и не без цели, особой от хозяйственных соображений. Может быть, он находил, что арцыбашевцы, за время заведования ими г-жою Чистосердовою и всеми этими опекунами, перебаловались и очень поотвыкли от настоящих помещичьих порядков и что поэтому следовало *подтянуть* их, что называется. Для такого предположения моего, как видно будет из последующего, есть-таки довольно оснований.

Человек, присланный в сельцо Арцыбашево, был многоопытен и уже испытан по части подтягивания крестьян. Он был крепостной жены г-на Тарасенко-Отрешкова и уже давно служил у него в качестве приказчика. Следует тоже заметить в отношении него одно особенное обстоятельство: он был раскольник, и, кажется, что это также обуславливало крайнюю его жестокость с подчиненными ему людьми неодинаковой с ним веры. Звали его Потапом Матвеевым.

Он сразу показал себя в сельце Арцыбашеве. Явившись туда рано утром и прямо на господское гумно, где в то время молотили хлеб, он тотчас же за неисправную

будто бы работу высек двух мужиков и трех баб, из которых две были беременные.

Но он не ограничился только тем, что напустил страху на арцыбашевцев при первых же своих распоряжениях в имении. За малейшую в глазах его провинность, мужика ли, бабы ли, он немедленно расправлялся всегда сурово, а иногда с чрезвычайной жестокостью. Он был даже особенно изобретателен по части истязаний. Так, несчастным бабам, в чем-нибудь на работе провинившимся, он приказывал «веять снег». Я забыл сказать выше, что Потап Матвеев пожаловал к арцыбашевцам, когда еще стояла зима и когда часто разыгрывались метели, что в Рязанской губернии бывает обыкновенно в феврале, а иногда и в первой половине марта. Вот в эту-то пору, столь пригодную для изобретательности Потапа Матвеева, операция «веянья снега» производилась следующим образом: провинившиеся бабы устанавливались в ряд прямо против ветра и должны были взбрасывать кверху лопатами груды мелкого, сыпучего снега. Впрочем, нам говорили, что операция эта, которою Потап Матвеев, может быть, хотел заменить наказание баб розгами, не всегда безопасная потому, что некоторые из них могли оказаться беременными, продолжалась мало времени: взвеваемый на ветер мелкий снег так мучительно набивался веяльницам в уши, в глаза и ноздри, в рот, что они скорехонько без чувств падали на землю.

Никогда не забуду одну сцену во время следствия...

К допросу призвана была одна из тех беременных баб, которых Потап Матвеев сгоряча высек при первом появлении своем в имении. То была женщина еще очень молодая и очень красивая, но бледная чрезвычайно и такая слабая, что насилу держалась на ногах. Часто вздыхая, прерывисто и с видимым от слабости трудом рассказала она, как была наказана, и сама добавила, что была на ту пору беременна уже за вторую половину беременности, как должно быть по времени ее родов. На вопрос мой, благополучны ли и своевременны ли были роды, она отвечала с некоторым недоумением, что родила «кажись, ничего», скоро, а в свое ли время, про то не знает.

— А ребенок жив и здоров? — опять спросил я.

— Ребеночек поколя жив. А вот же, он у меня...

И она указала движением головы на маленький сверток из грубой холстины, который лежал у нее на локтевом сгибе левой руки. Я невольно изумился. В этом сверточке уж никак нельзя было подозревать присутствия ребенка, которому по расчету времени можно уже было полагать месяца два от рождения.

Я и жандармский штаб-офицер, подполковник Ивашинцов, находившийся при производстве следствия, поспешно подошли к несчастной матери.

Во всю жизнь я мало видал такого, что потрясло бы меня таким ужасом... Ребенок лежал без движения, с закрытыми глазами. Лицо его было страшной худобы, все с синеватым оттенком, все покрытое очень заметными морщинками. Когда мать раскрыла его, чтобы показать нам, он подал признак жизни: слабо пошевелился, раскрыл ротик, слабо пискнул, раз ли, два ли,— и тут же чрез несколько мгновений скончался...

По словам матери, у нее еще за неделю перед тем или, как помнится, даже и более, пропало молоко. Она стала было кормить ребенка молоком коровьим; но так как семья ее считалась бунтовщицкою,— мужчины этой семьи первые начали отыскивать от лица всего арцыбашевского «мира» свободу из крепостного состояния,— то барин, как раз к тому времени, когда понадобилось для того ребенка коровье молоко, отобрал корову для продовольствия солдат, стоявших в имении на экзекуции. У соседей, на своей деревне, раздобыться молоком было нельзя, оттого что все арцыбашевцы сами крайне нуждались во всех съестных припасах, а стало быть, и в молоке,— все пошло на продовольствие солдат; пожалуй, можно бы на «миру», в соседних деревнях, где хорошо знали про беду арцыбашевцев, вымолить христовым именем пищи для грудного ребенка, но то можно было не в тогдашнем положении несчастной матери: взрослые мужчины из ее дому были или в остроге, или в бегах для подачи прошений, и сама она, как принадлежащая к бунтовщицкой семье, да притом обязанная ходить на барщину, никуда не могла отлучиться... Вот

и поила она своего ребенка, не жильца на белом свете, кваском-суровцом³⁷.

О смерти ребенка во время допросов его матери, а также о состоянии его перед смертью был составлен подробный протокол. Но я слишком увлекся и не в порядке рассказываю. Надеюсь, мне извинят это увлечение. Теперь я буду уже аккуратно следовать за ходом событий.

Арцыбашевцы хоть и весьма смирные люди, однако же не стерпели жестокостей Потапа Матвеева. Они скорехонько принялись, с помощью скопинских темных дельцов из отставных приказных, доказывать в прошениях, всюду подаваемых, что проданы они неправильно, что по всем правам следует им быть вольными, так как имение их — выморочное. Вместе с тем они стали оказывать неповиновение приказчику при некоторых его распоряжениях, — впрочем, неповиновение совершенно пассивного свойства: ни на какое буйство и насилие, ни на какой решительный поступок они не были способны. Я опять-таки полагаю, что не будь тут жестокостей приказчика, вряд ли бы эти крестьяне надумались даже на то, чтобы отыскивать свободу из крепостной неволи на основании неправильной продажи их имения; сдается мне, что и крутые меры нового помещика, лишь бы он сам распоряжался с некоторою рассудительностью и справедливостью, не подвигнули бы их, может быть, к этому отысканию свободы или по крайней мере не так скоро подействовали бы на них в этом смысле. Но жестокости Потапа Матвеева были невыносимы для них оттого больше, что он был их же брат — крестьянин. Я знаю много примеров, что крестьяне всегда чрезвычайно нетерпеливо сносили жестокие или просто стеснительные действия управляющих и приказчиков, когда эти лица были из крестьян того самого имения, которым они по барской воле заведовали. Это же замечалось у государственных крестьян в отношении их волостных и сельских начальников, хотя и гораздо реже, чем у крестьян помещичьих, конечно, потому реже, что крестьяне государственные, сами выбиравшие своих волостных и сельских начальников, все-таки сознавали тут и собственную свою вину, да к тому же могли они надеяться,

что жалобы на дурных начальников и возможны по закону в разных местах и нередко даже действительны. Наконец, это же замечалось и у белорусских крестьян, столь знаменитых своей терпеливостью,— по крайней мере у них было сознание в этом смысле, выразившееся в простодушной пословице: «пан с-под пера, то як кольэк, але ж пан с-под сохи — то бэда».

Итак, этот несчастный бунт арцыбашевцев был произведен преимущественно жестокими действиями приказчика Потапа Матвеева. На следствии это обнаружилось настолько ясно, что ввиду многих фактов, подтвердивших обвинение против Потапа Матвеева, он был подвергнут тогда же тюремному заключению.

Но на следствии достаточно обнаружилось и то, каким образом доведено было имение умерших Смирновых до продажи с аукционного торга. И надо отдать справедливость некоторым из прикосновенных к делу лиц, а именно г-дам Чистосердовым и г-дам Левенецам,— они довольно чистосердечно разъяснили свои действия.

Я должен прибавить еще несколько слов о судьбе самого следствия,— без этого как будто неполон будет мой рассказ. Следствие это не просто кончилось, оно приняло было такой оборот, что в иное время, пожалуй, и очень плохо досталось бы самим следователям.

Г-н Тарасенко-Отрешков был весьма недоволен ходом следствия. Он находил, что арцыбашевцам была оказана самая неосновательная, даже очень вредного свойства потачка и, напротив того, ему самому причинены были стеснения и всяческое материальное расстройство. С особенным, так сказать, ударением он указывал на следующие три обстоятельства: во-первых, на то, что арцыбашевцы, посаженные по распоряжению начальника губернии в острог, выпущены на свободу во время еще следствия,— несмотря на то, что арестование их во время самого усмирения должно было бы указывать следователям на них как на главных виновников происшедшего в имении бунта; во-вторых, что посажен в острог приказчик Потап Матвеев, вся вина которого в том лишь состояла, что он неусыпно наблюдал за порядком в имении и усердно старался не допустить арцыба-

шевских крестьян до открытого неповиновения законной помещичьей власти,— и такая мера в отношении приказчика, принятая почти одновременно с освобождением из острога «бунтовщиков», могла, дескать, иметь самое вредное влияние на крестьян; и, в-третьих, наконец,— что вообще направление следствия явно способствует к поддержанию в арцыбашевцах духа неповиновения, почему из имения не выводится воинская команда, а через это разоряются и имение, и сам помещик его.

Жалоба г-на Тарасенко-Отрешкова, как видится, была довольно-таки серьезная. Впрочем, я не помню в точности ее выражений, да и не могу помнить — тому прошло уже с лишком двадцать лет, я и не видал ее, а только слышал о ней. Но смысл ее был именно таков, как мною изложено.

Оправдываться мне незачем. Полагаю, что факты, выше изложенные с полной истиной, достаточно говорят сами за себя. Однако о двух пунктах жалобы г-на Тарасенко-Отрешкова, именно о первом и последнем, я должен войти в некоторые разъяснения.

Мы, следователи, точно, выпустили из острога тех арцыбашевцев, которые были посажены туда по распоряжению начальника губернии, сделанному во время усмирения имения*. Но мы сделали это потому, что следствием не было обнаружено ни малейшего с их стороны в отношении односельчан подстрекательства к неповиновению против помещика, а притом и никакого самостоятельного их действия, из которого можно было бы заключить, что они решились как бы отречься от помещичьей власти. Что же касается до арестования их при усмирении имения, то, по всей вероятности, это зависело если не от указаний на них помещиком как на главнейших «бунтовщиков», так от того, что они не сразу изъявили полнейшую во всем покорность помещику или не решительно отказались от отыскивания свободы, а может быть, и от того лишь, что не умели объясняться с

* Начальник губернии, сколько помнится, отправил в острог 11 или 12 человек; мы же освободили 9 или 10; остальные двое или трое были оставлены в тюремном заключении, так как против них были некоторые доказательства, что они подстрекали односельчан к неповиновению помещику.

губернским начальством,— что-нибудь грубовато перед ним сболтнули.

Наконец, относительно последнего вывода жалобы, что будто бы направление следствия, пристрастное в пользу крестьян, проникнутое потакательством всяческим их претензиям, способствовало к поддержанию в них духа неповиновения и таким образом вело к самым вредным последствиям и для крестьян, и для помещика, то я могу смело сказать, что все это было выведено в высшей степени неосновательно (я не хочу резче выразиться о характере такого обвинения). Арцыбашевские крестьяне после «усмирения» их начальником губернии уже нисколько не волновались и все барщинные работы отбывали с возможной для них исправностью. Затем, может быть, они и питали еще надежды на освобождение от крепостной зависимости, на основании того, что обнаруживалось относительно их продажи и про что отчасти они могли как-нибудь догадываться или кое-что узнавать чрез своих темных поверенных, приказных; но вряд ли надежды эти выражались тогда хоть бы подачею новых прошений, по крайней мере у нас по следствию этого не было видно. Впрочем, и самые последствия достаточно показали, что жалобы со стороны г-на Тарасенко-Отрешкова на существующий все еще у арцыбашевцев дух неповиновения были вполне неосновательны.

Однако жалоба на следователей, принесенная г-ном Тарасенко-Отрешковым, была принята очень серьезно. Я не знаю доподлинно, требовались ли от рязанского губернатора какие-либо предварительные сведения по делу, но не думаю, чтобы так было, потому что от меня никаких объяснений не было истребовано. И вот, как снег на голову, явился в Рязань чиновник, состоявший тогда при Министерстве внутренних дел (а вскоре после того получивший губернаторское место). Ему поручено было проверить следствие, окончательно привести крестьян селца Арцыбашева в повиновение помещичьей власти, если это по усмотрению его на месте окажется нужным, а затем самостоятельно окончить следствие, если бы оказалось, что оно было ведено дурно, или же при удовлетворительном его производстве прежними следо-

вателями находиться при нем только для наблюдения за скорейшим его окончанием.

Я имею основание думать, что вначале этот чиновник был очень предубежден насчет направления следствия. По крайней мере на первых порах он даже как будто старался выказать нечто в этом роде, а особенно резко отзывался о протоколе по поводу смерти ребенка во время допроса его матери и о мотивах для помещения в острог приказчика Потапа Матвеева. Но по мере того, как он больше ознакомился со всеми подробностями дела, с характеристикой и лиц, и действий, как она выступала в ней в достаточной рельефности, предубеждения его мало-помалу рассеивались, а наконец, кажется, и совсем исчезли. Мне отрадно заявить об этом по отношению собственно к чистой правде в таком деле, где были замешаны и безответные люди.

Вообще я должен отдать полную справедливость министерскому чиновнику. Он не увлекся совершенной доступностью ему административных способов для «усмирения» этих безответных людей и даже некоторой славою усмирителя. Он сразу увидел, что «усмирять» людей, и без того совершенно смирных, отнюдь не следует, и ограничился только весьма строгим и красноречивым внушением арцыбашевцам безусловной для них необходимости неуклонно повиноваться законной помещичьей власти, а также растолкованием всего того, что по тогдашним понятиям вытекало из этой необходимости.

Нельзя было найти более внимательных и покорных слушателей, какими были на ту пору арцыбашевцы в своей смиренной простоте, и, конечно, нельзя было не остаться довольным ими (вот разве г-н Тарасенко-Отрешков, — тот, пожалуй, остался и очень недоволен).

Я находился при всем этом, но, право, и теперь дрожит мое сердце при воспоминании о том, как легко могла повториться для безответных людей экзекуция со всеми ее принадлежностями.

Впрочем, все сошло благополучно. Затем и следствие было окончено довольно скоро, благодаря уже присутствию при нем в качестве только наблюдателя мини-

стерского чиновника: те прикосновенные к делу лица, от которых надо было получить еще разные дополнительные сведения и которые почему-то все еще не являлись к следствию, теперь проворно явились и дали нужные ответы.

Чем решено было это дело в судебных местах, что вообще случилось после того с арцыбашевцами, мне неизвестно по двум причинам: во-первых, в следующем, 1857 году постигли меня семейные утраты и несчастья, а, во-вторых, вследствие этих же семейных утрат и несчастий настолько изменились все мои обстоятельства, что я уже не захотел жить в Рязани, а переселился в Москву.

V

Второй в 1856 году крестьянский бунт, о причинах которого я же производил следствие (и опять при том же жандармском штаб-офицере Ивашинцове), произошел в селе Чуриловке Рязского уезда, в имении генерал-майора Заварицкого. Кстати будет сказать, что на усмирении чуриловских крестьян я не был и знаю только по слухам, впрочем, вполне достоверным, что оно совершилось очень тихо,— конечно, вследствие того, что усмиряемые крестьяне были чуть ли еще не посмирнее арцыбашевцев.

И точно, по следствию оказывалось, что чуриловцы обладали таким терпением, которое,— хоть и не хватило его у них наконец,— все-таки нельзя не признать чрезвычайным. Но пусть факты, о которых ниже расскажу с достаточной подробностью, сами за себя говорят.

Рязское имение генерала Заварицкого было неважное имение, даром что в нем считалось с лишком четыреста душ, да и состояло оно в одном из лучших по производительности почвы уездов Рязанской губернии. Дело в том, что при селе Чуриловке было не много земли, всего, сколько помнится, если не менее, то и не более тысячи десятин. Вследствие такого недостатка в земле чуриловские крестьяне долго не знали никаких барщинных порядков и, состоя на чистом оброке, добывали

себе денежные средства на оплату оброка помещику, государственных и земских повинностей³⁸, а также на свой хозяйственный и домашний обиход не земледелием, которого, впрочем, они отнюдь не покидали, а особой издельной промышленностью, существовавшей у них на селе с давнего времени: они были гребенщики, и гребни их, преимущественно для домашней ручной пряжи льна, тогда еще не вытесненные самопрялками, имели хороший сбыт во многих местностях Рязанской и Тамбовской губерний.

Но вот годов за семь ли, за восемь ли до бунта помещик Заварицкий, незадолго перед тем купивший (или же приобретший село Чуриловку другим каким-либо способом,— про то хорошо не помню), установил в этом имении новые порядки, конечно, в видах извлечения из него больших себе доходов,— причем вмешался он и в промышленность чуриловцев. То и другое г-н Заварицкий произвел очень извортливо. Но и куда как сложна была при этом система помещичьих преобразований в селе Чуриловке. Из показаний крестьян можно было понять, что система эта вводилась и окончательно была введена таким образом:

Прежде всего помещик отделил из состоявшей при селе Чуриловке распашной и луговой земли самую лучшую, самую удобную часть, сколько помнится, не менее одной трети общего количества, и завел на ней господскую запашку. Затем, с большой внимательностью всмотревшись во весь быт чуриловцев, в их хозяйственную и семейную состоятельность, в их рабочие силы и способы, он расчетливо поделил их на три категории, которые и обязаны были в разной степени отбывать уже на новый лад разные в отношении него повинности. К первой категории, наименьшей из всех, с самого начала принадлежали самые зажиточные крестьяне. Только они одни считались состоящими как будто бы по-прежнему на оброке. На каждое тягло отведено было им земли в размере, довольно близко подходившем к тому, каким они вместе с прочими односельчанами прежде того пользовались. Но надо заметить, что прежний чистый оброк, какой платили все чуриловцы, был уже нечистым



На «миру».

С картины маслом С. Коровина

и для крестьян первой категории: во-первых, оброк был увеличен на каждое такое тягло; во-вторых, оброчные эти тягла все-таки не избавлялись от некоторых барщинных повинностей: так, они должны были отбывать по несколько рабочих дней при уборке барского сена и барских хлебов; так, они участвовали и в доставке своими собственными лошадьми господского хлеба на разные хлебные рынки,— только не очень отдаленные от села Чуриловки. Ко второй категории — самой большой при начале введения новой хозяйственной системы в име-

нии — принадлежали крестьяне менее зажиточные, так сказать, среднего состояния, но все-таки состоятельные по рабочим силам и способам. Им отведено было меньше земли, чем односельчанам из первой категории, но они и оброку платили меньше; зато они отбывали уже всякие барщинные работы не только при уборке хлебов и сена, но и при обработке господской запашки, да кроме того, тянули подводную на помещика повинность всюду, на самые отдаленные хлебные рынки, куда только угодно было барину их посылать. Наконец, в третьей категории состояли остальные чуриловцы, все малоимущие, уже без разбора их рабочих сил и способов. Земли полевого и лугового надела³⁹ эти малоимущие уже вовсе не имели, а пользовались только своей усадебной и огородной землей да участвовали в пользовании выгоном и пастбищами, но при том, конечно, условии, если был у них какой-нибудь скот. И несмотря на то, что малоимущие были лишены почти всякого земельного надела, они все-таки платили оброк, хотя и незначительный, но тем не менее для них весьма тяжелый, и, кроме того, отбывали всякую барщину, уже не в определенном по числу рабочих дней размере, как было установлено для крестьян первых двух категорий, но поголовную и ежедневную, когда лишь требовалось это помещику. И этого еще было мало: бедняги малоимущие отбывали также подводную повинность, подобно полубарщинникам, т. е. на всякие расстояния, и отбывание это совершалось иногда особенным, страшно тягостным образом, как о том будет рассказано ниже.

Вникая теперь во всю эту в высшей степени сложную и странную систему хозяйственного заведования селом Чуриловкою, особенно же в те условия труда и разных повинностей на помещика, в какие были поставлены крестьяне третьей категории, невольно приходит мне на мысль: уж не был ли генерал Заварицкий по происхождению своему из помещиков, например, нашего Северо-Западного края, или же не насмотрелся ли он там слишком для себя назидательно на прежние хозяйственные у тамошних помещиков порядки, при которых в таком ходу были: и обременение крестьян-хозяев всякими

работами, «шарварковыми» повинностями, данинами, и обезземеление крестьян («сказование» с инвентарных участков), для достижения двойной цели: распространения фольварковых (господских) земель и увеличения числа безземельных батраков, которыми так удобно было помыкать во все стороны. Но если так было, если предположение мое верно,— все же генерал Заварицкий, должно быть, собственными своими измышлениями еще и поуллучшил хозяйственную систему, перенятую им у образованных на чисто европейскую статью помещиков.

Я передал здесь о заведенных в селе Чуриловке генералом Заварицким порядках лишь в общих чертах, как осталось о том у меня в памяти; я хотел бы очень рассказать и о некоторых характеристических подробностях, о том именно, как, в частности, в отношении отдельных лиц, применялись те порядки, но, не имея у себя под руками ни следственного дела, ни тех заметок, которые сделаны были мною тогда себе на память,— я уже не могу на это решиться.

И вот что было замечательно: чуриловские крестьяне, эти истые русаки, народ, занимавшийся тоже промышленностью, долго состоявший на чистом оброке, бывавший вследствие промышленности своей и на стороне,— словом, народ вовсе не забитый, подчинились всем распоряжениям помещика в отношении их, должно быть, с полной покорностью. Я говорю: «должно быть, с полной покорностью» по тому соображению, что ни о малейшем сопротивлении чуриловских крестьян, когда вводились у них те распоряжения, а также ни о каких их жалобах и ни о каких особенных мерах со стороны самого помещика к прочнейшей установке новых его хозяйственных порядков не доходило до меня во время производства следствия малейших сведений, ни даже намеков каких-нибудь. А впрочем, по правде сказать, я и остерегался касаться при следствии этого предмета: расспросы о нем не нужны были по существу дела, удовлетворили бы лишь одно любопытство, а между тем они могли бы расшевелить в чуриловцах воспоминания о прежнем их житье-бытье до генерала Заварицкого, воспоминания же эти, пожалуй, повели бы к сравнениям и

заклучениям, которые поддерживали бы в них настроение, уже раз признанное бунтом. Но все-таки я предполагаю, что пассивная роль чуриловцев при установке у них хозяйственной системы г-на Заварицкого зависела от того более, что в их еще руках тогда находилась вполне та промышленность, которая издавна поддерживала их, которая и при малой земле развила у них благосостояние. Усилив несколько свое гребенное производство, они могли довольно легко справляться с новыми своими повинностями, тем более что и следующие обстоятельства имели тут не малое значение: во-первых, отобрание помещиком лучшей части земельных угодий, бывших перед тем в полном распоряжении «мира», а также самое лишение некоторых крестьян всякого полевого и лугового надела, не были для чуриловцев особенно чувствительными, потому что не от земли же своей они прежде кормились; а во-вторых, и барщинные работы,— даром что они были для них совсем непривычны,— не могли казаться им, по крайней мере сначала, обременительными, потому что господская запашка была все-таки невелика для всего наличного состава населения в селе Чуриловке, да притом работы эти нисколько не мешали гребенному производству, которым чуриловцы обыкновенно занимались в осеннее и зимнее время.

Однако хозяйственная система генерала Заварицкого не замедлила проявить самым существенным образом пагубное влияние свое на весь быт крестьян села Чуриловки. Силою обстоятельств, возникших из этой системы, заведенные г-ном Заварицким подразделения рабочего и обычного люда начали изменяться, путаться, ибо чуриловцы в значительном большинстве, видимо, уже уравнивались по материальному своему состоянию. Это изменение в подразделениях рабочего и оброчного люда было первым и очень явственным признаком общего и быстрого ослабления рабочей силы чуриловцев. Г-н Заварицкий подметил это скоро, но поступил по-своему, как будет видно ниже.

Мне приходит тут невольно на память другой помещик Рязанской губернии, тоже генерал, как и г-н Заварицкий, только гораздо богаче его: он очень старался,

чтобы все крестьяне его имения были одинакового состояния, и именно «посредственного», а отнюдь не богатого, даже не зажиточного, а так, например, чтобы они имели у себя на каждый двор уж никак не более двух лошадей, одной коровы, пяти-шести овец и проч., и проч., — все, одним словом, в «посредственном» размере. То была помещичья система, основанная на тонком расчете рабочих средств крестьянина для исправного отбывания барщинных работ и повинностей, да и, мало того, рассчитанная еще на тончайшем соображении, — что, дескать, крестьяне «посредственного» состояния — самые удобные для вотчинного управления ими*. Может быть, и у генерала Заварицкого были расчеты и соображения несколько в этом же роде. Но он пошел гораздо дальше, чем слегка упомянутый мною крупный помещик, потому пошел дальше, что цели у него были проще, лишь в том состояли, как бы побольше извлечь дохода из имения.

Итак, чуриловские крестьяне начали уравниваться в своем состоянии. Уже довольно многим из принадлежавших к первым двум категориям было вовсе не под силу держать тягольную землю, и они изъявляли готовность отказаться от нее, чтобы стать наряду с односельчанами третьей категории. В этом отказе от тягольной земли еще не проявлялось склонности к неповиновению барину, терпение крестьян еще не было истощено, благо выгодная промышленность покуда выручала их, хотя далеко уже не всех по-прежнему, но уже сказывалось желание не то чтобы высвободиться из-под барской хозяйственной системы, а хоть как-нибудь уклониться от всего ее давления, что и могло быть достигнуто отчасти, — например, при обработке господской запашки, — посредством поступления в разряд безземельных

* Случай доставил мне возможность ознакомиться, хотя, к сожалению, и не в большой подробности, с одним документом, изображавшим внутренние распорядки в имении помещика или, лучше сказать, результаты этих распорядков. То был список крестьян-домохозяев, с подробными отметками в надлежащих графах не только всего, что относилось к имущественному инвентарю каждого хозяина, но и нравственных качеств его самого и даже жены его; отметки о женах были особенно игривого свойства. Об этом помещике, может статься, я расскажу впоследствии.

и малоимущих крестьян, не обязанных при своем безземелье держать лошадей для барщинных работ.

Вряд ли могло нравиться г-ну Заварицкому, что чуриловцы начали выказывать склонность к поголовному переходу в безземельные батраки. Сообразить последствия такого перехода было легко: правда, вся тягольная земля переходила тут в полное распоряжение помещика, но как же пользоваться ею во всю силу барщины, когда крестьяне не будут иметь средств для отбывания всяких барщинных повинностей? Да притом — и еще одно невыгодное обстоятельство: оброк с малоимущих третьей категории был гораздо ниже, чем у крестьян первых двух категорий, а усилить его не представлялось никакой возможности. Вероятно, вследствие всего этого генерал Заварицкий и вмешался в гребенный промысел своих крестьян.

Он сделал это замысловатым для того времени образом. Но прежде надо пояснить нечто о гребенном производстве чуриловцев.

Чуриловцы выделывали гребни из кленовых лопаток, а лопатки добывали обыкновенно из Курской губернии, куда в начале каждой осени и отправлялись они для покупки нужного им материала. В прежнее время, до радикальных реформ г-на Заварицкого в имении, чуриловцы ездили за лопатками большим обозом, чуть не из каждого двора, так как в каждом дворе производилась выделка гребней. Но после того как введенные у них новые порядки начали производить свое действие на крестьянское благосостояние, некоторые крестьяне, особенно же из состоявших в третьем разряде тяглых, не имея уже своих лошадей, перестали сами ездить за лопатками, а поручали покупку и на их долю тем, которые еще могли для того отправляться; притом же случалось нередко, что у безлошадных крестьян не доставало и деньжонок на материал, — тогда привозившие его стали брать с несостоятельных односельчан немалые барыши. Таким образом, на «миру» чуриловском в неважном гребенном производстве вдруг очистилось довольно просторное место для эксплуатации капитала. Впрочем, эта доморощенная эксплуатация и не очень

бы развилась, если б не явился здесь г-н Заварицкий с замысловато устроенной системой кредита.

Г-н Заварицкий вложил в свою господскую контору рублей восемьсот серебром, собственно для выдачи ссуд несостоятельным крестьянам на покупку кленовых лопаток. Казалось бы, дело и очень недурное, тем более что проценты на ссуды были положены в умеренном размере (в каком же именно, к сожалению, теперь не помню); однако оно с самого начала не пошло, может быть, потому, что крестьяне предусмотрительно побаивались, как бы из-за барского кредита не выглянула вдруг какая-нибудь новая для них невзгода; а может, и потому, что барский кредит не улаживался с развившейся уже эксплуатацией состоятельных крестьян, продолжавших ездить за лопатками. Тут г-н Заварицкий подкрепил кредитное дело новыми распоряжениями: во-первых, отъезд в Курскую губернию за лопатками был воспрещен для всякого домохозяина, а вменено было в обязанность посылать туда особых выборных от всего чуриловского «мира»; во-вторых, все занимающиеся гребенным производством, как не имеющие средства на покупку нужного им материала, так и имеющие средства, должны были приобретать этот материал на деньги, непременно занятые из ссудной кассы, состоявшей при господской конторе; и, в-третьих, наконец, самое производство гребней получило регламентацию, соответственную барским интересам: каждый двор по своим рабочим силам должен был получить из господской конторы известное количество лопаток, из которого к назначенному сроку обязан был выделывать определенное количество гребней; затем все гребни по выделке доставлялись в господскую контору, которая заведовала и распродажею их, до покрытия как ссуд, выданных на покупку лопаток, так и процентов на ссуды, а равно и всех издержек на поездку выборных от «мира» и барского уполномоченного в Курскую губернию, и уже после всего того остальные гребни выдавались чуриловским мастерам в полное их распоряжение.

Кредит, примененный на такую статью к простому крестьянскому промыслу,— к промыслу, который под-

держивал чуриловцев не только на малой земле, но и при всем ходу хозяйственной системы г-на Заварицкого, должен был доконать их неминуемо. Весь «мир» чуриловский превратился в какую-то странную фабрику, где для труда, служившего необходимым подспорьем для существования всех и каждого, не было уже ни малейшей свободы, где нельзя было рассчитывать и на самое скудное вознаграждение за труд. Но для чуриловцев это было еще тем тяжелее, что, ставши в гребенном промысле подневольными рабочими на барина, они нисколько не были облегчены ни в оброке, ни в барщинных работах.

Тогда-то именно плоды барско-хозяйственной системы проявились уже самым поразительным образом на всем «миру» чуриловском. Многие из крестьян дошли до того, что в течение нескольких лет сряду ни сами на себя, ни на своих домашних «шубного клока» не видали (так характеристично показывали мне некоторые из них о крайней своей бедности); многие, не имевшие от бедности лошадей, но все-таки не избавленные от подводной повинности, должны были припрягаться к телегам, нагруженным хлебом или камнем, как однажды было, когда понадобился камень для каких-то поделок на господском дворе; у некоторых крестьян — и таких было тоже немало — не только не было лошадей, коров, свиней, но даже овец, даже никакой домашней птицы. И вообще к тому времени, когда вспыхнуло наконец в имении неповиновение помещичьей власти, — чуриловцы находили поддержку для скудного своего существования уже не в гребенном производстве, а в милосердии соседей своих, купцов и зажиточных крестьян села Ухолова*, которые, жалея их, чуриловцев, подавали им милостыню охотно.

Но горемычные чуриловцы к вышеуказанному времени обнищали не в одном материальном положении.

Известно, что крестьяне, занимавшиеся какими-нибудь промыслами, были и при крепостном праве гораздо развитее, смышленнее и деловитее тех крестьян, труд

* Село Ухолово (тоже Рязского уезда, верстах в 6—7 от села Чуриловки) производит обширную торговлю хлебом. Это — село помещичье, г-д Головинных, но тамошние крестьяне всегда пользовались хорошим управлением и были очень зажиточны.

которых обращен был единственно на земледелие. Так и должно было быть: промысловые крестьяне, при покупке материала на свои изделия, при распродаже своих изделий, часто и много обращаются с людьми посторонними всякого состояния и разных понятий, нередко посещают чужие, и близкие, и отдаленные места, а при всем том твердо навыкают и к простому счету, и к довольно глубокому учету и своих сил и способов, и все это очень развивает их. Конечно, и чуриловцы, исстари занимавшиеся гребенным производством и торговлею своими изделиями, были, до барских реформ в имении, тоже довольно развитыми крестьянами. Но в то время, когда производилось о них следствие, они уже вовсе не походили на промысловых людей. И по наружности, и по речам они казались совсем одичалыми. Трудно было отбирать от них показания даже о таких предметах, затрагивание которых не могло, казалось, возбуждать в них ни малейшего подозрения, что тут речь идет об их неповиновении помещику, т. е. о том именно обстоятельстве, которое так напугало их последствиями. Ответы их по большей части были весьма неясны и невразумительны, иногда представлялись даже и вовсе непонятными; а то допрашиваемые совсем уклонялись от ответов, и, по-видимому, оттого, что как будто не понимали вопросов. Помню, священник (кажется, из села Ухолова), приглашенный к следствию для увещаний при допросах и для приведения к присяге свидетелей, однажды не вытерпел, слушая показание крестьянина, чересчур уклонявшегося от разъяснения какого-то самого простого обстоятельства, и вмешался в допрос таким замечанием: «Ведь уж как вертится человек в речах-то своих,— вот словно на пень наехал...» Священник хоть и некстати тут вмешался (про что и было ему замечено), однако он очень образно выразил тогдашнее состояние чуриловцев. В самом деле, они как будто на пень наехали, на такой пень, с которого и своротить нельзя: обстоятельства, окружавшие их, отупляли их смысл недоумениями, страхами; положение их должно было казаться им и нестерпимым, и безысходным.

Как и с чего началось дело о неповиновении чуриловцев их помещику, кому из них первому пришло в голову, что уже невмочь и каждому и всем терпеть заведенные в имении порядки,— не уяснилось на следствии, хотя на это и было обращено особое внимание. Но и то сказать, когда причина, доведшая крестьян села Чуриловки до бунта, стала совершенно ясна, чего еще было добиваться?

Кстати прибавлю здесь несколько слов о том, как и везде начинались или, лучше сказать, должны были начинаться крестьянские бунты в помещичьих имениях. Они должны были начинаться очень просто. Без причины ничего не бывает, не бывали без причины и эти бунты. Когда причина, долженствовавшая произвести бунт и действовавшая на всех постоянно, доводила наконец положение дел до крайнего предела, она как бы вдруг и со страшной силой уяснялась общему сознанию всех, кто находился под ее действием, и, разумеется, вспышки раздражения, гнева, а иногда и ярости на гнев, который довелось испытать вдоволь, а также внезапная решимость идти на все очертя голову, чтобы как-нибудь выбиться из-под того гнета, обхватывали всех разом же. Тут было совсем несообразно настоящему смыслу событий отыскивать и тех, между которыми вспыхнуло волнение, каких-нибудь особенно виновных... Я говорю так не потому, что видал самое начало крестьянских бунтов,— его никто из посторонних не видывал,— а потому, что вдумывался долго и на основании наблюдений над многими случаями в общее значение этих печальных явлений народной жизни, теперь уже отошедших, надо думать и твердо надеяться, навсегда в прошедшее.

Но я отвлекся от дела о крестьянах генерала Заварицкого. Впрочем, собственно о нем мне уже и нечего рассказывать. Следствие было окончено сразу, без перерыва, эпизодом, подобным тому, какой приключился по делу о крестьянах помещика Тарасенко-Отрешкова; затем оно получило обыкновенный ход в судебных местах. Но как в этих местах окончилось это дело,— я не знаю. Неизвестно мне тоже, было ли взято в опеку имение генерала Заварицкого. Казалось бы, такое распоряже-

ние с этим имением было и вполне основательно, и в высшей степени справедливо; но, пожалуй, его и не последовало,— и тоже не совсем без основания, для того времени, бывшего в полной силе: надо знать, что в то время помещичьи имения брались в опеку лишь за жестокое обращение помещиков с крестьянами, а генерал Заварицкий, собственно, не был повинен в жестоком обращении, по крайней мере свою хозяйственную систему он ввел, развил и поддержал, не прибегая к истязаниям крестьян (что, впрочем, могло зависеть и от того, что крестьяне-то были уж очень терпеливы); стало быть, если и приходило кому-нибудь на мысль о взятии села Чуриловки в опеку, то в конце концов могли взглянуть на дело и с вышеуказанной стороны.

VI

Я рассказал все, что мне известно о крестьянских бунтах в помещичьих имениях Рязанской губернии за десятилетний период времени перед Крестьянской реформой. Но рассказ мой захватывает не все, а может быть, и далеко не все подобные случаи. Несомненно, что были еще и такие, о которых я не мог говорить по совершенной неизвестности мне фактов. Так, например, я должен умолчать о бунте в имении помещика Спасского уезда, полковника Стерлигова, и очень сожалею об этом. Случай, наверное, был особенно интересен, по многим причинам, о которых я кое-что, но слишком мельком, слышал. Я уж сожалею о недостаточности моих тут сведений — даже потому, что имение г-на Стерлигова, село Старая Рязань, находится на той местности, где была столица Великого княжества Рязанского, про что крестьяне этого имения помнили, как было слышно. Но и, кроме того, было немало крестьянских волнений, подавленных в самом начале быстрыми мерами отважных исправников и становых приставов*, а то унятых сами-

* Такие подавления волнений, именно чрез полицейских чиновников,— как ни странно покажется это с первого взгляда,— случались всего более в тех имениях, где распоряжались не сами помещики, а управляющие, особенно из обжившихся там коренных русаков: ме-

ми помещиками посредством вовремя и благоразумно сделанных уступок требованиям крестьян относительно каких-нибудь через меру тяжелых повинностей. Конечно, и эти последние случаи были бы интересны для рассказа, я и знаю кое-что о некоторых из них, но мои сведения все-таки слишком отрывочны и далеко не полны, поэтому я и не решаюсь рассказывать на основании их.

Впрочем, если б тут и остановиться, в этой части моих воспоминаний,— очерк событий, мною сделанный, был бы, несомненно, неполон. Реакция крестьян помещичьих против крепостного права выражалась не в одних же волнениях целых имений,— бывали еще и иные проявления народного неудовольствия на гнет крепостного их состояния, на помещичий произвол. Я говорю тут прямо про те тяжкие расплаты с помещиками, при которых обыкновенно со стороны крестьянской действовало мало лиц, при которых иногда и все совершалось один на один, и тем не менее в происшествиях этих, несмотря на их случайный характер, нельзя было не заметить чего-то такого, что намекало на общее тревожное настроение в крепостном люде. Правда, в Рязанской губернии за последнее десятилетие перед Крестьянской реформой случаи вышеупомянутых расплат были, говоря вообще, редки; убийств было даже очень немного; но замечательно,— в 1856 году вдруг прорвалось довольно много случаев нанесения помещикам побоев, и в этом обстоятельстве обнаружилось как будто бы обобщавшееся кой-где (особенно у дворового люда) желание «проучить» посредством побоев некоторых помещиков и тем при-

щан, вольноотпущенников⁴⁰ или же и крепостных. Эти люди были чрезвычайно сметливы, от них вряд ли когда-нибудь укрывалось настроение духа в подведомственном им люде. Оно и понятно: положение их в имениях было почти всегда небезопасно, ибо крестьяне вообще очень нетерпеливо сносили всяческие барщинные тяготы, если они зависели не от коренных помещиков, а от управляющих. Поэтому такие управляющие умели вовремя подмечать признаки начинающего[ся] в крестьянах волнения и притом твердо знали, из-за чего волнение начинается и кто из крестьян руководит или может руководить им, и, уведомляя обо всем этом тотчас же местную земскую полицию, они иногда предупреждали дальнейшее развитие духа неповиновения в крестьянах.



Салтычиха.
С картины маслом П. В. Курдюмова

нудить их к различным облегчениям в хозяйственной их системе...

Здесь я расскажу только о двух довольно мне известных случаях расплат с помещиками. Оба — весьма интересны. Первый, о котором придется говорить, показывает, из-за чего и как иногда побуждался к большому преступлению крестьянин-семьянин, человек уже немолодой и смирный по характеру; второй случай раскрывает самым страшным образом, как воспитывало крепостное право в иных помещичьих семействах характеры самих помещиков и что из этого происходило. Кстати, о первом из этих случаев большая, существенная часть сведений извлечена мною из следственного дела, при производстве которого я находился; о втором же я знаю только по слухам, впрочем, таким, в справедливости которых я не имею повода сомневаться.

Случай, с которого начинаю рассказ, относится еще к 1847 году. Он произошел в Пронском уезде.

В этом уезде, довольно далеко от уездного города, но неподалеку, всего верстах в 25 от Рязани, находится небольшая деревня, Нилова Слободка, с населением душ в сорок ревизских. То было имение, принадлежавшее тогда господам Ч-ким, брату и двум сестрам. Брат служил в пехотном полку и находился на ту пору далеко где-то от имения; одна из сестер, кажется, была, замужем, по крайней мере тоже отсутствовала; другая сестра, незамужняя (сколько помнится, старшая), жила в имении и управляла им.

О характере помещичьей семьи Ч-ких мне очень мало известно; знаю только, что отец их был дворянин польского происхождения, женатый на русской, и что девицы Ч-кие слыли весьма образованными; они получили образование, разумеется, на тогдашний лад, в каком-то частном пансионе.

В зиму 1846/1847 года девица Ч-кая часто ездила в Рязань и обыкновенно останавливалась в доме рязанского откупщика⁴¹ Анзиминова, дочь которого воспитывалась в одном пансионе с Ч-кими. Там госпожа Ч-кая увидела очень странного человека. То был юродивый, откуда-то появившийся в Рязани и сначала бродивший

по городским улицам босиком, несмотря на зимнее время. Он был принят у Анзиминовых чуть ли не как святой; в семействе этом, купеческого происхождения, да и вообще добром и щедром, крепко держались все стародавние предания о юродивых. Поживя несколько времени в помещичьем доме, юродивый совершенно преобразился; перестал бродить босиком по улицам и лохмотную свою одежду заменил приличным платьем, даже на барскую стать. Во всем этом поусердствовала откупщичья «фамилия»⁴², и уж тут, должно быть, руководилась она не стародавними преданиями; о призренном ею проходимце разнеслись бог весть откуда-то взявшиеся слухи, что он человек не простой, а польский граф, и именно граф Б-ский.

На ту пору, как появился в Рязани этот странный человек, губернатор Кожин был в Петербурге. Однако до него дошли-таки вести об юродивом, и он написал рязанскому полицеймейстеру — взять его и строго расследовать: кто он такой, как и зачем пожаловал в Рязань. Только из этого ничего не вышло. Полицеймейстер как-то запоздал распорядиться, а тем временем девица Ч-кая увезла юродивого к себе в имение, и так секретно увезла, что рязанские власти ничего об этом и не знали. Желала ли в этом случае госпожа Ч-кая избавить проходимца того от придинок полиции, уже наметившей в нем свою жертву, действовала ли тут по своему собственному побуждению или же только исполняла поручение откупщичьей «фамилии», — об этом нельзя, да и не следует делать никаких предположений.

Юродивый граф пробыл в пронском имении Ч-ких с января и до весны 1846 года, до самого того происшествия, о котором ниже будет рассказано. Какая-то связь между происшествием этим и пребыванием у госпожи Ч-кой юродивого графа, кажется, была действительно: по крайней мере носились какие-то темные слухи, что с тех пор, как поселился этот человек у новой своей покровительницы, она сделалась будто бы раздражительнее и уже гораздо строже, чем прежде, обращалась со своими крепостными.

Весною госпоже Ч-кой вдруг понадобился садовник. Дворня у нее была малочисленная, из дворни никак не приходилось выбрать садовника. И вот возведен был в это звание малый лет шестнадцати, сын тягольного⁴³ крестьянина. Работа, на которую предназначался этот малый, была не тяжелая и не трудная: господский сад только назывался садом,— это был просто-напросто огород, и даже очень небольшой, в котором плодовых деревьев было очень немного, а кустовых растений и того меньше. Но импровизированный садовник оказался и тут крайне плох. Он работал вяло, исполнял приказания небрежно. По всей вероятности, это зависело от слабосилья малого да от неумения его взяться за незнакомую ему работу; но помещица приписывала все единственно лени и желанию упрямого малого отбиться от возложенной на него барскою волею обязанности. Поэтому частенько наказывала она его и, говорили, даже из своих рук.

Раз в пору крестьянских обедов (кстати сказать, то было в начале мая) девица Ч-кая, выйдя в сад, нашла, что садовник опять-таки не исполнил каких-то ее приказаний. Малый был тотчас же наказан за это тасканием за волосы. Но помещице показалось этого мало. Она приказала своему повару оттащить провинившегося садовника в шалаш, бывший в саду, и наказать его там «тычками», т. е. хворостинами, которые обыкновенно ставятся в горох и которые, от прошлогодней его посадки, валялись тут же у шалаша. Повар немедленно приступил к экзекуции в самом шалаше, а во входе в шалаш поместилась девица Ч-кая для наблюдения. Впрочем, наказание справлялось неловко: провинившийся малый был на ту пору по случаю холодной погоды в безрукавной шубейке из телячьей шкуры, а тычки были старые, перегнившие и от каждого удара по шубейке ломались; но наказанный, которому, могло статься, было и вовсе не больно, кричал благим матом.

Крик этот слышал отец садовника. Да и нельзя было не слышать. Изба крестьянина-отца находилась как раз против барского сада, через узенький только проулок. Надо быть, и прежде он слыхивал крики своего сына, когда его наказывали, но на ту пору уж такой грех

вышел: он не стерпел теперь этих криков — и, вероятно, потому еще, что завидел и то, как рослый и здоровенный повар повлек небрежно его малого в шалаш для пущего наказания. А на пущую беду случилось, что крестьянин обеденным своим ножом резал тогда хлеб себе для отхода в поле на работу. Не помня себя от жалости к сыну, от внезапно охватившего его раздражения, он, как был с ножом в руке, так и побежал стремглав в барский сад.

А г-жа Ч-кая, стоя у самого входа в шалаш да чересчур углубившись в свое наблюдение, не заметила подбежавшего к ней крестьянина. Он два раза ударил ее ножом в правый бок. К счастью, удары были ослаблены ватной юбкою на г-же Ч-кой, и все-таки помещица была ранена очень серьезно и довольно долго, кажется, месяца с два, тяжело болела.

Следствие об этом происшествии производило временное отделение Пронского земского суда. Я же был командирован губернатором собственно для наблюдения за ходом следствия.

Прошло уже ровно тридцать лет с того времени, а я чрезвычайно живо помню все, что было при этом следствии. Помню я и обильное красноречие бойкого пронского исправника Лаптева, часто принимавшегося за уговаривание несчастного преступника, чтобы он непременно признался во всем, — красноречие, я уверен, не полное на ту пору, потому что мое присутствие при допросах, видимо, стесняло исправника и не допускало его подкрепить словесные доводы и заключения столь обычными тогда внушительными приемами. Помню и выводившее из терпения членов временного отделения тупоумие садовника, который почти на все вопросы отвечал одним ответом, что вот, мол, барышня (т. е. г-жа Ч-кая) часто-часто бивала его, а за что бивала, про то он не знает и не ведает. Полное и странное «запирательство» преступника: он признавался только, что точно ударил барышню раз или два, но кулаком в шею, а отнюдь не ножом в бок. Членам временного отделения такое запирательство казалось в высшей степени нелепым, даже дерзким, — и именно ввиду столь многих явных улик и ран, действительно оказавшихся на г-же Ч-кой,

и ножа, найденного на месте преступления и признанного самим преступником за нож, ему принадлежащий, и показания повара, свидетеля происшествия, и показания дворовой женщины, которая видела, как преступник бежал из избы своей в барский сад с ножом в руке, крича при том какие-то ругательства против барышни. Но мне казалось, что крестьянин вовсе не притворяется, не лжет, что его забывчивость насчет этого ножа могла быть естественно объяснена тем крайним раздражением, в каком он тогда находился. Конечно, таким взглядом на заpiresательство преступника,— взглядом, по правде сказать, довольно робко выраженным, я должен был побуждать в этих членах временного отделения полнейшее пренебрежение к моей опытности. Помню наконец и истинно горестную сцену, как преступник, перед самым отправлением его в острог⁴⁴, по окончании следствия, прощался на дому своем с семьею: он стоял посреди избы, опустил низко голову и держа в руках икону; по ввалившимся, тускло-бледным щекам его катились слезы; изредка на него нападало бессилие, он начинал дрожать как в лихорадке и сильно качался; а между тем какая-то старая женщина, из семейных ли, от соседей ли, заставляла девочку трех-четырех лет кланяться в землю перед образом; другая женщина, должно быть, жена домохозяина, лежала на лавке и тихо голосила; голошенье же иной раз прерывалось долгим-долгим рыданием; были тогда в избе этой и еще люди, взрослые и дети, так помнится, но все они заслонены как-то в моей памяти и этим несчастным отцом с образом в руках, и этой девочкой, и этой женщиной, припавшей к лавке, тихо голосящей и рыдающей... (Нахожу нужным дополнить тут рассказ о преступнике, нанесшем раны г-же Ч-кой: как слышал я впоследствии, он не был сослан в Сибирь; Рязанская палата уголовного суда присудила его только к двухлетнему содержанию в арестантской роте⁴⁵.)

Но мне кажется нелишним тоже будет передать здесь еще несколько фактов о юродивом графе. Случайно я-таки увидал этого страшного человека. Довольно скоро, сколько помнится, после следствия о нанесении

раны г-же Ч-кой, понадобилось мне заехать в одну из станowych квартир⁴⁶ Пронского уезда. Самого станowego я не застал дома, а жену его нашел в большой тревоге. Чиновник особых поручений губернатора Емец, задержав где-то и почему-то юродивого графа, прислал его в стан; вот жена станowego и не знала, как с ним быть: поместить его прямехонько в арестантскую она никак не решалась, так как из бумаги чиновника Емеца видела, что в стан посылается человек, именующийся графом, который, по соображениям «становихи», впоследствии, пожалуй, окажется и бог весть каким важным графом; с другой же стороны, и всяческое, соответственное званию этого человека послабление при временном содержании его в становой квартире казалось ей крайне опасным, потому что граф, того гляди, и не захочет переночевать в стану, а надумается удрать куда ему там угодно. При таких недоумениях своих, бедная женщина все-таки распорядилась: во-первых, она поместила графа в канцелярии, приставив к нему, будто бы для его развлечения, старичка, письмоводителя своего мужа; затем, на всякий случай, приказала она созвать побольше сотских и десятских для караула в ночное время у каждого окна и у каждой двери становой квартиры; но вместе с тем она не забыла и чисто женских уловок: непрерывно потчевала графа разными наливками и вареньями, а по временам жалобно упрашивала его, чтобы сделал такую милость, не губил бы ее мужа, не оставлял бы до его приезда становой квартиры.

Распорядительная супруга станowego пристава очень обрадовалась моему приезду и тотчас же стала упрашивать, чтобы я «постарался» за нее, убедил бы графа отложить всякое намерение к побегу. Я довольно легко согласился на эту просьбу. Мне любопытно было взглянуть на человека, о котором я слышал так много странных рассказов.

Я вошел в канцелярию — и сразу юродивый граф показался мне человеком, нисколько и ни в чем не обличавшим предполагаемого в нем аристократического происхождения. А что он был, что называется «травленный волк», — это пришло мне тотчас же на мысль: при

входе моем уж что-то слишком торопливо вскочил он с места и как будто по-солдатски вдруг вытянулся. Уже поэтому я решился, впрочем, со всевозможной вежливостью, предложить ему прямой вопрос: кто он такой?

— Я граф Б-ский,— отвечал он, не запинаясь, но опять-таки с какой-то особенной торопливостью.

— Но какой вы национальности: русский или же...

— Я поляк,— вымолвил он еще торопливее.

С меня было довольно и этого. Я вышел из канцелярии в полнейшей уверенности, что видел прохожу самого простого свойства, хотя, может быть, и очень дерзкого на выдумки. Супруге станового пристава я посоветовал нисколько не верить, что ее арестант — настоящий граф, и как можно бдительнее караулить, чтобы он не убежал.

Впоследствии я слышал, что по приезде станового пристава юродивый граф был отправлен в Пронск в земский суд, а этот суд под каким-то предлогом сбыл его в Пронское городское полицейское управление. В Пронске был тогда городничим тот самый г-н Масальский, о котором я упоминал в первом отрывке этой части моих воспоминаний. Г-н Масальский, должно быть, тоже уверовал в аристократическое происхождение присланного к нему странника: он содержал его при полиции очень льготно, принимал его к себе в дом как знакомого, а в послеобеденное время пускал его гулять по живописным окрестностям города, впрочем, всегда в сопровождении полицейского солдата. И вот однажды с такой прогулки юродивый граф бежал себе преблагополучно. Пронеслись затем как-то слухи, что этот человек после огромного пожара в г. Козлове (Тамбовской губернии), случившегося, кажется, в 1848 году, был захвачен в числе многих бродяг, заподозренных в поджигательстве.

VII

Второй случай, за рассказ о котором теперь принимаюсь, гораздо характеристичнее. О нем даже тяжело и неприятно рассказывать. И тут выразилась вдруг активная со стороны крепостных людей реакция против крепостного права, но, как и в первом случае, выразилась

бессознательно, и притом как-то уж очень чудовищно. Причины же, вызвавшие случай, опять-таки всецело зависели от крепостного права, оно-то влияло тут самым страшным, самым пагубным образом и на семью помещичью, и на темный люд развращенной барской дворни.

В начале сороковых годов существовал еще в Рязском уезде помещик К-н-К-ский. Он был поляк по происхождению, служил когда-то в кавалерии, был молодец собою, ловок, и эти качества доставили ему выгодную невесту из русских помещиц, за которой он получил в вышеупомянутом уезде хорошее имение (душ в полтора-два или двести, кажется). Жена г. К-н-К-ского была женщина весьма кроткого характера, любила мужа чрезвычайно и предоставила ему полную волю управлять и распоряжаться ее имением, как он знает. Он и управлял, как мне рассказывали, со всем панским произволом — грубо, тяжело и жестоко. Но тем не менее в его собственном помещичьем хозяйстве, да и в управлении крестьянами, чувствовался всегда порядок, а при порядке, как у нас обыкновенно бывало, крепостные крестьяне довольно легко сносили крутой характер помещика и всякие повинности, на них налагаемые, лишь бы они ровно между всеми распределялись, да притом не разоряли бы их. Но если К-н-К-ский как помещик, отличавшийся в отношении крестьян имения своей жены каким-то там порядком, был все-таки сносен для них с этой именно стороны, зато в домашнем своем быту он проявлял постоянно такие черты характера, которые делали его для людей, ему наиболее близких, истинно невыносимым: он был скуп чрезвычайно, был подозрителен и раздражителен из-за сущих пустяков, одним словом, он был грубейшим и жесточайшим деспотом для своей жены; для своего единственного сына и уж, конечно, для всей своей дворовой прислуги. Деспотизм его в отношении жены и сына доходил, например, до такой степени, что он, этот мрачный и крутой домовладыка, решительно никуда не пускал их из дому — все боялся, как рассказывали, того, чтобы жена и сын, по заговору своему против него, не принесли жалобу куда-нибудь на жестокое его обращение. Замечательно тоже, что, несмотря

на свои вполне достаточные средства, он не дал своему сыну ровно никакого образования, так что тот едва-едва умел читать и писать.

Прошло с лишком двадцать лет такой мрачной жизни в помещичьем доме К-н-К-ских. Наконец сын помещика стал совершеннолетним малым, ему уже было за двадцать лет; к этому времени жена помещика преждевременно состарилась и сильно разболелась, до такой степени, что, как говорится, на ладан дышала, а сам помещик, хоть и всегда мрачный, раздражительный, состарился мало, деятельная жизнь среди довольно обширного деревенского хозяйства поддерживала его; он все еще был свеж, крепок, даже молодцеват. И вот этот крепкий помещик богу душу отдал внезапно, без христианского покаяния. Однажды рано утром отправился он по обыкновению осматривать свой небольшой, но очень исправно содержимый конский завод — и уже не воротился оттуда живым. По официальному следствию о причине смерти помещика К-н-К-ского оказалось, что его убил наповал ударом копыт прямо в голову рьяный заводский жеребец, стоявший в «отделе».

Так выходило по официальному следствию, впрочем, на основании вполне ясных, ничем не опровергнутых признаков происшествия. Мне рассказывали однако, что еще довольно рано прорвались будто бы темные слухи, что происшествие с помещиком К-н-К-ским было вовсе не так, как оно выведено в следствии, что тут была не случайная смерть, а насильственная. Уж не знаю: носились ли такие слухи на самом деле, даже сомневаюсь, чтобы они были: мне кажется, что слухи эти все-таки пронесли бы далеко, дошли бы куда следует и дело не обошлось бы без разных дознаний и преследований.

По смерти старика К-н-К-ского жена его, чуть было не умершая от этого внезапного удара, оправилась, однако, довольно скоро, даже несколько поздоровела, и сама стала управлять своим имением, по крайней мере старалась управлять, так как в этом деле ей много мешал сын ее.

Молодой К-н-К-ский скорехонько же по смерти отца обнаружил во всей силе очень дурные качества. Он

предавался постоянно сильнейшему пьянству, во хмелю часто бывал очень буен, а сверх того чрез меру развратничал в домашнем быту. Впрочем, он пьянствовал и развратничал всегда дома, отнюдь никуда не отлучаясь, что, вероятно, зависело всего более от привычки не отлучаться из дому, усвоенной еще при отце, а может быть, и мать его желала, чтобы он уж лучше дома предавался любимому своему времяпрепровождению. Кста-ти же сказать, молодой К-н-К-ский как-то побаивался своей матери, даже до такой степени, что и в пьяном виде очень посдерживался от безобразного буйства, как только мать, вовремя извещенная о буйстве, примется, бывало, уговаривать его. Она же несколько унимала его и от домашнего разврата.

Так, однажды энергически воспротивилась она покушениям его на девушку лет 15—16, которую она очень любила, берегла и держала всегда при себе. Всего же более госпожа К-н-К-ская сдерживала сына своего от жестокого обращения с крестьянами и дворовыми, но, кажется, это не всегда ей удавалось.

Таким образом прошло в имении К-н-К-ских от времени смерти старого помещика еще лет пять или шесть, а может быть, несколько и более. Катастрофа позамедлила, но была неминуема.

Молодой К-н-К-ский не долго помнил про строгий запрет своей матери насчет ее любимицы. Он все-таки хотел добиться своей развратной цели, но только уже не насильством, а разными приманками, улещиваньями да частыми приставами. А девочка была шаловлива, и на этот раз, уже не жалуюсь барыне, решилась сама «проучить» барина за его назойливость. Про это намерение свое она сообщила еще двум или трем ровесницам-подругам, которые и согласились с большою охотою участвовать в проучении барина. Надо думать, что все эти девушки решились на предположенный ими подвиг не столько по юркости молоденьких шаловливых характеров, не с расчетом, что старая барыня непременно заступится за них, когда узнает, что именно побудило их к проделке с барином, сколько потому, что они ни-

чуть не уважали и не боялись этого барина, хоть он и выказывал иногда жестокость, напоминавшую его отца.

Для успешного выполнения задуманной проделки любимица барыни назначила барину свидание в риге⁴⁷, конечно, ночной порою. Там она и подруги ее решились просто-напросто хорошенько поколотить барина.

И вот, когда они отправлялись в ригу, пришлось им пробираться мимо старика-конюха, который на ту пору рубил дрова. Девушки пробирались, весело посмеиваясь и вполголоса беспрерывно болтая. Уже поэтому нельзя было не заметить их. Конюх заметил их и остановил суровым окриком.

— Куда вы? — стал он спрашивать настойчиво, да к тому прибавил, что не пустит дальше, если они не скажут, куда идут.

— В ригу, — отвечали они наконец.

Но конюх не удовлетворился этим, стал опять спрашивать: зачем это понадобилось им в ригу. Сначала они не хотели было сказать, а когда старик тоже заупрямился и объявил наотрез, что пропустит их дальше лишь в том случае, как они про все ему скажут, они откровенно признались, с каким намерением отправляются в ригу.

— И я с вами, — коротко промолвил конюх.

И он пошел с ними, захватив с собою топор.

Заметили ли это девушки, — уж бог весть; а впрочем, навряд ли заметили: на уме у них, конечно, было одно забавное похождение, которое должно было еще веселее им представляться, когда присоединился к ним конюх: с ним было не так жутко в темной риге.

Придя на место, девушки тотчас же укрылись в глубь риги, а старик-конюх поместился у самого входа, за вереею⁴⁸ ворот. Через несколько времени прибыл и барин. Сначала, еще снаружи он спросил потихоньку, тут ли девушка, назначившая ему свидание. В ответ явственно пискнул девичий голосок. Барин, широко расставив руки, стал осторожно входить в ригу, и вдруг выскочивший из-за двери конюх нанес ему топором страшный удар в голову. Молодой К-н-К-ский был убит сразу, наповал.

Конюх и не подумал как-нибудь увернуться от следствия и суда. Он немедленно сознался в своем престу-



Благотетельница.
С картины маслом К. Трутовского

плении. Но не скрыл он тоже и причины, по которой так невзначай решился на страшное дело.

По рассказам преступника на следствии (кто же производил следствие, я не знаю, и вообще обо всем этом деле я имею частные, довольно отрывочные, хотя, кажется, и достоверные сведения), оказывалось будто бы следующее:

Старик К-н-К-ский был убит не жеребцом, а тем самым конюхом, который убил молодого К-н-К-ского; в убийстве старика участвовал еще какой-то дворовый человек; подговорил же их обоих к этому преступлению будто бы сын старика-помещика, и из-за того будто бы, что ему, сыну этому, чересчур надоели деспотическая власть сурового и скупого отца, постоянно дурное его обращение с ним и то зависимое положение, в каком всегда находился взрослый молодой человек, к умственному труду и к серьезным занятиям нисколько не приученный, а оттого с каждым днем все сильнее жаждавший самого широкого простора для своей порочной воли. Скрыть убийство старика удалось довольно легко, при содействии молодого барина и при том счастливом для преступников обстоятельстве, что удар копыт жеребца, к которому они подтащили убитого старика, пришелся сразу по голове, уже перед тем раздробленной,— так хорошо пришелся, что представлял вполне достаточную вероятность смерти именно от этого удара. Кстати же случилось, что и преступление было совершено в том «отделе». Наконец надо еще принять во внимание и то, что жена старика К-н-К-ского, несомненно, не знала об этом убийстве, по крайней мере сначала не знала, так как впоследствии, может быть, несчастная эта женщина и догадывалась о том, как погиб ее муж и какое участие в этом принимал ее единственный сын... Конюх рассказывал тоже, что молодой барин соблазнил как его, так и его соучастника, к преступлению против старого барина обещаниями не только отпустить их немедленно на волю, но и щедро наградить деньгами. Однако обещаний этих он нисколько не исполнил, да и не мог исполнить, особенно первого: преступники, умертвившие его отца, были крепостными его матери, которая, конечно, не могла

же отпустить на волю людей, не имея в виду для этого никакой достаточной причины. Оттого лишь соучастник с конюхом в преступлении получил некоторую льготу, — он был отпущен на оброк, по паспорту, с которым и ушел куда-то из имения; конюх же ровно ничего не получил за свое страшное дело. Из его показаний оказывалось, что он питал против молодого барина постоянную злобу и постоянно хотел отомстить ему как за невыполнение обещаний, так и за то, что барин соблазнил его на грех, непрестанно тяготивший его душу.

Чем окончилось дело в отношении собственно девушек, подавших повод к убийству молодого К-н-К-ского, — мне доподлинно неизвестно; но, кажется, что и они были наказаны и сосланы...

На этом можно бы было и закончить о семействе К-н-К-ских; но последовавшие за вторым убийством обстоятельства так странно слагались для третьего лица, близкого с побочной стороны к этому же семейству, что я решаюсь и о них рассказать, хотя рассказ мой будет и чересчур эпизодичным для содержания настоящего отрывка моих воспоминаний. Впрочем, я делаю так и не без некоторой особенной цели...

Госпожа К-н-К-ская перенесла новый семейный удар. Она и не совсем осиротела. На утешение ей осталось еще близкое существо, родной внук ее, побочный сын молодого К-н-К-ского. Старуха-бабка сосредоточила всю свою любовь на этом мальчике и пока жила после второй в семействе катастрофы, все думала, все заботилась, как бы наилучшим образом обеспечить будущее материальное положение своего внука. Первым делом она отпустила на волю его мать, крепостную свою дворовую девушку, и дала ей какую-то сумму, дабы не нуждалась она по смерти. Вместе с тем, конечно, выдала она отпускную и внуку, записав его тотчас же купцом по первой гильдии⁴⁹ с тем расчетом, чтобы ко времени его совершеннолетия он мог бы иметь звание потомственного почетного гражданина⁵⁰. Наконец она продала все свое имение и весь капитал, вырученный по этой продаже и простиравшийся до ста тысяч рублей серебром, предложила оставить по завещанию тому же своему внуку.

Но бедная старуха, кажется, несколько запоздала распорядиться по всей своей воле насчет самого важного дела, т. е. насчет духовного завещания, запоздала потому, что все приискивала человека, который мог бы быть надежным ее душеприказчиком⁵¹ и хорошим опекуном над малолетним ее внуком, так как матери этого мальчика, женщине хотя весьма доброй, кроткой и скромной, но простой, даже не грамотной, она не считала возможным поручить попечение о его воспитании и образовании, а также и вообще всякие заботы по опекунству. Предсмертная болезнь быстро застигла госпожу К-н-К-скую. Впрочем, духовное завещание было составлено вовремя, чтобы она могла подписать его. Писал это завещание столоничальник⁵² одной из Рязанских судебных палат — и в документ этот включены были следующие две статьи, в которых проглядывало, так сказать, нечто особенное: во-первых, столоничальнику, составителю духовного завещания, предоставлялось, в вознаграждение, уж бог весть за какие его труды, три тысячи рублей серебром; во-вторых, он же, столоничальник, назначался душеприказчиком завещательницы и ему же вверено было опекунство и попечительство над малолетним внуком госпожи К-н-К-ской, с тем еще весьма значительным условием, что если опекаемый умрет до своего совершеннолетия, то весь капитал, завещанный ему К-н-К-скою, поступает в полное и безотчетное распоряжение столоничальника же для раздач, по его усмотрению, на монастыри, церкви и на разные благотворительные учреждения. Как видно из всего этого, судьба мальчика обеспечивалась как-то особенно.

После смерти завещательницы внук ее (кстати сказать, ему было тогда лет около десяти) жил некоторое время в доме того столоничальника, душеприказчика и опекуна, и при нем жила сначала его мать. Но скоро столоничальник и проживавшая у него в качестве домоправительницы какая-то женщина выжили от себя мать опекаемого. А между тем положение мальчика, богатого наследника, сделалось тягостным для него в высшей степени: он был одет очень дурно и недостаточно для холодного времени, ходил в таких сапогах,

что пальцы ног свободно выглядывали из продранных носков; кормили его, как слышно было, опять-таки недостаточно, а ко всему этому и обращение с ним было чрезвычайно грубое.

Обо всем этом доведено было до сведения тогдашнего рязанского гражданского губернатора Петра Петровича Новосильцева. Он горячо принял к сердцу положение бедного мальчика. Говорили, что столоначальнику-опекуну пришлось выслушать от вспыльчивого губернатора весьма резкий и тяжелый выговор. Впрочем, к счастью для мальчика, дело не кончилось лишь одним окриком: губернатор строжайше приказал опекуну немедленно же отдать мальчика пансионером⁵³ к учителю французского языка при рязанской гимназии, очень доброму старику Барбею, что и было исполнено и чем мать мальчика была успокоена и обрадована.

Так я слышал об этих страшных и странных делах, роковым образом совершившихся в помещичьем семействе К-н-К-ских. Про все мною тогда слышанное я помню хорошо, но все-таки считаю необходимым опять оговориться: в настоящем случае, известном мне единственно понаслуху, я никак не могу поручиться за полную во всех подробностях достоверность вышеизложенных фактов.

Кстати, дальнейшая судьба внука госпожи К-н-К-ской мне совсем неизвестна, так как почти одновременно с помещением его к учителю Барбею я переселился на житье в Москву. Впрочем, надеюсь,— и дай бог, чтобы это было так,— надеюсь, что спокойно, безбедно вырос этот наследник несчастного рода, что миновали-таки его всяческие невзгоды...

VIII

Подводить ли итоги ко всему рассказанному? Пожалуй, что и не надо бы, по крайней мере в смысле доказательства, что крестьянские волнения в последнее десятилетие перед Крестьянской реформой уже весьма сильно и всесторонне указывали на необходимость как можно скорее и решительнее покончить с крепостным

правом. Об этом, и в применении не к одной только Рязанской губернии, я уже упоминал, хотя, может быть, и не совсем достаточно. Итак, я повторяю лишь мельком, одним общим замечанием, что крестьянское население, уже само по себе, проявляло тогда признаки готовности устранить себя из-под тяготевшего над ним слишком долго крепостного права. Но затем мне хотелось бы теперь побольше разъяснить, в каком отношении находилось тогда общественное сознание к этим признакам времени, которые должны же были вызывать людей, доселе очень спокойно пользовавшихся крепостным правом, к тому, чтобы наконец подумать о невозможности, в видах собственного же спокойствия, придерживаться долее за это право.

Начну несколько издалека, но буду говорить на основании фактов, хотя отрывочных, даже и вовсе, по видимому, не имеющих между собою связи, а все-таки, по мнению моему, к делу относящихся и потому стоящих внимания.

Известно, что в прошлое царствование⁵⁴ правительство постоянно было озабочено приисканием мер к освобождению крестьян из-под крепостной зависимости, что для этого существовал особый Секретный комитет⁵⁵, что меры для достижения вышеуказанной цели не только приискивались, проектировались, но по временам в виде опытов существенно, так сказать, затрагивали крепостное право. К подобным мерам должно отнести и Указ 8 ноября 1847 года, предоставлявший помещичьим крестьянам право выкупаться при продаже их с аукционного торга. Не знаю, как в других местностях России, но в Рязанской губернии не было ни одного случая, из которого сказывалось бы, что какие-нибудь крестьяне, подлежащие аукционной продаже, могли воспользоваться этим правом выкупа,— я не думаю даже, чтобы и попытки были на это. Помню, как губернатор Кожин рассказывал однажды, что его спрашивали (то случилось года через полтора или через два по опубликовании Указа 8 ноября 1847 года), были ли у него в губернии примеры, что крестьяне выкупали себя на аукционных торгах? Он отвечал, что таких примеров еще не было и

крестьяне даже ни разу не являлись торговаться, и на это сделано было общее замечание, что «так и должно было ожидать», что «во всяком случае то была полумера»... Но если вышеупомянутое распоряжение и казалось тогда, в применении к существу дела, как будто только полумерою, то все-таки несомненно, что оно не прошло даром для народной жизни: оно имело значение и в последовательном развитии правительственной мысли, заботливо обращенной к положению крепостного населения; оно должно было отрадно отразиться и в народных надеждах на освобождение от крепостной неволи, тягость которой год от году чувствовалась все сильнее и сильнее; оно должно было иметь большое, особенное влияние на губернскую администрацию, указывая ей, хотя и косвенно, но грозно, что мысль правительства неуклонно стремится к уничтожению тех порядков в русском гражданском обществе, для отстаивания которых она, эта администрация, в тупом своем усердии, готова была всегда действовать уж чисто очертя голову. Я даже уверен, что если усмирения крестьянских бунтов стали делаться год от году все тише и тише, то это много зависело от вышеупомянутого Указа 8 ноября 1847 года, столь явственно для всех признавшего за помещичьими крестьянами право освобождаться посредством выкупа от крепостной зависимости, а через то для всех явственно же заявившего, что эта крепостная зависимость для трудового народа, по мысли правительства, не может быть более терпима.

Да, под конец существования крепостного права усмирения крестьянских волнений стали гораздо тише, а на исследование причин этих волнений обращалось больше внимания. Я уже говорил об этом при описании каждого отдельного случая и повторяю теперь с тою целью, дабы сказать самым утвердительным образом, что губернская администрация как-то вдруг тогда поугомонила. Мне отрадно выставить здесь пример решительно справедливого отношения к крестьянам, оказавшим неповиновение помещичьей власти: то было именно с арцыбашевцами помещика Тарасенко-Отрешкова. Исправлявший в то время должность рязанского

гражданского губернатора обратил особенное внимание на дело арцыбашевцев и одновременно с приведением их в повиновение помещику принял действительные меры к тому, чтобы следствие о причинах волнения крестьян г-на Тарасенко-Отрешкова могло бы наивозможно точнее раскрыть, как было доведено сельцо Арцыбашево до продажи в опекунском совете⁵⁶ с аукционного торга (от каковой продажи, по безошибочному мнению губернатора, и произошла вся эта несчастная история); для этого он вытребовал к себе из скопинской дворянской опеки⁵⁷ «дело об опекунском управлении имения умерших помещиков Смирновых», внимательно прочитал его, сам перенумеровал и скрепил по листам — и затем сдал его опять в опеку, до истребования к следствию. Конечно, такое отношение начальника губернии к делу арцыбашевцев много облегчило производство следствия о причинах волнения этих крестьян, предохранив целостность тех данных, которые могли обнаружить всю махинацию по продаже имения Смирновых, и понятно, что через это все дело получило сразу надлежащее направление.

Кстати же о деле арцыбашевцев. Мне приходит теперь на память еще такой незначительный, уж чересчур отрывочный, а все-таки, по-моему, характерный для того времени случай: перед самым отъездом моим из Рязани в сельцо Арцыбашево заехал я в клуб, пробыл там несколько времени и наконец стал ужинать в столовой. Тут подсел ко мне некто г-н С-н, человек умный, образованный, но не совсем-таки приятный по чрезвычайной резкости отзывов о людях и вообще всяческих своих суждений. Он спросил меня, правда ли, что мне поручено следствие об арцыбашевском так называемом бунте. Я отвечал, что правда и что еду туда завтра же. Тогда он заметил с обыкновенной своей резкостью:

— Ну и что ж, еще раз угостите этих несчастных арцыбашевцев «славянофильским пивом», каким их угощали уже вдоволь?

Тут был намек, нисколько ко мне не относящийся; однако досада меня взяла большая и за предположение, что стану угощать арцыбашевцев «славянофильским пивом», и даже за эту фразу о «славянофильском пиве», —

фразу, по правде сказать, очень нелепую и ни на чем не основанную. Я отвечал, и тоже резко, прежде всего о нелепости этого «славянофильского пива», а кстати, в виде невольного оправдания, упомянул-таки, что при усмирении имени г-на Тарасенко-Отрешкова я даже не был.

Повторяю, маленький случай этот кажется мне характеристичным — именно потому, что в нем выразился, хотя еще неясный и в форме довольно нелепой, но все-таки слышный ропот общественного мнения о таком важном предмете в общественной жизни, каким было тогда для всех гражданских отношений крепостное право. В самом деле, за два, за три года перед тем этот же г-н С-н, наверное, не осмелился бы высказывать в клубе и при посторонних свидетелях и сочувствие к «несчастливым» арцыбашевцам, и резкий укор за меры к усмирению этих «бунтовщиков», — он, пожалуй, постерегся бы даже поднимать самый скромный разговор о таком щекотливом предмете, а в то время, про которое веду теперь речь, т. е. в 1856 году, уже не один г-н С-н высказывался, не таясь и ничем не стесняясь, о происшествиях, затрагивавших как-нибудь крепостное право, а о помещиках, злоупотреблявших этим правом, нередко слышались отзывы очень громкие и жесткие. Про дела о крепостных отношениях стали тогда разговаривать даже в публичных собраниях, например в клубах, где, как известно, обычные занятия членов и гостей, казалось бы, отнюдь не соответствовали подобным разговорам. Правда, разговоры эти по большей части велись не в том смысле, в каком говорил со мною г-н С-н; правда, что чаще всего осуждались крестьяне, осмелившиеся выказывать нетерпение к гнету над ними крепостного произвола; но уже и то было замечательно, что крестьянскими бунтами и всем, что относилось к ним, даже причинами, по которым они возникали, интересовались тогда уже чрезвычайно. Помню, как, бывало, расспрашивали всякого, от кого можно было получить какие-либо сведения о новом крестьянском бунте, расспрашивали и в одиночку, и целыми сборищами. Даже завзятые картежники не сразу усаживались за зеленые

столы⁵⁸, когда входил в клуб человек, от которого можно было раздобыться подобными сведениями. Помню тоже и разговоры, прорывавшиеся тогда по поводу разных рассказов о крестьянах и о помещиках: сначала обыкновенно слышались те осуждения, о которых я выше упомянул,— осуждения огульные и беспощадные, потом горькие сетования на то, что «в тяжелое, дескать, время приходится жить» и что «прежде, еще так недавно, ничего подобного не случалось, а если и случалось, то очень редко, раз какой-нибудь за целое десятилетие»; далее высказывались робкие догадки: «отчего, дескать, все такое стало случаться, да и часто случаться,— что ни год, то новая история, а в ином году и по нескольку историй?» Тут иногда завязывались жаркие споры. Были уже люди, хотя еще и очень немногие, которые решались довольно твердо высказывать, что главнейшая, чуть ли не единственная причина крестьянских волнений — именно произвольные поступки помещиков, поступки, пожалуй, и неминуемые при крепостном праве. Конечно, такие мнения очень сердито опровергались, и замечательно,— этими опровержениями особенно отличались губернские чиновники, разные там советники и ассессоры палат, все люди, стремившиеся успокоиться на закате дней своих в благоприобретенных деревушках. А наконец слышал я, как чуть не общим хором выражались опасения, хотя в тоне довольно робком и крайне неопределенном, что при таком направлении крестьян к бунтам целыми имениями, к ослушаниям против властей, к покушениям на жизнь помещиков и на оскорбления их побоями,— уже нечего доброго ждать и в будущем...

В последнем роде опасения всего больше слышались под самый конец взятого мною периода времени, именно за год, за полтора перед началом дела об освобождении крестьян от крепостной зависимости,— когда начали частенько проноситься слухи, что там-то и там-то побили или просто-напросто высекли помещиков. Таких слухов было в то время довольно много, и все они были не без основания, хотя, сколько мне известно, лишь в одном

случае дело об избитии помещика дворовыми его людьми было обследовано формальным порядком*. Вообще опасения насчет будущего положения крепостных отношений, насчет как будто бы уже и неминуемого с каждым годом усиления реакции со стороны самих крестьян против крепостного права, сделались к тому времени чем-то нормальным в обществе как между помещиками, так и между чиновниками. Из-за таких опасений всем заинтересованным в деле лицам становилось очень неловко с этим крепостным правом, которое все-таки по старой памяти признавалось за необходимое для России учреждение.

Я придаю этим помещичьим и чиновничьим страхам особенное значение, и даже в обширном смысле: думается мне, что через них-то именно и началось общественное сознание относительно необходимости порешить окончательно с крепостным правом.

В вящее доказательство того, как сильно тревожилось тогдашнее рязанское общество, и чиновники и помещики, укажу на следующие два примера:

Усмирение дедновского бунта, описанное мною в «Древней и Новой России»^{59**}, произошло уж чисто на старый лад, т. е. самым беспощадным для крестьян образом, оттого именно, что уездное чиновничество, да и губернская администрация, находились на ту пору в напряженно-тревожном расположении духа. Все эти чиновники и администраторы всполошились тогда страшно, как в прежнее время ни за что бы не всполошились. Самым простым обстоятельством, образовавшимся на миру дедновском вследствие отыскивания тамошними крестьянами свободы из крепостного владения, придано было значение начинающегося и весьма опасного по тогдашнему времени бунта, и вот бунт дедновский был усмирён преусердно, так усмирён, что тяжело даже

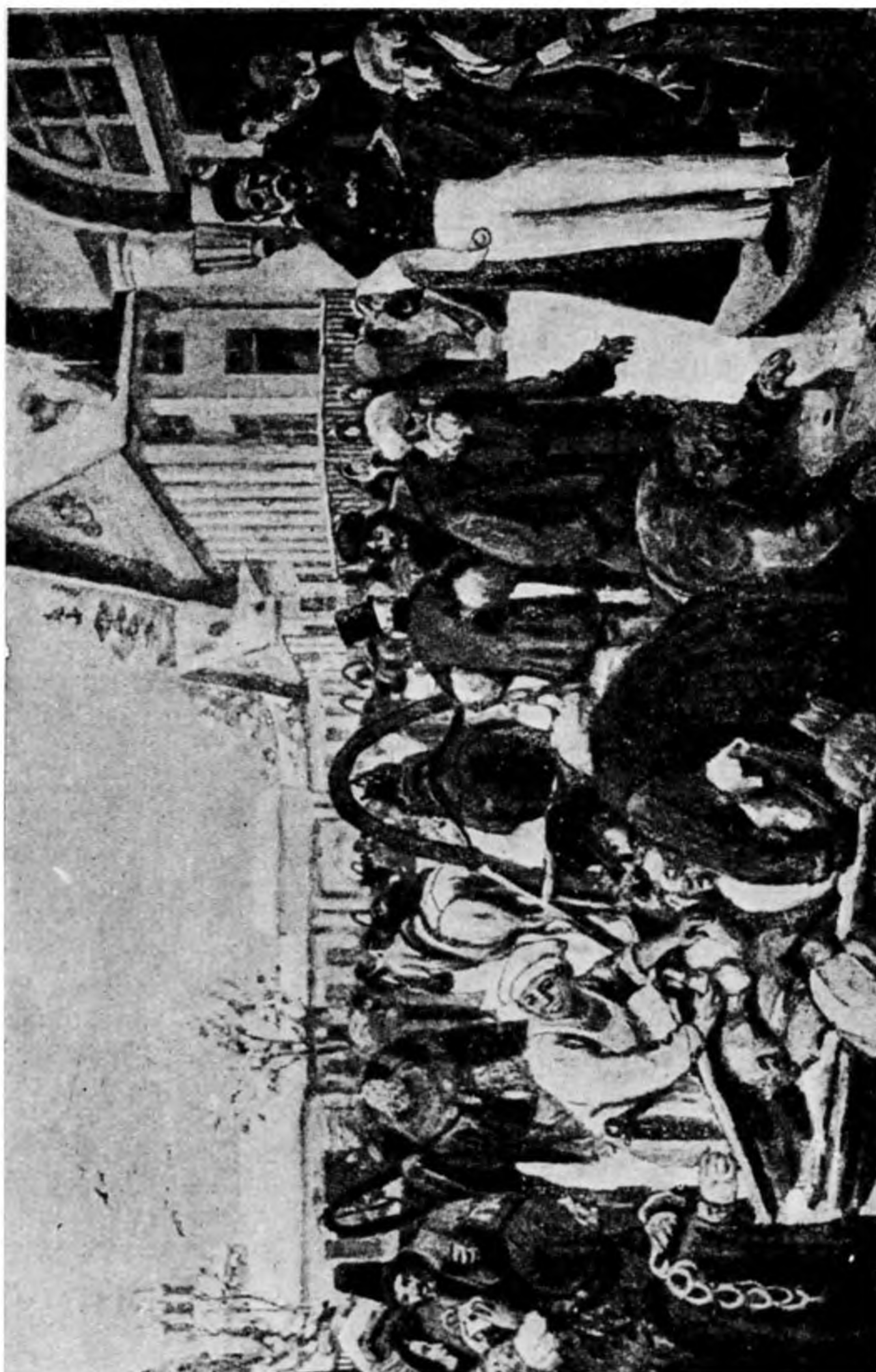
* Случай этот, замечательный по многим отношениям, огласился невзначай, и поэтому только подвергся формальному обследованию; а то обыкновенно помещики, подпавшие «проучению» от дворовых или крестьян, всячески старались, чтобы это не обнаруживалось.

** См. статью мою: «Генерал Измайлов и его дворня» в № 10 «Древней и Новой России» за 1876 год, с. 162—168 (в наст. изд. см. с. 49—65.— *Ред.*).

вспомнить об этом... Но я уверен, что если бы не было тех опасений, о которых я говорил выше и которые начались еще до слухов о неминувости крестьянской реформы, не было бы даже никакого, не только что преусердного, усмирения бунта в селе Деднове.

Громадное впечатление произведено было в Рязанской губернии высочайшим рескриптом генерал-губернатору Северо-Западного края⁶⁰ по поводу предположенного улучшения быта тамошних крепостных крестьян. В той части губернии, которая ближе прочих уездов к Москве, многие помещики сразу поняли настоящее значение рескрипта и для всей России,— тем легче поняли, что из Москвы очень скоро дошли слухи, разъяснявшие дело. И вот однажды при мне, в аристократическом помещичьем семействе, молодая, умная и образованная девушка громко и тревожно выразила мнение, что для избежания неминуемых страшных опасностей от крестьян, «которые непременно все взбунтуются, как только начнется дело отмены крепостного права», надо помещикам, богатым и даже хоть сколько-нибудь состоятельным, немедленно «эмигрировать» за границу, а тем, которые не имеют средств для этого, перебраться в большие города. Правда, против этого странного мнения возражали, но робко, как будто тоскливо, и заметно было, что возражавшие внутренне находят это мнение совершенно справедливым. Я уверен, что тут сказалась не женская слабонервность, затронутая сильным впечатлением от слухов о предстоящей великой реформе,— тут отразились страхи целой среды, широко и вдруг развившиеся именно потому, что они были подготовлены еще издалека.

Мнения и толки о необходимости в особенных и заранее принятых мерах к предохранению всех и каждого из помещиков от насилий со стороны крестьян я слышал впоследствии и не от женщин, а от многих мужчин, и от таких, у которых отнюдь нельзя было предполагать нервного расстройства; притом я слышал такие же мнения не в одной Рязанской губернии, но и в Москве. Впрочем, не скажу, чтобы тогда в помещичьей среде выразилась общая паника, заставлявшая, что называется,



Привоз крепостными провизии помещику.
С картины маслом М. М. Зайцева

терять голову; паники, пожалуй, было даже меньше, чем можно было бы ожидать, ввиду внезапности предстоявшей реформы и общей неподготовленности помещиков к реформе; но несомненно, что страхи большие в вышеуказанном мною смысле существовали тогда, особенно же на первых порах, как началось дело об отмене крепостного права, и страхи эти — повторяю — возникли не с появлением этого дела, а гораздо прежде; образовались же они, как я думаю, именно вследствие тех крестьянских волнений, которые за последнее десятилетие перед 1857 годом стали случаться часто, стали обходить уезд за уездом.

Но как напрасны, как неосновательны были все эти страхи! Русский народ в великую эпоху Крестьянской реформы доказал самым явственным образом великую силу своего разума. Он спокойно и правильно оценил, что совершается для него мудрою и благою волею, он ждал и дождался реформы вообще с замечательным спокойствием и, таким образом, был вполне достоин дарованной ему свободы. Это всем памятно. На наших глазах великая Крестьянская реформа, поднимавшая в не подготовившихся к ней людях столько опасений, прошла поистине благополучно.

Невольно приходят мне теперь на память две ночи, описанием которых я и закончу мой рассказ. Думается, что описание это будет довольно кстати.

5 марта 1861 года⁶¹, что приходилось как раз в последний день «широкой» Масленицы, в так называемое у народа «прощёное воскресенье», был объявлен в Москве, с самого утра, высочайший Манифест 19 февраля, даровавший гражданскую и экономическую свободу для двадцати миллионов русских трудовых людей и тем вообще полагавший для России основы новой, разумной и правильной гражданской жизни. День навеки незабвенный, поистине великий, удовлетворявший всем чистым, правдивым и добрым надеждам всех, кто истинно любил отечество, кто желал ему всякого добра! Воспоминание о дне исполнения этих надежд всегда наполняет душу умилением.

В Москве, как месте центральном для тех великороссийских губерний, где сосредоточивалось наиболее крепостного народонаселения, ожидали решения крестьянского вопроса с особенным, крайне напряженным нетерпением. В конце 1860-го и в начале 1861 года ожидания эти становились все сильнее и сильнее. Иногда же самые бестолковые слухи бог весть откуда прорывались — и придавали тем ожиданиям престранное направление. И мало ль какие надежды тут зарождались.

Несмотря на разные подготовительные меры, на образование учреждений, в которых должно было ведаться крестьянское дело, несмотря на все, что должно было окончательно утверждать в общественном сознании мысль о неминувости скорого разрешения крестьянского вопроса именно в смысле отмены крепостного права, были, однако, предположения, что поднятое правительством дело все-таки может быть отсрочено на неопределенное время, а там могут появиться смягчения в первоначальной мысли об этом деле, а со смягчениями — когда-то еще оно порешится... Несомненно, что эти надежды при вышеупомянутой неподготовленности многих из заинтересованных в деле лиц основывались тоже на разных опасениях.

Их было много, этих опасений, так много, что про все теперь и не вспомнишь. Они разыгрывались при всяких случаях, питались различными соображениями. Так, например, особенно много говорили про какие-то будто бы приготовления на случай могущих быть волнений, про какое-то разделение Москвы в военном отношении...⁶² Упоминая про эти ожидания и надежды, про эти опасения и слухи, я имею в виду лишь одну и не особенно большую и не очень-то важную часть московского народонаселения, именно ту, которая, опять-таки по неподготовленности своей, никак не могла сообразить, до какой именно степени затрагивается она предстоящей реформой в материальных своих интересах, которая к тому же чересчур уже натревожилась и напугалась разными страхами. Что же касается до простого народа в Москве, то, насколько я мог подметить, он ждал со-

вершенно терпеливо, ничуть не волнуясь, не допуская никаких сомнений насчет решения великого дела.

Но несмотря на всеобщий интерес к этому великому делу, на всеобщие вышеупомянутые ожидания, очень немногим в Москве было известно, когда именно разрешится чем-нибудь крестьянский вопрос. По всей вероятности, для громадного большинства всего московского народонаселения объявление в день 5 марта высочайшего манифеста о реформе было столь же поразительно, как был бы для него поразителен сильный удар грома, вдруг нежданно-негаданно раздавшийся посреди зимнего морозного дня. По правде сказать, хоть я и ждал с часу на час манифеста, но был поражен как чем-то совсем неожиданным.

Живо помню: утром 5 марта, только что проснувшись, по сосредоточенному и торжественному выражению лица моего дворового человека Емельяна Кузьмича я как-то вдруг и как-то тревожно догадался, что у него есть чрезвычайно важная для меня новость. Но вдруг же явилась и другая догадка — насчет значения новости. Я напрямик спросил: «Не был ли, Емельян Кузьмич, в церкви? Не читали ли там манифест государев о крестьянской воле?..» Он отвечал с какой-то неопределенной улыбкой, что точно, был в церкви, что точно и манифест государев читали... «Так бы ты и сказал сразу, Емельян Кузьмич!..»

Нельзя было усидеть дома, так и подмывало из дому, и раным-рано пустился я разъезжать по всем, впрочем, немногочисленным моим знакомым.

Чрезвычайно сильны и разнообразны были впечатления, произведенные на этих знакомых моих великой новостью. У иных я заметил неподдельное радостное чувство; иные, напротив, были страшно встревожены и находились в каком-то тупом и странном недоумении насчет всего смысла великого события; наконец еще иные, уже, видимо, победившие первоначальную тревогу, просто-напросто выражались: «Что, дескать, нужен же был конец так громко начатому делу, и хорошо, что конец настал-таки довольно скоро; но только, что же это будет теперь, как все это развяжется, как крепостной люд

встретит такую коренную реформу: хватит ли у него и здравого смысла, и доброй воли на то, чтобы с терпением, с разумной уверенностью в своих требованиях подчиниться всем законным распоряжениям, какие будут приняты при переходе крепостных в свободное состояние, какие необходимо должны быть приняты для справедливого ограждения прав и интересов другой стороны...» и проч., и проч., все в этом же роде.

Я должен заметить однако, что так говорили вовсе не крепостники. То были люди умные и честные, люди, даже сочувствовавшие реформе, но слишком вдававшиеся, по крайней мере на первых порах, при соображениях своих о последствиях реформы, в разные подробности, в мелочные, хотя, может быть, и весьма практические расчеты. А главное — все эти господа были на ту пору под сильнейшим влиянием опасений относительно того, как примет народ осуществившуюся наконец реформу. Опасения эти проглядывали даже у тех, кто неподдельно радовался освобождению народа из-под крепостной зависимости.

По правде сказать, и я поддался этим опасениям. Невольно что-то очень тревожное прокралось в мысли, направленные все на один и тот же предмет. Уж не знаю почему: подсказал ли мне кто-нибудь, самому ли пришло это в голову, но все мерещилось и мерещилось, что вот нынче — последний день «широкой» Масленицы, что в этот-то день простой народ предается особенно сильно разгулу, и с самого раннего утра, что при таком разгуле бог весть как подействует на него наконец объявление многожеланной воли, что, одним словом, как бы в эту же самую ночь, за разгульным-то днем да под влиянием сильно возбужденных чувств, не случилось бы чего-нибудь такого, в чем, пожалуй, мятежно и страшно выразятся и старые ненависти, и новые чрезмерные надежды... Каюсь в этих трусливых соображениях. Впрочем, думается мне, что им и легко было поддаться при той напряженности чувств и мыслей, которая была у меня с самого того утра.

Я очень обрадовался приглашению в этот день на обед к одному моему знакомому. На чужих людях, по-

думалось мне, и смерть красна, по пословице: на чужих людях скорее и легче уляжется хандра моя. Притом я мог узнать там новости из Петербурга об объявлении в этом городе манифеста.

Этот знакомый был московский старожил, известный и многохваленный когда-то литератор (начинавший в то время уже терять свою литературную славу), главное, человек очень умный, добрый и очень любезный. В тот день обедало у него и еще несколько гостей, более или менее тоже близких к литературному миру. Хозяин наш, как и всегда, был приветлив с гостями и умно-говорлив. Разумеется, и перед обедом и за обедом говорили все об одном — о манифесте, благословляли искренно мудрую волю, даровавшую свободу столь многим трудовым людям. Беседа была чрезвычайно оживленная. Однако мне показалось, что хозяин наш, как ни говорлив, как ни старается поддерживать беседу все в одном, несколько восторженном настроении, внутренне озабочен чем-то, как будто встревожен, и даже сильно встревожен. Зная хорошо его убеждения, я, конечно, и не подумал, что в этой озабоченности, в этой тревоге действуют живо затронутые помещичьи расчеты (хозяин наш был довольно крупный помещик), но мне невольно пришло в голову, что он находится под влиянием тех, чуть ли не общих тогда в московском обществе страхов, про которые я выше упоминал.

К концу обеда, затянувшегося довольно долго благодаря оживленной беседе и тостам, приехал председатель Московского коммерческого суда⁶³ А. В. Назаров. Он тотчас же и наскоро объявил нам, что многие из москвичей, сочувствующих великой реформе, желают теперь же основать посредством пожертвований особый фонд для обеспечения престарелых и больных дворовых людей, так как вообще по положению о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, дворовые люди не получают вовсе земельного надела и, конечно, никакой оседлости в тех имениях, к которым они приписаны по ревизии, людей же этих, как известно, очень много, с лишком миллион, и что вот для этой-то цели нынче же вечером все желающие помочь обездоленным дворовым соберутся в

гостинице Самаринской, что насупротив Кремлевского сада. Затем г-н Назаров обратился к нам с вопросом: не пожелаем ли и мы участвовать в этом добром деле. Но с особенной настойчивостью упрашивал он хозяина нашего (известного в то время застольного оратора) непременно приехать в предположенное собрание.

Кстати сказать, кажется, некоторым из обедавших как будто не очень-то понравилось приглашение г-на Назарова, уж не знаю по каким именно расчетам (может быть, и потому, что сборище по московскому обычаю было назначено в гостинице); впрочем, никто не отвечал прямым ответом, а иные тут же пожертвовали на предположенную цель, которой, конечно, нельзя было не сочувствовать. Хозяин наш, один из гостей, тоже довольно известный тогда литератор, и я с большой охотой согласился присоединиться к собранию в гостинице Самарина.

По словам г-на Назарова, съезд был назначен к 9 часам вечера. Но мы выехали раньше.

— Знаете ли что,— сказал мне наш хозяин, пригласивший меня отправиться с ним в его карете,— мы отправимся раньше потому, что чрезвычайно же любопытно теперь взглянуть на улицы московские. Я велю проехать по самым видным местам, начиная с Тверской площади, дальше — по Кузнецкому Мосту, а там к Сухаревой башне и оттуда назад, через Лубянскую площадь... Есть и еще места, где должно бытьлюдно и шумно, но там, пожалуй, уж спозаранку очень-очень шумно. А вот где поедem и где всегда, и без Масленицы, народу много, кажется, опасаться нечего.

И мы отправились.

Мы начали наш неблизкий объезд с одного из переулков, прямо примыкающих к Тверской улице.

Места, чрез которые приходилось нам проезжать: площадь перед генерал-губернаторским домом⁶⁴, Дмитровка, Кузнецкий Мост, особенно же площадь вокруг Сухаревой башни, площадь Лубянская, Охотный Ряд — всегда очень людны, в праздники и будни, с раннего утра и до поздней ночи; под стать спутнику моему и я ожидал увидеть здесь огромное стечение народа

и чрезвычайное в нем оживление. Но как же странно ошиблись мы.

На ту пору все те людные места были пусты, глухи и даже темны, скудно горящие фонари московские горели скуднее обыкновенного, не помогал им нисколько и свет из магазинов и лавок, так как магазины и лавки, даром что еще рано было, уже были заперты, и, надо полагать, не потому, что настал «прощёный вечер», а из-за особой какой-то предосторожности. Бог весть куда подевались извозчики, лихачи и «ваньки»⁶⁵, обыкновенно стоящие тут чуть не у каждого дома, а то снующие по улицам во всех направлениях; только изредка на Тверской да на Кузнецком Мосту попадались кареты, проезжавшие очень быстро, с явной поспешностью, а пешеходов было так мало на улицах и площадях, что просто глазам не верилось.

Еще можно было бы и не очень удивиться, что Тверская, Дмитровка, Софийка, Кузнецкий Мост, Рождественка были на ту пору совсем нелюдны и необычно глухи: на этих улицах и всегда не особенно много встречается простого черного народа, а притом и торговля здешняя, преимущественно предметами не общего употребления, помещается в больших магазинах и прекращается по вечерам нередко довольно рано. Но поразительны были вдруг охватившие нас со всех сторон тишина, глушь, пустота и темнота в местностях около Сухаревой башни, на Лубянской площади, около Охотного Ряда,— в тех именно местностях, где недаром сосредоточивается самая разнообразная мелочная торговля, разбросавшаяся напоказ простому люду по неказистым так называемым «заведениям», в балаганах и дрянных лавчонках, а то и просто на подвижных ларях, где в этих «заведениях», балаганах и лавчонках, вокруг этих ларей, если и не всегда до поздней ночи, то уж непременно часов до десяти вечера, толпится очень много народа.

Не скрою: все, что представляли тогда улицы и площади московские,— эти поистине странные тишь и глушь,— поразили меня до такой степени, что одно время даже как-то жутко стало; право, народное движение, как бы ни было оно шумно, не произвело бы на меня

такого жуткого впечатления. Спутник мой тоже сначала был как будто бы очень встревожен, по крайней мере он слишком долго молчал, и я уж по этому мог заключить о его тревоге. Но наконец он быстро заговорил, когда мы проезжали уже мимо Охотного Ряда.

— Ну вот, не диковинное ли это дело,— заговорил он,— на всех этих улицах и площадях,— а мало ль мы их проехали? — на самых-то людных улицах и площадях так глухо, так пусто, как никогда тут не бывало и не бывает. И это в тот самый день, когда объявлен манифест об освобождении всего народа от крепостной неволи! Да где ж этот освобожденный народ? Да по какой же это причине спрятался он весь в свои темные норы, спрятался и притаился там, как будто и нет его вовсе?.. Ну, как же это: ни одного-таки взрыва радости и восторга! Даже ни малейшего проявления не только радости и восторга, но и просто веселого настроения! Все и везде пусто, глухо и мертвенно!.. Как будто бы великое дело уничтожения крепостного права вовсе и не касается этого народа, как будто бы нынче и не ему, этому народу, объявляли на всех площадях, по всем церквям, что воля, воля ему дана!.. Так ли встретил бы подобное громадное событие всякий другой народ?.. А вот, ваш-то хваленый,— он-то, разумный-преразумный, он-то, полный всяческих жизненных сил, он-то, способный к сознанию всего, к полному, да чуть ли не в один миг, гражданскому возрождению и развитию,— ну, посмотрите же, как он пятится, как он прячется от воли!..

Пылко и чересчур энергически выражал свое негодование мой спутник, и я живо помню всю его выходку. Мне очень хотелось прервать ее, хотелось каким-нибудь метким возражением разом остановить эти несправедливые, как я сильно чувствовал, нападки. Ну, да где уж мне было сладить с таким красноречивым говоруном, каков был мой спутник, а притом я все еще находился под впечатлением, путавшим мои мысли, и мне шли на ум возражения, слабость которых я и сам признавал.

— Да ведь завтра начинается Великий пост,— возразил я,— всяк готовится пойти завтра к «часам»⁶⁶, и уже поэтому все простые люди улягутся нынче споза-

ранку спать, чтобы хорошим сном разогнать масленичную гульбу. А многие и говеть⁶⁷ тоже будут на первой неделе поста.

Но мое возражение нисколько не подействовало; напротив, еще усилило энергическое красноречие моего спутника.

— Помилуйте,— продолжал он,— как будто я и позабыл вдруг, что завтра Великий пост? Я знаю, что все ваши (в действительности, впрочем, далеко не все) простые эти люди «к часам» пойдут, а многие говеть будут, но я — старожил московский и хорошо тоже знаю, как простые люди готовятся к богослужению первой недели Великого поста, да и к говению-то самому, как проводят они последний день «широкой» Масленицы. Нет! Они не суживают свое веселье и свой разгул в этот последний день. Да и самый обычай перед наступлением Великого поста «прощаться» с кровными и с чужими, с другом и недругом,— не таковский у нас обычай, чтобы вдруг исчезли куда-то все эти «прощающиеся», чтобы улицы и площади громадного города разом сделались пустынными... Я вам говорю, что простой народ прячется от внезапно упавшей ему на голову воли!.. У него, у бедного, все жизненные силы надорваны долгим рабством, и как тяжело бывает человеку, истомленному долговременным заключением в смрадной тюрьме, выносить после внезапного освобождения свежий, здоровый, но прохладный воздух, так и бедняге крепостному захватывает теперь дыхание свежим воздухом воли, вдруг на него пахнувшим, и невольно этот бедняга опять запрячется в свою темную нору, к которой он привык сиздавна... А иначе объяснить нельзя этого странного, этого повсеместного отсутствия народа, этой пустынности и мертвенности центральных и самых людных местностей громадного города.

И тут разом оборвалось красноречие моего спутника,— не от внешней какой причины (все обстояло благополучно, и мы ехали даже очень тихо), а, как оказалось, от внезапного соображения.

— Да что ж это мы,— начал он, понизив голос чуть не до шепота,— ведь мы проехали только центром го-

рода, а на оконечностях-то его, у самых застав, может статья, собираются теперь в толпы и разгуливают себе там на всей воле...— Эй! Послушай-ка,— обратился он к своему кучеру, которому велел ехать совсем шагом,— ты, может, знаешь, что бы это такое значило: на всех улицах и площадях, где мы ни проезжали, никого не видать и не слышать, словно все вымерли или отчего-то попрятались... Ты как думаешь,— куда это простой народ подевался? Ведь нынче ему воля объявлена: где ж он праздник-то свой празднует? Может, где-нибудь у застав собрался?

— Нет-с, помилуйте, зачем же там, у застав? — ответил кучер,— у застав теперича собираться совсем некстати. Да и когда по ночам у застав собираются? А вот в кабаках тоже гулять не будут, потому уж поздно для нонешнего вечера. Всяк теперича норовит пораньше попрощаться со сродниками да с кумовьями, да и спать улечься пораньше, чтобы завтра в церковь ли идти, или там еще куда, так чтобы попрстойнее быть с виду. Тут больше бабы орудуют: они стараются развести семейских по домам как можно пораньше... А что изволили сказать насчет праздника, так это еще будет времени довольно, чтобы попраздновать... ведь иной-то делом еще вовсе-таки не смекнул.

Объяснение кучера было просто и очень основательно, так основательно, что уняло на некоторое время энергические выходки моего спутника. Впрочем, он не надолго сдержался, и когда мы уже подъезжали к ярко освещенной гостинице Самарина, сказал мне потихоньку:

— Ну, я отчасти сдаюсь, и, право, странно — это по причине рассуждений того практика, что вот на козлах там восседает... В самом деле, может быть, некоторое основание для народной сдержанности именно в том обстоятельстве, что иной,— а этих иных в народе очень много,— и не смекнул еще вовсе самую сущность великого дела; но все же я допускаю эту сдержанность в отношении только радости и восторга. Затем есть у меня в виду и нечто другое,— то нечто, которое должно бы неминуемо отразиться в сознании народа, как только

объявили ему, что крепостное право отменено уже навсегда. Я утверждаю, что народ, весь народ, должен же был нынче сознать, что рабство его уничтожено... И неужели-таки не заговорили в нем нынче воспоминания об этом рабстве? Вот насчет рабства-то он мог бы и должен бы хоть несколько потешиться... Французы, например, даже немцы,— и немцы наверное,— конечно, не утерпели бы, и вечером же того дня, как им объявили бы все, что нынче нашему народу объявлено, торжественно сожгли бы на всех московских площадях чучело, изображающее гнусное крепостное право!..

Этот *французский* взгляд на русские в высшей степени важные события крепко мне не понравился, и я возразил, возразил уже не слабо, как в первый раз:

— А к чему ж бы такие демонстрации?.. Начать с того,— делаются они обыкновенно по заказу, по программе немногих лиц, имеющих тут свои собственные цели, а оттого во всех подобных движениях, мне кажется, много напускного, театрального и неестественного. Наш народ совсем еще не знает этих потех... Да, впрочем, пожалуй, такая потеха, как сожжение чучел этих на площадях, и окончилась бы у нас очень дурно: вряд ли бы дело обошлось без столкновения с полицией.

— Э! На все площади не достало бы полиции...

— Трудно наперед сказать: достало ли бы или нет... Говорят, может, и вы слышали, есть особые приготовления именно на случай демонстраций; на демонстрации эти, кажется, очень рассчитывали, но только вряд ли там, где мы с вами думали их искать. Впрочем, дело-то в том, что народ, видимо, не додумался ни до чего подобного. Народ твердо помнит, что нынче — «прощёный день», и мне представляется, что он хочет проститься и с крепостным правом тихо и мирно, в духе христианского непамятозлобия.

— Ох, уж это смирение и всепрощение...

Но мы уже поднимались по лестнице в гостинице — и продолжать все тот же разговор было бы уже совсем неудобно.

Можно бы тем и закончить описание ночи, последовавшей за объявлением в Москве высочайшего Мани-



Торг.
С картины маслом Н. В. Неврева

феста 19 февраля 1861 года. Но, кажется, будет тоже кстати рассказать и о нашем сборище в гостинице Самаринской.

Мы нашли там уже довольно много народу. По всем комнатам, открытым для сборища, сидело и расхаживало взад и вперед много разных личностей. Почти все эти личности были для меня незнакомы. По-видимому, тут собрались все больше купцы. По крайней мере так мне показалось, а между прочим потому именно, что хоть илюдно было, но говору слышалось мало, большая часть из сидевших и расхаживавших многодумно молчали. Только в одном углу раздавался шумный говор, часто прерываемый перекатным хохотом. Там кто-то ораторствовал,— может, то был всем известный в Москве говорун и хохотун. И, должно быть, тот оратор в тамошнем углу имел большой успех: слышавшие его шумливые речи и хохот часто вторили ему целым хором. Но успех его и распространялся. Скоро из толпы разгуливавших по комнатам многие начали присоединяться к кружкам, где было так весело.

Но меня не манило к веселому кружку. Я даже невольно захотел уйти из этой комнаты, где становилось уже чересчур шумно. Уж не знаю как, но я попал в большую, битком набитую людьми и загроможденную различными предметами комнату, где было еще шумнее. Тут чрезвычайно суетливо хлопотала многочисленная гостиничная прислуга, приготавлившая, должно быть, изобильную закуску, а не то и целый ужин про многих гостей. Впрочем, я не точно выражаюсь про закуску и ужин: я видел лишь то, как прислуга устанавливала на громадном столе громадную батарею из графинов и бутылок да вносила и еще корзины с винами. Стало быть, в гостинице, как в гостинице, должно было последовать в этот вечер что называется «разливанное море».

Мне стало как-то не по себе. Не то чтобы брезгливость какая охватила,— в Москве как будто не приходится брезгать ничем подобным, а так что-то даже тоскливое вдруг шевельнулось в душе. Я решился тотчас же оставить это собрание и ехать домой. Но прежде я хотел сообщить о том моему спутнику.

Я нашел его в небольшой отдаленной комнате, где было довольно просторно. Он разговаривал с г-ном З., литератором, обедавшим в тот день с нами, да еще с двумя незнакомыми мне личностями. Было заметно, что разговор не очень его интересовал: он что-то все оглядывался по сторонам, через меру уже моргая; он отвечал на какие-то расспросы, а может быть, упрашивание, в слишком сжатых выражениях и в немногих словах, что было не совсем в его обычае. Когда я передал ему о моем намерении, и он вдруг заторопился, чтобы тотчас же уехать.

Но ему не так-то легко было это сделать. Два господина, разговаривавшие с ним, так и вцепились в него, все уговаривая, чтобы он безотменно остался. Они находили присутствие его в собрании совершенно необходимым.

— Помилуйте, — жалобным тоном говорили они, — да как же это можно, чтобы вы нас оставили... Да ваше слово при настоящем случае всего важнее, ваше слово и должно осветить ярким светом все предпринятое теперь дело, без вашего слова благодетельная цель, пожалуй, не перейдет у многих в полное сознание, и все ограничится ничтожными результатами... Вы сами знаете, что у нас надо расшевелить да расшевелить...

Два эти господина говорили очень настойчиво и красноречиво. По всей вероятности, они были из распорядителей собрания и, конечно, в качестве распорядителей они отнюдь не желали упустить «оратора».

Но «оратор» был неумолим. Он наотрез объявил, что не может дальше остаться. Полагаю, что эта решимость уехать зависела у него уж никак не от того, что он чувствовал себя не в духе сказать свое всегда влиятельное слово в пользу предположенного тогда дела, еще менее могу предполагать, что пример мой соблазнил его. А просто-напросто, должно быть, что-нибудь тут не понравилось ему...

Итак, мы довольно поспешно уехали из Самаринской гостиницы, внеся перед отъездом, уж не помню как и кому, нашу посильную лепту на цель собрания.

На другой же день после того разнеслись по Москве слухи и толки, что вчерашнее собрание в Самаринской

гостинице точно закончилось «разливанным морем», что вследствие этого было там очень весело, да так, например, весело, что один господин будто бы даже вприсядку плясал. Чуть ли слухи эти не проникли тогда и в печать. Впрочем, слух о пляске вприсядку был опровергаем энергически, и, кажется, в самом деле то был слух неосновательный.

Вторая, также памятная мне ночь близка по времени к первой, но по характеру своему совсем не походит на эту первую. То была ночь под первое января 1862 года.

31 декабря 1861 года, с раннего вечера, а может быть, и с раннего утра, вся Москва уже знала, что в эту самую ночь должен окончить свое существование винный откуп.

Простой народ очень готовился встретить появление «дешевки» (так прозвал он тотчас же продаваемую уже не откупом водку, которая теперь нигде, однако, «дешевкою» уже не называется по той простой причине, что и эта водка, как оказалось на деле, куда как недешево обходится народу): в некоторых местностях он еще с утра начал толпиться вокруг кабаков и «заведений» откупа, где скверное откупное вино распродавалось тогда по ежечасно понижавшимся ценам. Стало быть, откуп при последнем своем издыхании как будто тоже старался о народном веселье.

Вечером этого дня мне пришлось ехать далеко из дому: из Нащокинского переуллка у Пречистенских ворот в какой-то переуллок за Покровскими казармами, где жила со старушкой своей матерью подруга моих старших дочерей, обещавшая приехать к нам — встретить Новый год за нашим семейным ужином. Зная уже от моего Емельяна Кузьмича, что в кабаках стали продавать дешевую водку еще с утра, и предполагая, что вследствие этого к вечеру будет много пьяного люду на улицах, я решился сам отправиться за молодой девушкой.

Я поехал не без предосторожностей: со знакомым мне извозчиком-хозяином, человеком трезвым и исправным, на хорошей с быстрой побегой лошади, да притом еще довольно рано, как мне казалось, т. е. часов около семи вечера.

Но улица московская и тогда гуляла. Шумно было уже везде. Слышался во всех концах громкий говор, по временам прорывались какие-то крикливые возгласы, кой-где раздавались и песни. Но народ толпился еще отдельными кучками, по-видимому, все у тех самых «заведений», где распродалась соблазнительная «дешевка», еще откупная покуда дешевка. Значит, в то время московская улица не разгулялась еще полной своей гульбою.

Это подметил мой извозчик.

— Надо бы получасом раньше выехать,— сказал он мне,— попозднее-то будет гораздо больше пьянства, а пожалуй, и буянства.

В Тихий переулок, где жили мои знакомые, не достигало шумное движение улицы, но мать молодой девушки уже знала о нем от своей прислуги. Трудно было мне уговорить старушку, чтобы, ничего не опасаясь, отпустила со мною свою дочь. Наконец она согласилась, и мы отправились на Пречистенку. А времени в уговариваньи старушки и в сборах ее дочери прошло-таки довольно. Скоро я увидел, что извозчик мой был прав, что точно надо бы гораздо раньше выехать.

Уже на широкой и длинной площади за Тихим переулком и за прилегавшей к нему какой-то улицей движение народное охватило нас всем своим широким гулом. Теперь-то улица московская уже вполне разгулялась. Для развеселого люда мало места оказывалось на тротуарах, на углах улиц,— и посреди площади гуляли-разгуливали большие толпы. Шумный говор, дикие вскрики, громкие, нескладные песни разносились далеко и беспрерывно.

— Как бы это поскорее выбраться... Ты уж не жалей лошади,— сказал я моему извозчику.

— Лошади чего жалеть,— отвечал он,— да как бы на беду не наехать.

И точно, того гляди, можно было на беду наехать. Многие из развеселого народа шли, схватившись под руки, по самой середине улицы и вряд ли что могло заставить их расступиться. Приходилось объезжать эту живую цепь. Извозчик мой даже охрип, крича беспре-

станно уже не на подвертывавшихся под лошадь одиноких гуляк, а на этих горланов, разгуливавших по улице неразрывною цепью. Заметно было, что он рассердился очень, так как не один раз замахивался он кнутом по сторонам, но, к счастью, сдержался-таки и, стоя в санях, пробирался полегоньку с чрезвычайной осторожностью, все придерживаясь к сторонке, как можно ближе к тротуару.

В одном месте развеселая толпа как-то подметила, что извозчик мой сердит.

— Чего ты, брат, обозлился? — закричали из толпы, — у, брат, гуляем!.. Дешевка, значит...

На Лубянской площади и по площади наспротив Охотного Ряда еще труднее было ехать. Правда, здесь было гораздо просторнее от пьяного люда, здесь не бродили гуляки, схватившись под руки и занимая неразрывною цепью чуть не всю ширину улицы, здесь было даже не так шумно, по крайней мере песни не распевались повсюду, а только изредка кой-где запевались, да и скорехонько замолкали, — зато извозчики-ваньки, эти пресмирные обыкновенно извозчики-ваньки, снова и без седоков и с седоками во всех направлениях, и пробираться между ними надо было с особенной осторожностью.

Затем пошли места, где сравнительно с теми, что миновали мы, было уже совсем спокойно, хотя и здесь слышалось кое-где разгульное движение. Скоро мы и домой добрались уже без всяких дальнейших приключений. Но во весь этот вечер и даже далеко за полночь, когда я уже улегся спать и долго не мог заснуть, — мне все представлялся тот уличный разгул, и как-то тяжело было на сердце от этого представления...

В последующие дни, может быть, с неделю и даже больше, все еще заметно было в Москве это разгульное настроение народа, хотя уже не в той степени, как было в описанную мною ночь. Слышал я тоже, что и везде народ гулял крепко, вслед за тем как покончил свое существование винный откуп. Дешевка была соблазнительна — тем более что на первых порах и по качеству своему она была гораздо лучше, чем откупная водка.

Народ очень обрадовался дешевке, и долго это выражалось все в усиливавшемся употреблении ее. Может быть, такое употребление и теперь еще продолжается. Впрочем, я уже не слежу за этим: есть много других явлений народной жизни, за которыми неустанно следит раздраженная мысль...

И отдельно, взятые без всяких сравнений, проявления народных чувств в обе описанные мною ночи были замечательны; а если обратить внимание только на одну эту, столь резкую разницу этих проявлений, то они покажутся замечательными чрезвычайно уже в особом смысле. И точно, не удивительно ли, что тот самый народ, который тотчас же по объявлении ему желанной воли так затих, так притаился всяким своим движением,— он-то страшно обрадовался замене откупной водки дешевкою и радость свою великую как раз выразил широким и шумным разгулом? Но кто стал бы тут делать сравнения и выводы не в пользу народного смысла, не в пользу способности народной оценить по достоинству все, что существенно необходимо и полезно для народа, тот впал бы в грубую, даже непростительную ошибку. Коли порассудить просто и без предубеждений, все это должно представиться как нельзя более естественным.

Теперь, когда раздумываю о сдержанности народного чувства в день объявления Манифеста 19 февраля 1861 года, невольно приходит мне на мысль такое сравнение.

Я представляю себе,— и эта фантазия как-то уясняет мне дело,— что вот человек долго-долго опутан въевшимися в его члены веревками, до того опутан, что не только двигаться ему невозможно, даже дышать трудно, а притом густой мрак совсем застилает ему зрение, и вот внезапно веревки те спадают с него, мрак разом исчезает, всю же широкую даль впереди озаряет яркий свет: как вы думаете, какое чувство охватит прежде всего душу этого человека? Не знаю, как другим, а мне думается, что прежде всего тут выразится отнюдь не радость, ибо радости должно предшествовать вполне ясное сознание чего-то совершившегося и уже вполне удовлетворившего всем желаниям,— нет, тут охватит

душу чрезвычайно нестройная смесь разнообразных и смутных впечатлений: и недоумение о том, откуда вдруг явились и этот простор, и этот свет, и невольное опасение — не во сне ли все это представляется, и уже под конец разве примешается раздумье, тоже еще очень смутное, насчет того, как бы воспользоваться для какого-нибудь самого простого движения этим простором, от которого стало так легко, как бы тоже подальше и получше оглянуть впереди все, что внезапно озарилось ярким светом,— и уж, конечно, тут вовсе не будет места для злобных и мстительных воспоминаний о прошлой тесноте, о прошлом мраке... Как-то похожим именно на это представляется мне состояние нашего простого народа в момент объявления ему желанной воли.

На том раздумье народа, которое вдруг по объявлении народу воли охватило его всесильно, несмотря на то, что великая весть застала его во время самого пьяного масленичного разгула, можно и больше остановиться: для него, этого раздумья, было тоже достаточное основание. Народ хоть мало, а все-таки знавший, что для него готовится, очень рано мог почувствовать, что освобождение его из-под крепостной зависимости — дело хлопотливое и трудное, что вслед же за объявлением ему воли должны настать другие многие и великие заботы; он мог довольно долго — именно с конца 1857 года и по март 1861 года — раздумывать и соображать, хотя, конечно, крайне неопределенно и отрывочно, все о том: как будет совершаться на самом деле это освобождение его от крепостной зависимости, в каком виде установятся новые его отношения к помещикам, чем именно улучшится и обеспечится в своем улучшении на будущее время весь его быт, каковы будут — и это для народа было самое главное дело,— каковы будут права его на ту самую землю, которую и во время полной личной принадлежности своей владельцам имений он все-таки признавал своей собственною, и признавал не про себя, не в утай, а частенько проговаривая в глаза своим господам, и добрым и недобрым, что дескать сами-то мы, крестьяне — ваши, а земля-то, что мы из году в год обрабатываем,— наша... Я говорю так, основываясь на том особенно, что во

все время, пока тянулись правительственные работы по освобождению помещичьих крестьян от крепостной зависимости, народ везде сохранял полное спокойствие и ни разу не выказал нетерпения, дабы получить поскорее желанную волю*.

Спокойствие народа перед объявлением Манифеста 19 февраля 1861 года должно было бы успокаивать насчет и того, что вся Крестьянская реформа пройдет вполне благополучно. Все эти страхи, что будто бы народные волнения неминуемы, конечно, были неосновательны. Но и осуждение народа за сдержанность его в выражении радости на первых порах по объявлении ему воли было еще неосновательнее: со стороны народа тут не было тупого равнодушия, а было, скорей всего, то тихое, отрадное чувство удовлетворения, какое должен почувствовать человек, внезапно освобожденный из-под страшного гнета, да, может быть, было и раздумье насчет новых условий жизни и всей вообще будущности, раздумье тоже тихое и смутное по совершенной еще неясности всех предметов, на которые оно было обращено. Но всего неосновательнее и даже совсем непростительно, повторяю, сравнение вышеупомянутой сдержанности народа с его разгульной и чересчур радостной несдержанностью при уничтожении откупа и при появлении дешевки,—сравнение, которое иными скептиками относительно силы народного разума делалось вслед за второй описанной мною ночью. Я прямо утверждаю, что и эта несдержанность была вполне естественна и что она нисколько не обличает грубости и тупости народного разума. Ну, как было не обрадоваться простому люду, когда хлебное вино вдруг подешевело значительно, да и гораздо лучше стало по своему качеству? К

* Так, например, в Рязанской губернии за все указываемое мною время, кроме дедновского бунта, происшедшего, впрочем, от причин, нисколько не зависящих от крепостных отношений, не было ни одного случая неповиновения крестьян помещичьей власти. Но я говорю это относительно лишь бунтов крестьянских целыми имениями, вследствие притеснений помещичьих; затем могли быть случаи расплат с помещиками за злоупотребления над отдельными личностями из крестьян или дворовых — и эти случаи, как частные, не должны были приниматься тут в расчет.

хлебному вину народ испокон веку привык, он считает его для себя необходимым, как для восстановления сил после трудов, так и для утоления горя, слишком часто проявляющегося в его жизни; стало быть, удешевление этого вина вполне удовлетворяло и народным интересам, а факт замены откупной, дорогой и скверной водки дешевкою был самый простой и несложный, и никаких забот впереди, ни малейших сомнений насчет всяческих последствий не могло тут представляться народу — стало быть, и радость по поводу удовлетворившего его факта была совершенно естественною.

Я кончил. Не знаю, ясно ли я выразил все то, что чувствовал и думал. Но как умел, так и сделал; притом же я старался быть совершенно правдивым в моих рассказах о событиях, по поводу которых написан этот отрывок моих воспоминаний. В этом я ручаюсь.

Примечания

- ¹ ...вышедшего, по преданию, из Аравии — русское дворянство предпочитало вести свое происхождение от «выходцев» из разных народов, на худой конец, из Орды. Такие родословные, нередко с фантастическими именами родоначальников, признавались официально.
- ² *Михаил Федорович (1596—1645)* — первый русский царь из династии Романовых, избранный на русский престол 21 февраля 1613 г. Земским собором.
- ³ *Окольничий* — русский придворный чин до начала XVIII в., дававшийся приближенным к царю боярам, не имевшим постоянной должности. От слова «около» — вблизи.
- ⁴ *Воевода* — военачальник, стоявший во главе полка, или правитель какого-либо города. Второй воевода — заместитель.
- ⁵ ...в Московском войске, осаждавшем Смоленск в 1633 году — имеется в виду Русско-польская война 1632—1634 гг. за возвращение Смоленских и Чернигово-Северских земель. Неудачные осада и штурм Смоленска происходили в декабре 1632 — июне 1633 г.; полякам удалось оттеснить и окружить русские войска, в которых начались эпидемия и голод. В феврале 1633 г. воевода М.Б. Шеин подписал капитуляцию, в результате которой вся русская артиллерия досталась противнику, а русские воины в течение 4 месяцев не могли участвовать в боевых действиях. Виновниками неудачного исхода войны были признаны Шеин и окольничий А.В. Измайлов, казненные по приговору Боярской думы.
- ⁶ *Государь-патриарх Филарет Никитич* — боярин Федор Никитич Романов (1554/55—1633), отец царя Михаила Федоровича. Пострижен в монахи в 1600 г. под именем Филарета, в 1619 г. поставлен патриархом. В связи с малолетством и слабостью сына был фактическим правителем государства до самой смерти, откуда и его титул.
- ⁷ *Переворот 1762 г.* — свержение императора Петра III и возведение на престол его супруги Екатерины Алексеевны (Екатерины II).
- ⁸ *Преемница его* — императрица Екатерина II.
- ⁹ *Дедново (Дединово)* — большое село в Рязанской обл. на р. Оке. Известно строительством здесь при царе Михаиле Федорови-

че кораблей для голштинского посольства, направлявшегося в Персию, а в 1668 г. здесь построен первый русский боевой корабль «Орел».

¹⁰ *Формулярный список* — основной документ русского дворянства, заменявший внутригосударственный паспорт. Здесь прописывалась вся служба владельца, награды, поощрения и т. д.

¹¹ *Уездный суд* — первая судебная инстанция, с назначаемым от правительства судьей и выборными заседателями.

¹² *...зачислен на службу семи лет от роду* — Петр I обязал дворянство поголовной пожизненной службой, начиная с рядового. Дабы избежать солдатской лямки, с 30-х гг. XVIII в. дворяне, имевшие протекцию в армии или правительстве, стали записывать своих отпрысков с рождения или с малолетства в гвардейские полки, тогда комплектовавшиеся преимущественно дворянством, так что на действительную службу они приходили уже сержантами, а то и младшими офицерами. Екатерина II, взошедшая на престол на штыках гвардии, не решилась поломать этот порядок, лишь приказав считать старшинство в чинах (т. е. и продвижение по службе) с момента прихода в полк. Павел I уничтожил эту порочную практику.

¹³ *...выпущен из капитанов гвардии в Конно-егерский гренадерский полк подполковником* — по Табели о рангах чины гвардии числились двумя рангами выше армейских, т. е. гвардейский капитан был равен армейскому подполковнику (минуя чин майора). Конные егеря — легкая ездящая пехота, обученная и вооруженная для действий как в конном, так и в пешем строю. Гренадеры — отборные войска для нанесения решающего удара.

¹⁴ *...принадлежал к Зубовской партии* — в конце екатерининского царствования братья Зубовы обладали огромным весом, поскольку один из них, П.А. Зубов (1767—1822), был последним фаворитом Екатерины II и занимал видные государственные посты. Отношения между наследником престола Павлом Петровичем и П.А. Зубовым были враждебными, поскольку последний откровенно выказывал пренебрежение цесаревичем и насмехался над ним, надеясь на лишение его прав на престол.

¹⁵ *...участвовал в шведской войне...* — имеется в виду русско-шведская война 1788—1790 гг.

¹⁶ *...в польскую войну...* — имеется в виду подавление русскими войсками под командованием А.В. Суворова Польского национально-освободительного восстания под руководством Тадеуша Костюшко. После поражения восставших последовал третий раздел Польши 1795 г. и ликвидация польской государственности.

- ¹⁷ *Волонтер* — доброволец.
- ¹⁸ *Губернский предводитель дворянства* — по Жалованной грамоте дворянству 1785 г. дворяне каждой губернии и уезда избирали на своих съездах на 3 года своего официального представителя перед администрацией и правительством. Должность губернского предводителя сопрягалась с рядом преимуществ и была очень важной: он являлся вторым лицом в губернии после губернатора и возглавлял ряд учреждений и комиссий. Обязан был содержать «открытый стол» для «своих» дворян, помогать бедным дворянам. Как правило, губернские предводители были «на ножках» с губернаторами.
- ¹⁹ *Земское войско (милиция)* — народное ополчение, созывавшееся правительством в чрезвычайных военных обстоятельствах. Помещики поставляли в него своих крепостных, офицерские должности замещали дворяне, бывшие ранее на военной службе. Впервые ополчение было создано в 1806 г. в связи с войной с Наполеоном. Здесь имеется в виду ополчение 1812 г., сыгравшее видную роль в Отечественной войне и заграничных походах.
- ²⁰ ...получил... *табакерку*... — украшенная бриллиантами табакерка для нюхательного табака с миниатюрным портретом или вензелем императора или императрицы была особым видом награды за действия, не заслуживавшие пожалования орденом, но которые должны были быть отмечены поощрением. Выдавалась из Кабинета Его Величества. Можно было взять ее стоимостью деньгами, но продажа не допускалась. Аналогичный характер имело награждение перстнем.
- ²¹ ...купца... *высек*... — купечество было освобождено от телесных наказаний, и такое деяние было нарушением закона.
- ²² *Пейсы* — длинные локоны на висках евреев иудейского вероисповедания.
- ²³ *Рескрипт* — законодательный акт, исходящий от имени императора, адресованный какому-либо лицу и содержащий благодарность, предписание и т. д.
- ²⁴ *Гражданский губернатор* — лицо, возглавлявшее управление губернией. На окраинных, приграничных губерниях, а также там, где были расквартированы большие воинские части, имелись военные губернаторы, пользовавшиеся правом командования войсками. Во внутренних губерниях находились гражданские губернаторы, таких прав не имевшие.
- ²⁵ *Вотчина* — старинное название родового (наследственного) дворянского владения.
- ²⁶ *Сельцо* — помещичья деревня с барской усадьбой, но без церкви.

- ²⁷ «*Казачи*» — зд.: крепостные или наемные слуги, наряженные в казачье платье и верхом сопровождавшие богатого и чиновного барина в поездках, расправлявшиеся с крепостными или выполнявшие чрезвычайные барские поручения: увести понравившуюся чужую лошадь, выкрасть чужую крепостную девку или увезти чужую жену и т. п. Отличались дерзостью, молодечеством и рабской преданностью барину.
- ²⁸ *Арапник* — длинная витая ременная плетель с коротким кнутовищем. Употреблялась в псовой охоте для наказания собак.
- ²⁹ *Анекдот* — зд.: короткий остроумный рассказ о действительном лице и действительном или вымышленном событии или изречении.
- ³⁰ *Министр полиции* — министерство существовало в 1810—1819 гг.
- ³¹ *Балашов Александр Дмитриевич (1770—1837)* — государственный деятель. В 1810—1812 и 1819 гг. министр полиции.
- ³² *Жихарев* — Степан Петрович (1788—1860), литератор, драматург и переводчик, автор известных и чрезвычайно информативных «Записок современника».
- ³³ ...на всем «*коште*» — т. е. на полном содержании. Правительство выдавало в ополчение только ружья и боеприпасы.
- ³⁴ ...почтовая станция на... почтовом тракте — хотя государственная почта («ямская гоньба», от «ям» — татарское название станции) появилась во времена ордынского ига, правильная ее организация возникла в начале XVIII в. Государство содержало почтовые тракты — широкие грунтовые дороги, окопанные канавами и обсаженные деревьями, а жившие вдоль них государственные крестьяне были переведены в разряд казенных ямщиков, обязанных содержать лошадей и повозки для перевозки почты и пассажиров. На определенном расстоянии устраивались почтовые станции под руководством станционных смотрителей в чине коллежского регистратора (низший чин XIV класса), где и находились очередные лошади и ямщики. Проезжавшие получали в губернских почтамтах подорожную грамоту, где указывалась причина поездки («по казенной» или «по собственной надобности»), конечный пункт, количество полагававшихся, в зависимости от чина, лошадей, размер платы за прогоны от одной станции до другой. Можно было ехать на казенных лошадях, но в собственном экипаже. На следующей станции ямщик перепрягал лошадей и отправлялся обратно. Это называлось ездой на перекладных.
- ³⁵ «*Диктатор*» — зд.: шутливое название станционного смотрителя, от стихотворения П.А. Вяземского «Станция» («Когда губернский регистратор / Почтовой станции диктатор»; у

Вяземского ошибка: чина губернского регистратора не было). Станционные смотрители, действительно, пользовались большой властью не только над ямщиками, но, неофициально, над проезжавшими, т. к. могли не дать лошадей, продержав их несколько дней на скучной станции.

- ³⁶ *Фельдъегерь* — служащий военизированного Корпуса фельдъегерей для перевозки важных казенных бумаг и государственных преступников. Фельдъегери должны были лететь в своих легких, но прочных тележках во весь дух, днем и ночью, и для них на станциях держали свежих курьерских лошадей, никому не выдаваемых.
- ³⁷ *Ваше превосходительство* — титул чинов IV и III классов Табели о рангах.
- ³⁸ *Светлейший* — имеется в виду светлейший князь М.И. Кутузов, главнокомандующий русской армией в 1812 г.
- ³⁹ *Роговая музыка* — вид старинного русского оркестра: каждый музыкант тянул на своем роге, не имевшем ладов, только одну ноту, но хорошо сыгравшийся «хор» мог исполнять очень сложные пьесы.
- ⁴⁰ *Приживалец* — приживал, бедный помещик, отставной мелкий чиновник и т. п., живший в доме богатого помещика для его развлечения, для компании. Нередко исполняли роль почётных слуг и даже привилегированных шутов.
- ⁴¹ *Фореитор* — при запряжке цугом, в две или три пары лошадей в дышло, или в несколько лошадей «гусем», в оглобли, одна за другой, фореитор сидел в седле на передней лошади, задавая направление движению.
- ⁴² *Уносные* — при запряжке цугом передние лошади, шедшие в шорке с постромками, а не запряженные в дышло.
- ⁴³ *Земский исправник* — уездный исправник, капитан-исправник — председатель нижнего земского суда, полицейского органа в уезде, выборного от населения (от «земли»), а не назначенного от «короны». Обычно это были очень небогатые дворяне, отставные младшие офицеры, не выслужившие пенсии. Жалованье их было мизерным, и они были вынуждены пополнять свои доходы поборами с крестьян, взятками или подачками от богатых помещиков.
- ⁴⁴ *Земская полиция* — нижний земский суд, полицейское учреждение в уезде, выборное от населения. Состоял под председательством земского исправника из двух выборных заседателей. Помимо чисто полицейских функций, осуществлял суд по мелким уголовным и гражданским делам (нарушение тишины, драки и т. п.).

- ⁴⁵ ...в тяжелых ножных кандалах, с мучительными железными «рогатками» на шеях... — полицейские права помещиков огоривались законом, и заключение в кандалы, приковывание к стене, наказание «рогатками», «стулом» и проч. было превышением помещичьей власти. Железные рогатки представляли собой ошейник с несколькими торчащими в стороны «спицами», рогами, так что закованный в них не мог лечь, прислониться к чему-либо. Были и деревянные рогатки в виде жерди с длинной развилкой, запиравшейся на железный прут с замком.
- ⁴⁶ *Уездные стряпчие* — представители губернского прокурора в уезде. Их было двое — уголовных и гражданских дел.
- ⁴⁷ *Заседатели* — выборные от населения члены низших судебных органов. Избирались от сословий.
- ⁴⁸ *Присутственные места* — государственные учреждения. Присутствием называлось время занятий учреждения, состав высших чиновников в данном учреждении, комната для решающих заседаний этой группы чиновников и само здание учреждения.
- ⁴⁹ *Земство* — зд.: местное общество, совокупность населения. Старая Россия официально разделялась на «землю», «земство», и «казну», «корону». Разделялись земские и казенные подати и повинности, учреждения и т. д.
- ⁵⁰ *Мелкотравчатый* — небогатый и нечиновный дворянин, помещик, по бедности не имевший полной псовой охоты с множеством собак и псарей, а довольствовавшийся одной-двумя сворами (в своре было 2 собаки). От слова «травить» собаками, а отнюдь не от травы, как часто думают.
- ⁵¹ *Д.С. Ш-в* — брат Александра Семеновича Шишкова (1754—1851), видного русского государственного деятеля, адмирала, статс-секретаря Александра I, более известного как литератор, поборник высокого архаического стиля, противник Н.М. Карамзина. Придерживаясь реакционных политических взглядов, отличался добродушием и добротой по отношению к своим крепостным, с которых даже не брал оброка. Таким же, очевидно, был и его брат Дмитрий Семенович.
- ⁵² ...с кровными рысакими или с иноходцами... — рысак — лошадь особой породы, шедшая только размашистой рысью, не переходя в галоп. Иноходец — лошадь, на ходу выбрасывавшая одновременно обе правых или левых ноги; обычные лошади выбрасывают вперед ноги «по диагонали»: левую переднюю и правую заднюю и наоборот.
- ⁵³ *Пристяжные* — в троечной «ямской» запряжке в корню в оглоблях с дугой идет наиболее сильный и обученный «шаговитый» коренник, а по бокам в постромках создают дополнитель-

- ную тягу молодые резвые пристяжные. Известна и полуямская запряжка с одной пристяжной.
- ⁵⁴ *Ассигнации* — бумажные деньги, введенные в России в декабре 1768 г. Уже в конце XVIII в. был прекращен их размен на звонкую монету и, в связи с усиленным выпуском, курс их по отношению к серебряному рублю стал быстро падать, понизившись к 1814—1815 гг. до 20 коп. серебром. Однако миллион ассигнациями был все же очень крупной суммой.
- ⁵⁵ *Дворянское депутатское собрание* — по Жалованной грамоте дворянству 1785 г. губернское дворянское собрание избирало группу — депутатское собрание, которое вело запись дворян в губернские дворянские книги, выдавало метрики и т. д.
- ⁵⁶ *Ратник* — воин народного ополчения (земского войска, земской милиции). При созыве ополчения помещики выставляли то или иное количество ратников, в зависимости от числа находившихся в их владении крепостных крестьян мужского пола.
- ⁵⁷ *Седьмая ревизия* — при подготовке перевода податей со двора на душу мужского пола сельского и городского населения, Петр I в 1719 г. провел перепись наличного населения, а вслед за ней, чтобы учесть укрывшихся от переписи, — ревизию. С тех пор такие переписи назывались ревизиями, а податное население записывалось в ревизские сказки. Ревизскими душами были только мужские, с которых и бралась подушная подать. Седьмая ревизия проведена в 1815 г.
- ⁵⁸ *Благоприобретенные крестьяне* — купленные владельцем. В отличие от родовых имений, которые почти во всех случаях должны были оставаться в роду владельца, благоприобретенными можно было распоряжаться беспрепятственно.
- ⁵⁹ *Орлов-Чесменский* — Алексей Григорьевич (1737—1807/08), генерал-аншеф, командующий Средиземноморской эскадрой. За победы над турками при Наварине и Чесме в 1770 г. получил титул графа Чесменского.
- ⁶⁰ *Верста* — старая русская мера длины, 1067 м.
- ⁶¹ *«Экзекуция»* — физическая расправа над кем-либо, например, сечение розгами, либо временное размещение постоем в непокорном селении воинской части: жители были обязаны содержать солдат, что вело к разорению хозяйства.
- ⁶² *Дача* — зд.: земля, владение, то, что «дано».
- ⁶³ *Поемный луг* — заливной, расположенный в пойме реки или озера.
- ⁶⁴ *Хозяйственная десятина* — старинная русская внесистемная мера площади в 1,45 га. Казенная десятина была в 2400 кв. саженей, или 1,093 га.
- ⁶⁵ *Пуд* — старая русская мера веса, 16,4 кг.

- ⁶⁶ *Иван Васильевич Грозный* — Иван IV (1530—1584), Великий князь Московский и всея Руси, с 1547 г. царь.
- ⁶⁷ *Петр Алексеевич Великий* — Петр I (1672—1725), царь с 1682 г., император с 1721 г. Проезжал через Дедново в Воронеж в 1695 г. В одной из церквей села хранились серебряные ковши, якобы подаренные царями Петром и Иваном Алексеевичами местным головам. Считалось, что Петр I здесь собственноручно построил ботик, позже перевезенный в Петербург.
- ⁶⁸ *Подводная повинность* — обязанность населения поставлять подводы (телеги или сани) и перевозить на них грузы.
- ⁶⁹ *Питейный откуп* — система торговли вином в дореформенной России. Страна разделялась на питейные округа, в каждом из которых проводились торги на продажу вина с объявлением суммы, которую хотело бы получить государство. Тот, кто давал на торгах наибольшую сумму, становился откупщиком, от себя закупая вино, открывая торговые заведения и сажая в них персонал.
- ⁷⁰ *Целовальник* — сиделец, продавец в кабаке. Название от старинного обычая целования креста в знак клятвы, что целовальник будет торговать в царевом кабаке без утайки денег и стараться продать вина как можно больше.
- ⁷¹ *Водолив* — старший рабочий на речной барке, следивший за водотечностью судна.
- ⁷² *Отава* — трава второго урожая, отрастающая после сенокоса.
- ⁷³ «*Мир*» — общество крестьян одной деревни с элементами самоуправления.
- ⁷⁴ *Бурмистр* — в помещичьей деревне должностное лицо, назначенное помещиком из крепостных для надзора за крестьянами, руководства работами и проч.
- ⁷⁵ *Тягло* — женатая пара, служившая единицей для наделения землей и обложения повинностями.
- ⁷⁶ *Барка* — деревянное речное самоходное судно простейшей кустарной постройки.
- ⁷⁷ *Полая вода* — весенняя, в половодье.
- ⁷⁸ *Квадратная сажень* — старая русская мера площади, 4,093 кв. м.
- ⁷⁹ *Свободные хлебопашцы* — вольные хлебопашцы, бывшие крепостные, вышедшие на свободу по указу 1803 г. по добровольному соглашению с помещиком на различных основаниях (за выкуп или бесплатно, по духовному завещанию и т. д.), но непременно с наделением землей.

- ⁸⁰ *Гражданская палата* — губернская палата гражданского суда, судебный орган, разбиравший гражданские дела, в т. ч. и по крепостным делам.
- ⁸¹ *Вотчинное начальство* — бурмистр, староста, сотские и т. д., назначенные помещиком или избранные крестьянами и утвержденные помещиком для управления вотчиной.
- ⁸² *Вотчинная контора* — в большом помещичьем имении учреждение, сосредотачивавшее управление вотчиной и всю счетную и письменную часть.
- ⁸³ *Поверить* — проверить.
- ⁸⁴ *Мирская касса* — денежные суммы, принадлежавшие «миру», обществу крестьян. Складывалась из разнообразных сборов, штрафов и проч.
- ⁸⁵ *Бессрочно-отпускные солдаты* — в царствование Николая I происходило постепенное сокращение 25-летней солдатской службы — до 22, затем до 20 лет. Оставшееся время солдаты считались в бессрочном отпуске, нося военную форму с особыми знаками различия, и, в случае войны, подлежали призыву обратно на военную службу. Система имела целью сократить расходы на армию, одновременно создав небольшой запас уже обученных солдат. Бессрочно-отпускные нередко были грамотными, бывалыми людьми.
- ⁸⁶ *Становая квартира* — уезд в полицейском отношении разделялся на несколько станов во главе со становыми приставами, подчинявшимися уездному исправнику. Резиденция станового пристава, становая квартира, чаще всего располагалась в большом селе.
- ⁸⁷ *Тысяцкий* — выборный от крестьянского общества младший полицейский служитель, исполнявший и некоторые хозяйственные функции. Избирался обычно от тысячи дворов.
- ⁸⁸ *Временное отделение* — группа чиновников какого-либо органа (например, нижнего земского суда), составлявшаяся для выезда на место происшествия и разбора дела там, без вызова обвиняемых в город.
- ⁸⁹ *Становой пристав* — должностное лицо в уездной полиции, избиравшееся (позднее — назначавшееся) из отставных младших офицеров.
- ⁹⁰ *Сотский* — выборный от крестьянского общества младший полицейский служитель, исполнявший и некоторые хозяйственные функции, служивший рассыльным и проч.
- ⁹¹ *Церковный староста* — ктитор, лицо, избираемое приходом верующих какого-либо храма для наблюдения за благочинием, сбора денежных средств, ремонта и т. д. На эту почетную, хотя

и хлопотную должность обычно избирали наиболее уважаемых за личные качества и авторитетных людей.

⁹² *Липецкие воды* — знаменитые «марциальные воды», бальнеологический курорт в г. Липецке бывшей Воронежской губернии. Открыты Петром I, пользовались популярностью.

⁹³ *Лебедянская ярмарка* — знаменитая конская ярмарка в г. Лебедяни Воронежской губернии.

⁹⁴ *Ремонтёр* — офицер кавалерийского полка или артиллерийской части, командированный «в разные места» для «ремонта» конского состава, закупки свежих лошадей для части. Ремонтёрами обычно были очень богатые люди, пускавшие в дело не только казенные, но и собственные деньги. Нередко вели разгульный образ жизни и играли в карты «по-большой».

⁹⁵ *Подагра* — хроническое заболевание, вызванное нарушением обмена веществ и проявляющееся в виде отложения солей в суставах, их деформации и острых приступов артрита. Часто является следствием злоупотребления алкоголем, острой мясной пищей, невоздержанным образом жизни.

⁹⁶ *Ревизское население* — податное население, крестьяне, мещане и цеховые ремесленники, платившие подушную подать и проходившие по ревизиям.

⁹⁷ *Дворник* — зд.: содержатель постоялого двора на тракте или в городе, селе.

⁹⁸ *Хирагра* — то же, что и подагра. Но подагрой считались боли в суставах ног (обычно — ступней), а хирагрой — в суставах рук.

⁹⁹ *Службы* — хозяйственные и вспомогательные постройки на усадьбе.

¹⁰⁰ *Квадратный аршин* — старая русская мера площади, 0,506 кв. м.

¹⁰¹ *Богадельня* — приют для содержания нетрудоспособных стариков и больных.

¹⁰² *Поташный завод* — небольшое предприятие для выделки поташа, соды из пережженных при высокой температуре растений. Затем шадрик (полуфабрикат) растворялся в воде и при выпаривании ее получали готовый продукт.

¹⁰³ *Фунт* — старая русская мера веса, 409 г.

¹⁰⁴ *...в день хлеба менее двух фунтов...* — при питании одним хлебом крайне мало: в русской армии солдатская дневная «дача» хлеба, кроме приварка, составляла 3 фунта, а на флоте — 3,5 фунта.

¹⁰⁵ *Приварок* — какая-либо вареная пища (щи, каша) вдобавок к хлебной даче.

¹⁰⁶ *Шпанская* — испанская. Ввезенные из Испании овцы давали особо тонкую шерсть.

- ¹⁰⁷ *Крупичатая мука* — крупчатка, мука наилучшего помола.
- ¹⁰⁸ *Дворец* — зд.: мельничный кауз, или хауз, глубокий прямоугольный сруб, в котором вращается водяное колесо.
- ¹⁰⁹ *Наварщик* — служащий на псарне, готовивший пищу для собак: «навар», овсянку с мясом (конским) или шкварками.
- ¹¹⁰ *Отъезжее поле* — территория, дальнее открытое поле с перелесками и оврагами, где держался зверь и куда выезжали псовые охотники для травли.
- ¹¹¹ *Доезжащий* — участник псовой охоты, старший псарь, распоряжавшийся собаками.
- ¹¹² *Стремянный* — слуга, верхом сопровождавший барина на охоте, чтобы поддержать ему стремя при посадке в седло.
- ¹¹³ *Остров* — на языке псовых охотников небольшой отдельный лесок, перелесок.
- ¹¹⁴ *Порскать* — кричать и хлопать арапником, чтобы натравить гончих собак на зверя и выгнать его из леса в поле.
- ¹¹⁵ *Атукать* — натравливать собак на зверя криком «Ату его!», т. е. «Взять его!»
- ¹¹⁶ *Свора* — сворка, длинный тонкий ремень, пропускавшийся через кольца на ошейниках двух собак. Державший его за концы псарь, выпустив один конец, спускал собак на зверя, вытягивая ремень из колец.
- ¹¹⁷ *Линейка* — роспуски, долгуша: повозка, на переднем и заднем ходах (осях с парой колес) которой лежала длинная доска, а по бокам между колесами были узкие подножки. Сидели на линейке боком к движению. На линейках выезжали в поле, в лес большими компаниями.
- ¹¹⁸ «*Стул*» — незаконная форма наказания крепостных: большой тяжелый чурбан с вделанной в него цепью, к которой приковывали наказанного. На нем можно было сидеть, но при движении приходилось носить его в руках.
- ¹¹⁹ *Железа* — зд.: кандалы, оковы.
- ¹²⁰ *Заштатные* — ввиду старости, немощности не работавшие, но получавшие содержание.
- ¹²¹ *Козачки* — казачки, малолетние домашние слуги из крепостных, наряженные в казачье платье и исполнявшие в комнатах мелкие задания: подать, отнести, узнать, передать и т. п.
- ¹²² *Шорник* — мастер по изготовлению кожаной конской упряжи и т. п.
- ¹²³ *Бердовщик* — мастер, изготавливавший берда, нечто вроде большого частого гребня, использовавшегося в ткацких станах для прибавания нитей утка.
- ¹²⁴ *Ищущий свободы* — по закону любое лицо, находившееся в крепостной зависимости, имело право по суду «отыскивать

- свободу», доказывать свое свободное происхождение и неправильность записи крепостным в ревизских сказках. До окончательного решения всех судебных инстанций (вплоть до Сената) отыскивавшие свободу находились в промежуточном положении: как бы крепостные, но и не совсем: они не подлежали продаже и дарению, их нельзя было ставить на работы и проч.
- ¹²⁵ *Коллежский регистратор* — чиновник низшего, XIV класса Табели о рангах.
- ¹²⁶ *Прапорщик* — младший пехотный офицер, в ту пору XIV класса Табели о рангах.
- ¹²⁷ *Копиист* — звание т. н. канцелярского служителя, еще не имевшего классного чина.
- ¹²⁸ *Незаконнорожденные от солдаток* — жены и дети (до 12 лет) людей, сданных в солдаты, освобождались от крепостной зависимости, от власти сельского или городского общества и даже от власти семьи, а считались перешедшими в военное ведомство. Естественно, что это распространялось и на детей, родившихся у солдаток впоследствии. Поскольку никакой власти над солдатками в деревне не было, они обычно отличались свободным поведением со всеми вытекающими последствиями.
- ¹²⁹ *Ассессор* — должность в губернских учреждениях. Ассессор присутствовал в общем собрании, но не имел в своем управлении отдельной части, а использовался для командировок, замещал отсутствующих чиновников и проч.
- ¹³⁰ *Рекрутская квитанция* — документ, выдававшийся помещику, сельскому или городскому обществу за сданного в военную службу вне объявленного набора рекрута. При наборе квитанцию можно было предъявить в рекрутскую комиссию, чтобы освободить кого-либо от службы, или продать ее.
- ¹³¹ *Целковый* — серебряный рубль монетой, «целый», неразменный.
- ¹³² *Гарнец* — старая русская мера емкости сыпучих тел, 3,280 л.
- ¹³³ *Солод* — проросшее и смолотое зерно ячменя, ржи или пшеницы, имевшее сладковатый («солодкий») вкус. Использовалось для приготовления кваса, браги или домашнего пива.
- ¹³⁴ *Сырная неделя* — Масленица, когда церковью дозволяется вкушать молочную пищу (например, «сыр» — творог).
- ¹³⁵ *Снеток* — мелкая, подсоленная и высушенная в печи рыбка, вылавливавшаяся в северо-западных озерах. Широко употреблялась в щах, каше, пирогах.
- ¹³⁶ *Коренная рыба* — соленая речная рыба-частик.
- ¹³⁷ *Армяк* — длинная широкая верхняя крестьянская одежда халатообразного покроя с высоким простеганным шалевым воротником, сшитая из особо плотной полушерстяной продуб-

- ленной армячины. Обычно надевалась в дорогу поверх зипуна, кафтана или поддевки.
- ¹³⁸ *Солонина* — засоленное в бочках мясо, обычно говядина.
- ¹³⁹ *Казовый* — показной, для демонстрации качества. Например, казовый конец кожи в свертке — находящийся сверху, который может быть рассмотрен.
- ¹⁴⁰ *Исподнее платье* — нижнее, то, что сейчас называется бельем.
- ¹⁴¹ *Рядина* — зд.: рядом, грубая посконная (из пеньки) ткань, шедшая на мешки, покрывки для повозок и проч.
- ¹⁴² *Ловчий* — старший псарь, управлявший всей охотой.
- ¹⁴³ *Зверинец* — зд.: загородка, помещение для содержания пойманных на охоте диких животных для последующей садки (см. ниже).
- ¹⁴⁴ *Садка* — разновидность псовой охоты, когда пойманного ранее зверя выпускали в поле и травили собаками.
- ¹⁴⁵ *Торбы с овсом* — хрептут, небольшой мешок с овсом, подвешивавшийся на концы оглобель под мордой лошади, чтобы она могла есть из него.
- ¹⁴⁶ *Вершок* — старая русская мера длины, 4,445 см.
- ¹⁴⁷ *Колодки* — средство наказания, два шарнирно соединенных и замыкавшихся на замок толстых бруса с округлыми вырезами для рук и ног. В ножных колодках с трудом, но можно было передвигаться. При заключении в колодки одновременно рук и ног закованный сидел на земле, согнувшись, испытывая боль в спине.
- ¹⁴⁸ *Кавалер* — лицо, награжденное орденами.
- ¹⁴⁹ *Инвалидная команда* — внутренняя стража в городах для караулов при заставах на въезде в город, в острогах и проч. Состояла из солдат, не выслуживших положенного срока, но неспособных к строевой службе из-за болезней и увечий.
- ¹⁵⁰ *Зерцало* — невысокая, увенчанная двуглавым орлом деревянная трехгранная призма, на плоскостях которой крепились медные листы с выгравированными указами Петра I о правилах делопроизводства. Каждое слово, произнесенное при зеркале, считалось официальным. Обычно зеркало стояло на столе в присутственной комнате, но вывозилось при выезде временного суда на место происшествия, следствия и суда.
- ¹⁵¹ *Правитель канцелярии* — правитель дел, должностное лицо, возглавлявшее личную канцелярию губернатора или генерал-губернатора. Поскольку последние редко обладали административным опытом и не имели юридического образования, обычно назначаясь из бывших военных, правитель дел из числа опытных дельцов фактически руководил своим шефом, т. е. всей территорией губернии или генерал-губернаторства.

- ¹⁵² *Генерал-губернатор* — личный представитель императора, возглавлявший несколько губерний или столицы Москву и Петербург. Сам не управлял подведомственной территорией, а контролировал ход управления, вмешиваясь в него в необходимых случаях. Обладал огромной, в т. ч. и военной, властью.
- ¹⁵³ *Генерал-адъютант* — звание военного в генеральском чине, зачисленного в Свиту Его Величества. Звание могло быть почетным, пожалованным в виде награды и не сопрягавшимся с какими-либо обязанностями, но генерал-адъютанты нередко посылались куда-либо по важным делам в качестве личного представителя монарха, с большими полномочиями.
- ¹⁵⁴ *Балашов Александр Дмитриевич (1770—1837)* — видный государственный деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, до 1819 г. был министром полиции.
- ¹⁵⁵ ...*Командированного по высочайшему повелению жандармского полковника...* — обязанности жандармов были чрезвычайно разнообразны — от контрразведки до охраны целостности семьи. В т. ч. они были обязаны расследовать дела о превышении помещичьей власти: при Николае I каждый подданный должен был строго держаться в рамках дозволенного, и превышение прав было серьезным проступком.
- ¹⁵⁶ *Опека* — зд.: форма наказания помещика, превышавшего власть над крепостными, проматывавшего имение, разорявшего крепостных и т. п. Помещик удалялся из имения с запрещением появляться в нем, для управления имением назначались опекуны из чиновников или пользовавшихся доверием администрации местных помещиков, и владелец получал доходы от имения, за исключением сумм, шедших на уплату долгов.

Отрывки из воспоминаний

- ¹ *Чиновник особых поручений* — молодой чиновник, обычно хорошего происхождения, не имевший в управлении особой части, а исполнявший отдельные поручения начальника — от доставки букета цветов любовнице своего принцепала до секретных расследований важных событий, особенно если командированные для этого официальные лица не вызывали доверия.
- ² ...*число местных дворян, имевших право голоса...* — право участия в дворянских выборах имели лица, обладавшие хотя бы самым низким чином и владевшие более чем 100 душами крепостных мужского пола. Мелкопоместные, имевшие не-

сколько душ или несколько десятков душ крепостных, объединялись в группы так, чтобы у них вместе насчитывалась 101 душа, и при выборах имели один голос.

- ³ *Кулак* — в дореволюционной России крестьянин, мещанин, купец, даже помещик, раздававший в долг деньги, иногда очень небольшие суммы в несколько рублей, и бравший затем в качестве уплаты продукты сельского хозяйства, разумеется, по очень низким ценам, скупавший по дешевке хлеб, лён, мед, шкуры для перепродажи. Так он опутывал всю округу паутиной долгов, зажимал ее «в кулак». Богатый крестьянин, даже нанимавший работников, но занимавшийся земледелием, а не ростовщицеством, считался просто крепким хозяином.

- ⁴ *Средней руки помещик* — владелец нескольких сот душ крепостных.

- ⁵ *Издельная повинность* — барщина.

- ⁶ *Статс-секретарь* — 1) лицо, возглавлявшее отделение Государственной канцелярии, готовившее дела к докладу и докладывавшее их в департаментах Государственного совета; 2) почетное звание гражданских чинов, пожалованное императором. Статс-секретари Его Величества имели право объявлять словесные повеления монарха.

- ⁷ *Кикин* — Петр Андреевич (1772—1834), статс-секретарь Его Величества. Участник турецкой войны, дежурный генерал в 1812 г., один из создателей Общества поощрения художников. Ввел ряд улучшений в сельском хозяйстве.

- ⁸ *Раненбургский* — т. е. Раненбургского уезда Рязанской губернии, теперь Липецкой области. В 1948 г. уездный город Раненбург переименован в Чаплыгин.

- ⁹ *Общинное землевладение* — система юридической принадлежности наделных крестьянских земель сельскому обществу, общине, «миру»; домохозяева получали душевые наделы во временное пользование, без права их отчуждения. Все хозяйственные вопросы, в т. ч. сдачи земли в аренду посторонним лицам, промена, продажи, решал сельский сход домохозяев.

- ¹⁰ *Генерал от инфантерии* — военный чин II класса Табели о рангах.

- ¹¹ *Остерман-Толстой* — Андрей Иванович (1770—1857), граф, генерал от инфантерии, видный русский военачальник, отличившийся в Наполеоновских войнах, в т. ч. при Бородине. В сражении под Кульмом потерял руку, оторванную ядром.

- ¹² *Кульм* — город в Чехии (ныне — Хлумец). 18 (30) августа 1813 г. русская армия под командованием М.Б. Барклая де Толли разгромила здесь французский корпус генерала Д. Вандама. Победой армия была обязана корпусу А.И. Остерман-Толстого, обошедшего противника и неожиданным ударом спасшего от гибели союзные прусские войска.

- ¹³ ...скончался, кажется, в 1842 или в 1843 году.— А.И. Остерман-Толстой скончался в 1857 г.
- ¹⁴ *Леонид Михайлович Голицын* — вероятно, сын ярославского губернатора, камергер (1806—1860).
- ¹⁵ *Батальон внутренней стражи* — губернское подразделение Отдельного корпуса внутренней стражи, несшего внутреннюю полицейскую службу. Корпус образован в 1811 г., упразднен в 1864 г.
- ¹⁶ *Пронск* — бывший уездный город Рязанской губернии, ныне поселок городского типа той же области.
- ¹⁷ *Застава* — полицейский пост на въезде в город. Оборудовался шлагбаумом, будкой для часового, помещением для караула внутренней стражи под командованием офицера. На заставах записывались все въезжавшие в город и выезжавшие из него.
- ¹⁸ *Почтовая станция* — см. примеч. 34 к: «Генерал Измайлов и его дворня».
- ¹⁹ *Квартальный надзиратель* — младший полицейский чин, обычно унтер-офицер, надзиравший за порядком во вверенном ему квартале города.
- ²⁰ *Городничий* — начальник полиции в уездном городе, обычно из отставных обер-офицеров, не выслуживших пенсии и неспособных к строевой службе.
- ²¹ *Прогонь* — установленная плата за пользование почтовыми лошадьми (см. примеч. 34 к: «Генерал Измайлов и его дворня»).
- ²² *Штаб-ротмистр* — кавалерийский обер-офицерский чин X класса Табели о рангах.
- ²³ *Уланы* — вид легкой кавалерии польско-татарского происхождения.
- ²⁴ *Тарантас* — безрессорный, полурессорный или рессорный пассажирский экипаж в виде большой кошевы (плетеной корзины), поставленной на тонкие гибкие дроги.
- ²⁵ *Губернское правление* — главное административное учреждение в губернии под председательством самого губернатора.
- ²⁶ *Государственные крестьяне* — сельское население под управлением Министерства государственных имуществ, исполнявшее повинности и платившее оброк непосредственно государству.
- ²⁷ *Волостные головы и старшины сельских обществ* — государственные крестьяне пользовались правами ограниченного самоуправления, избирая волостное правление и его председателя, волостного голову, а также старост (старшин) сельских обществ непосредственно в деревнях.
- ²⁸ *Одонье* — особым образом, в форме, напоминающей дом с крышей, сложенные на гумне снопы хлеба.

- ²⁹ *Жандармский штаб-офицер* — Отдельный корпус жандармов имел в губерниях небольшие жандармские команды во главе со штаб-офицером, нередко полковником. В их задачи, в частности, входил надзор за помещиками, дабы те не превышали власти над крестьянами, и разбор дел о крестьянских волнениях.
- ³⁰ *Московский опекунский совет* — благотворительное учреждение, обладавшее собственными денежными средствами и дававшее их в долг, в частности, помещикам под залог их имений по казенным расценкам. При просрочке платежей имение поступало в продажу с торгов. По указу 1847 г. крестьяне продающегося с аукциона имения имели право участия в торгах с некоторыми преимуществами, причем изредка государство даже давало им ссуду на выкуп. Но реального значения в сужении крепостного права закон не имел, поскольку вскоре его применение прекратилось.
- ³¹ *Смешанная повинность* — форма повинности крепостных крестьян, уплачивавших небольшой оброк и исполнявших ограниченные барщинные работы.
- ³² *Управа благочиния* — полицейское учреждение в губернском городе, следившее за порядком в нем и находившееся под управлением полицмейстера (в столицах — обер-полицмейстера).
- ³³ *Вольноопределяющийся* — лицо с законченным средним или высшим образованием, поступившее в полк на военную службу рядовым на определенных основаниях. По окончании полковой школы получал офицерский чин.
- ³⁴ *Дежурный генерал* — штатная должность директора Инспекторского департамента Военного министерства, а также начальник дежурств по армии.
- ³⁵ *Вице-губернатор* — заместитель, помощник губернатора.
- ³⁶ *Титулярный советник* — гражданский чин IX класса Табели о рангах. С 1845 г. давал право на личное дворянство, что не было связано с возможностью приобретения крепостных крестьян: такое право давало только потомственное дворянство, получаемое с чином VIII класса (коллежского асессора).
- ³⁷ *Суrowец* — простой крестьянский квас «сурового», т. е. серовато-белесого цвета.
- ³⁸ *Государственные и земские повинности* — повинности всех крестьян, независимо от положения (крепостных, удельных и проч.), исполнявшиеся в пользу государства, казны (казенные повинности) и «земли», «земства» (земские повинности), т. е. шедшие на местные нужды.
- ³⁹ *Надел* — совокупность пахотных и сенокосных земель и других угодий (выгоны, лес и проч.), выделявшиеся владельцем

- (помещиком, государством, ведомством уделов и проч.) в пользование крестьян.
- ⁴⁰ *Вольноотпущенники* — бывшие крепостные, по какой-либо причине отпущенные помещиком на волю. Нередко это были бывшие старосты, бурмистры и т. п., становившиеся вольнонаемными управляющими имений.
- ⁴¹ *Откупщик* — лицо из дворянства, купечества, мещанства, свободного крестьянства, участвовавшее в торгах на торговлю спиртными напитками в том или ином питейном округе. Откупщики наживали на продаже водки, в т. ч. фальсифицированной, большие деньги.
- ⁴² «*Фамилия*» — зд.: семья.
- ⁴³ *Тягольный* — т. е. несший тягло, работавший на барщине или плативший оброк, не дворовый.
- ⁴⁴ *Острог*: зд.: местная тюрьма.
- ⁴⁵ *Арестантские роты* — пенитенциарное учреждение, тюрьма военного или гражданского ведомства с военной дисциплиной, с внутренними или наружными работами.
- ⁴⁶ *Становая квартира* — резиденция станового пристава в уезде, обычно в большом селе, центре волости.
- ⁴⁷ *Рига* — сельская производственная постройка для молотбы и провеивания зерна: довольно высокая и длинная двухскатная соломенная кровля на очень низеньких бревенчатых стенах или даже без них.
- ⁴⁸ *Верейя* — столб ворот.
- ⁴⁹ *Купец первой гильдии* — купцом являлось лицо, записанное в ту или иную купеческую гильдию и уплатившее годовой гильдейский сбор. Заниматься торговлей или иным видом предпринимательства было не обязательно, а требовалось лишь «объявить» капитал в том или ином размере, чтобы вписаться в одну из трех (в описываемое время) гильдий, приобретя тем самым все купеческие права и преимущества.
- ⁵⁰ *Потомственный почетный гражданин* — лицо, с потомством вписанное в особое сословие, обладавшее всеми дворянскими правами и преимуществами, кроме права владения населенными имениями. В частности, купцы 1-й гильдии, пробывшие в ней беспорочно 12 лет, могли перейти в сословие почетных граждан.
- ⁵¹ *Душеприказчик* — лицо, по поручению автора духовного завещания осуществлявшее введение наследника во владение наследством или, при его малолетстве, осуществлявшее опеку над ним.
- ⁵² *Столоначальник* — чиновник средних рангов, управлявший «столом», подразделением какого-либо учреждения.
- ⁵³ *Пансионер* — учащийся, живущий у кого-либо, например, учителя, «на хлебах», на полном пансионе.

- ⁵⁴ *Прошлое царствование* — т. е. царствование Николая I, 1825—1855 гг.
- ⁵⁵ *Секретный комитет* — при Николае I для суждения о крестьянском вопросе и по его повелениям был созван не один секретный комитет, а 9, начиная с 1826 г. Однако деятельность их завершалась ничем либо полумерами, т. к. решимость императора ликвидировать крепостное право была нетвердой, а в комитеты в основном входили противники этого дела. «Секретность» (на деле ни для кого таковой не являвшейся) объясняется тем, что очень серьезно опасались, чтобы крестьяне, услышавшие только, что их собираются освободить, не стали оказывать послушания господам и не взбунтовались.
- ⁵⁶ *Опекунский совет* — распорядительный совет при Воспитательном доме, благотворительном учреждении (в Петербурге и в Москве). Обладая значительными денежными средствами, отпускал их в кредит под залог, в т. ч. помещичьих имений. В случае неуплаты процентов имение поступало на аукцион.
- ⁵⁷ *Дворянская опека* — местное сословное учреждение для опеки над дворянскими вдовами и сиротами.
- ⁵⁸ *Зеленые столы* — игорные (ломберные) столы, обтягивавшиеся зеленым сукном, на котором мелкими велась запись коммерческих игр.
- ⁵⁹ «*Древняя и Новая Россия*» — выходивший в Петербурге в 1875–1881 гг. ежемесячный иллюстрированный исторический журнал.
- ⁶⁰ ...*рескрипт генерал-губернатору Северо-Западного края* — императорский рескрипт (законодательный акт, обращенный к конкретному лицу и содержащий благодарность, поручение и проч.) генерал-губернатору Виленской, Ковенской и Гродненской губерний Назимову от 20 ноября 1857 г., позволявший дворянству этих губерний составлять дворянские комитеты по улучшению быта крестьян для суждения о мерах по этому улучшению. К рескрипту была приложена правительственная программа, предусматривавшая не «улучшение быта», а освобождение крепостных. С этого и началась подготовка Крестьянской реформы.
- ⁶¹ *5 марта 1861 года* — публикация документов об отмене крепостного права, подписанных 19 февраля, была отложена на «прощёное воскресенье» (5 марта) именно из боязни беспорядков, в расчете на то, что народная энергия будет «сброшена» за Масленицу, а в Прощёное воскресенье христиане должны вести себя смирно.
- ⁶² ...*говорили про какие-то будто бы приготовления на случай могущих быть волнений, про какое-то разделение Москвы в военном отношении* — такие приготовления, действительно, делались и 19 февраля, и 5 марта: на места рассылались гене-

рал- и флигель-адъютанты императора, была проведена перемещение войск, в столице во дворах спрятана артиллерия и солдаты, которым раздавались боевые патроны.

⁶³ *Коммерческий суд* — судебное учреждение для рассмотрения деловых споров и претензий.

⁶⁴ *Генерал-губернаторский дом* — резиденция московского генерал-губернатора на Тверской улице, после 1917 г. — Моссовета на Советской площади.

⁶⁵ *Лихачи и «ваньки»* — лихач — дорогой извозчик в хорошем экипаже, на молодой, резвой полукровной лошади; «ванька» — его антипод, самый дешевый извозчик из окрестных крестьян, в дрянных санях с рогожной полстью, на обычной крестьянской рабочей лошади в сбруе из мочальных веревок.

⁶⁶ «*Часы*» — род православного богослужения, очень раннего, до заутрени.

⁶⁷ *Говеть* — готовиться к большому церковному празднику, в данном случае — Пасхе: поститься, ходить ко всем церковным службам, усиленно молиться, чтобы затем исповедоваться и причаститься Св. Тайн. Большинство говело на первой и последней неделе Великого поста.

Перечень иллюстраций*

«Да вставать завтра пораньше, не дрыхнуть у меня до полдня, а то, если придется мне будить тебя, дуру, так уж разбуду по-своему!» С литографии С. А. Лебедева, 1864 г. (Государственный музей изобразительных искусств в Москве)

Сцена в девичьей. С картины маслом неизвестного художника (Государственный исторический музей)

Помещик на прогулке у табуна лошадей. С картины маслом неизвестного художника (Государственный исторический музей)

Развлечения помещиков. С акварели неизвестного художника (Государственный исторический музей)

Завтрак помещиков на селе. С рисунка пером неизвестного художника (Государственный исторический музей)

Помещик на охоте. С картины маслом неизвестного художника (Государственный исторический музей)

В девичьей. С литографии неизвестного художника (Государственный исторический музей)

Утро помещика. С акварели неизвестного художника (Государственный исторический музей)

«Знать, час такой пришел». С литографии, изд. Рудневым, 1857 г. (Государственный музей изобразительных искусств в Москве)

* По изданию 1937 г.

«У всякого, мой друг, свое бремя, вот и я несу свою собаку». С литографии Г. С. Дестуниса, 1858 г. (Государственный музей изобразительных искусств в Москве)

Крестьянин благословляет сына в ополчение. С литографии неизвестного художника (Государственный исторический музей)

Отправление в рекруты. С литографии неизвестного художника (Государственный исторический музей)

Колода. С литографии неизвестного художника (Из книги Richter und Geissler «Strafen der Russen dargestellt in Gemälden und Beschreibungen», 1845 г.)

Розги. С литографии неизвестного художника. (Из книги Richter und Geissler «Strafen der Russen dargestellt in Gemälden und Beschreibungen», 1845 г.)

Батоги. С литографии неизвестного художника (Из книги Richter und Geissler «Strafen der Russen dargestellt in Gemälden und Beschreibungen», 1845 г.)

Канцелярия. С литографии неизвестного художника (Государственный исторический музей)

Последний сноп. С рисунка неизвестного художника (Государственный исторический музей)

В кабаке. С литографии неизвестного художника (Государственный исторический музей)

Невесту откупают к венцу. С литографии П. Рыбинского (Государственный исторический музей)

Отдых на сенокосе. С картины маслом А. И. Морозова

Продажа крепостных на Нижегородской ярмарке. С картины маслом К. В. Лебедева

На «миру». С картины маслом С. Коровина

Салтычиха. С картины маслом П. В. Курдюмова

Благодетельница. С картины маслом К. Трутовского

Привоз крепостными провизии помещику. С картины маслом М. М. Зайцева

Торг. С картины маслом Н. В. Неврева

Содержание

Л. В. Беловинский. Генерал Измайлов и его дворня. Введение.....	3
От издательства (Предисловие 1937 г.).....	9
Генерал Измайлов и его дворня. (Очерк помещичьего быта первой четверти XIX столетия).....	13
Отрывки из воспоминаний.....	193
Бунт и усмирение в имении Голицына (1847 г.).....	195
Крестьянские волнения в Рязанской губернии (с 1847 г. по 1858 г.).....	269
Примечания.....	363
Перечень иллюстраций.....	382

На обложке: Картина Н. В. Неврева «Торг. Сцена
из крепостного быта. Из недавнего прошлого». 1866

ISBN 978-5-85209-357-8



Подписано в печать 17.06.2015.
Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Уч.-изд. л. 20,5. Тираж 500 экз.
Заказ № 7. Цена договорная.
Издательство: Государственная публичная
историческая библиотека России, 2015.
ГСП 101990, Москва, Старосадский пер., 9, стр. 1.